

Юность

8

АВГУСТ

1967

ПРОЗА

Анатолий Алексин

ПОВЕСТЬ МОЙ БРАТ ИГРАЕТ НА КЛАРНЕТЕ...

Из дневника девчонки

Почти все девочки в нашем классе ведут дневники. И записывают в них всякую ерунду. Например: «Вася попросил у меня сегодня тетрадку па геометрии. Тайно попросил и очень тихо, чтоб никто не услышал. Зачем? Почему именно у меня? Почему так таинственно и с большим волнением? Уже полночь. Но я размышляю об этом и не засну до утра».

Васька просто-напросто решил сдуть домашние задания по геометрии. Именно у нее, потому что у меня он уже сдувал. «Тихо, таинственно!..» А кто же делает это громко? «С волнением!» Еще бы Ваське не волноваться! Девчонки обожают придавать самым обыкновенным поступкам мальчишек какой-то особый смысл.

Я тоже девчонка, но я понимаю, что дневники должны вести только выдающиеся люди. Нет, я ничего такого о себе не думаю. Но у меня есть брат, он учится на втором курсе консерватории. Он будет великим музыкантом. Это точно. Я в этом не сомневаюсь! И вот по моему дневнику люди узнают, каким он был в детстве.

Мой брат играет на кларнете. Почему не на скрипке? Не на рояле? Так хотел дедушка. Он умер, когда мне было всего два года. А брат Лева старше на целых пять лет, и дедушка начал учить его музыке.

Долгие годы я слышала о том, что наш дедушка «играл в фойе». Я не знала, что такое фойе, но слово это казалось мне очень красивым. «Ф о й э», — четко выговаривала я. А когда первый раз сходила в кино и увидела музыкантов, которые играли в фойе, мне стало жаль моего бедного дедушку: зрители переговаривались, жевали бутерброды, шуршали газетами, а старые люди на сцене играли вальс. Они прижимали к подбородку свои скрипочки и закрывали глаза: может быть, от удовольствия, а может быть, для того, чтоб не видеть, как зрители жевали бутерброды.

Мой брат не будет играть в фойе! Он будет выступать в красивых концертных залах. Сейчас он готовится к конкурсу музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Мне жаль, что кларнет называют духовым инструментом. Когда я думаю о духовых инструментах, то сразу почему-то вспоминаю похороны и медный оркестр, который идет за гробом. Кларнет можно было бы назвать как-то иначе... Но что поделаешь!

Учусь я средне, но это не имеет никакого значения. Я решила посвятить свою жизнь не себе, а брату. Так ведь часто бывало с сестрами великих людей. Они даже не выходили замуж. И я не выйду. Ни за что! Никогда!.. Это точно. Лева уже знает об этом. Сперва он возражал, но потом согласился.

Мы договорились, что сам Лева в отличие от меня будет иметь право на личную жизнь, но лишь тогда, когда добьется больших музыкальных успехов. Лева весь, без остатка будет принадлежать искусству! У него не будет оставаться времени ни на какие обыкновенные человеческие дела и заботы. Все эти дела буду исполнять за него я.

Фактически я отреклась от собственной жизни во имя брата! И поэтому мои тройки не имеют никакого значения. К сожалению, мама и папа этого не понимают.

— Ты неплохо устроилась, — как-то сказала мама. — Значит, Лева будет учиться, с утра до вечера играть на кларнете, совершенствоваться, готовиться к конкурсам, а ты будешь всего-навсего посвящать ему свою жизнь. Какие-то у тебя иждивенческие настроения!

— А сестра Чехова, значит, тоже была иждивенкой? — спросила я в ответ.

— Ну уж... хватила!

Мама изумленно развела руки в стороны. Когда нечего сказать, легче всего разводить руками. В общем-то, я сама виновата: не надо слишком уж откровенничать со своими родителями: они обязательно используют эту откровенность против тебя.

Но зато когда-нибудь о Лева напишут книгу, и в нее войдут отрывки из моего дневника. Недавно я читала такую книгу о великом поэте. «Сестра поэта» — было написано под одной фотографией. А под моей напишут: «Сестра кларнетиста». Или лучше так: «Сестра музыканта». Это будет мне скромной наградой. Вот зачем я стала вести дневник. К несчастью, не все еще знают, какой это важный инструмент — кларнет. Именно он начинает Пятую симфонию Чайковского! Разве многим это известно? «Незаметный герой оркестра», — так говорит о кларнете Лева. Он даже рад, что кларнет «незаметный». Он и сам бы, наверно, хотел быть незаметным. Такой у него характер. Но я этого не допущу!

Летом всему нашему дому слышны звуки кларнета. Но многие не знали, из какого именно окна летят эти звуки. Я объяснила, что это играет мой брат. Даже в холод я распахиваю окна, чтобы жильцы не отвыкали от Левиного кларнета.

Всем соседям я уже рассказала, что Лева готовится к конкурсу. Пусть меня считают нескромной: я готова ради брата на любые страдания!

В общем, я уже давно решила вести дневник. Но начать его я хотела не просто так, а с какого-нибудь знаменательного дня. И вот этот день настал!

Сегодня перед первым звонком меня схватил в раздевалке десятиклассник Роберт, по прозвищу «Роберт-организатор». Такая у него манера: он не останавливает, не берет за руку того, кто ему нужен, а именно хватает. За что попало: за руку, за плечо, даже за шею. Представляете? Меня он схватил за рукав.

— Организуешь своего брата? На вечер старшеклассников!

Роберт обычно лишь первую фразу произносит нормально, по-человечески, а на дальнейшие разъяснения у него уже не хватает времени. И он начинает говорить быстро, пропуская глаголы, будто диктует телеграмму:

— Новогодний вечер! Первое отделение — стихи, классическая музыка. Второе — джаз и танцы. Классической музыки у нас нет. Вся надежда на брата. На твоего.

Я сразу сообразила, что никогда в жизни не будет больше такого прекрасного случая прославиться на всю школу. Не могу же я всем без исключения сообщить, что мой брат учится в консерватории, а тут все сразу узнают! Однако я решила немного помучить Роберта, чтобы он не думал, что заполучить моего брата так просто.

— Видишь ли, — начала я, — мой брат готовится к конкурсу музыкантов-исполнителей...

Слова «на духовых инструментах» я опустила.

— Вечер старшеклассников: только десятые! — сказал Роберт. — Ты в седьмом. Но вот два билета! Тебе и брату. Организуешь? ;

Что будет с моими подругами, когда они узнают, что я приглашена на вечер старшеклассников! Который может им только присниться! В самом счастливом сне!..

И все-таки я сказала:

— Надо узнать: у брата новогодняя ночь может быть уже занята. Наверно, он приглашен куда-нибудь на концерт, а потом на бал музыкантов-исполнителей...

— Наш вечер двадцать шестого, — сказал Роберт. — Организуешь?

Новогодний вечер за пять дней до Нового года! Хотя что же тут удивляться, если Роберт умудрился недавно организовать «воскресник» в четверг?

— Ладно, — сказала я. — Это нелегко, но я постараюсь.

И взяла два билета.

22 декабря

Я хочу еще кое-что записать о вчерашнем дне. Когда я пришла домой, Лева играл на кларнете. Он всегда играет: и утром и вечером. Представляете? Как у него хватает терпения! Просто понять не могу. Хотя отчасти все же могу... Лева занимается любимым делом, а когда занимаешься таким делом, сразу откуда-то появляются терпение и воля. Вот если бы я, к примеру, должна была готовить уроки только по литературе, я бы могла их готовить круглые сутки и отвечала бы всегда на пятерки. Потому что я занималась бы любимым делом! Но геометрия, физика, химия... Откуда возьмешь столько терпения? И зачем заставлять людей заниматься тем, что им никогда в жизни не пригодится, что им неприятно и даже противно?! Понять не могу.

Когда кто-нибудь входит в комнату. Лева не прекращает играть: он словно бы ничего не замечает. А мы ходим на цыпочках.

Но вчера я не выдержала и сказала:

— Прости меня, Лева... Но у меня очень важное дело. Тебя просят выступить у нас в школе на новогоднем вечере.

Лева несколько секунд помолчал. Когда его отрывают от музыки, он всегда несколько минут молчит: как бы приходит в себя или, верней сказать, возвращается к нам из какого-то другого мира. Так мне кажется...

— Тебя просят выступить у нас на новогоднем вечере, — повторила я, потому что первую мою фразу Лева мог не расслышать: он был в другом мире.

— Я готов, — сказал Лева. — В принципе я готов... Но слушать сольное выступление на новогоднем вечере?.. Кларнет выигрышной звучит в оркестре. Может быть, пригласить весь наш студенческий оркестр? Это будет эффектной.

Еще чего не хватало! Чтоб скрипки вылезли на первый план, а мой брат сидел где-то в углу? И чтоб кланяться выходил дирижер, а мой брат превратился в «незаметного героя оркестра»? Нет, я хочу, чтобы он был заметным!

— Ваш оркестр просто не поместится на нашей сцене, — сказала я. — И никто его вовсе не приглашал. Просили тебя. Персонально! У нас в школе обожают кларнет. Вот два билета.

Я положила билеты на стол и добавила:

— Значит, пойдём.

Я сказала так твердо потому, что Лева всегда подчиняется мне, хоть и старше на целых пять лет. Он говорит, что у меня «острый практический ум». Лева не объясняет, хорошо это или плохо. Он вообще не любит много говорить, разъяснять: он мыслит музыкальными образами. Так мыслят все настоящие музыканты. Я слышала это по радио.

— Я готов... — сказал Лева. — В принципе я готов. Но мой аккомпанемент?

«Мой аккомпанемент» — так Лева называет студентку консерватории Лилю, которая всегда сопровождает его сольные выступления.

Лиля не только аккомпанирует Лева — она влюблена в него. Это всем абсолютно ясно. И поэтому она не откажется выступить у нас на вечере.

Я не мешаю Лиле смотреть на Леву преданными глазами и даже иногда оставляю их вдвоем: потому что Лиля толстая, в очках и с веснушками всюду — на носу, на руках и даже на шее. Я испытываю доверие к некрасивым женщинам: они не могут отвлечь моего брата от музыки, и это так благородно с их стороны!

И мама, я заметила, тоже предпочитает некрасивых подруг. По крайней мере когда она предупреждает папу: «Сегодня вечером ко мне в гости придет очаровательная

женщина», — папа почти всегда усмехается и отвечает: «Безумству храбрых поем мы славу!» И преспокойно уходит вечером к соседу играть в шахматы. Он не верит, что мама приведет к нам в дом очаровательную женщину.

Я готовлюсь к новогоднему вечеру. И представляю себе, как все будет!

Мой брат сыграет одну вещь, только одну!

— Что ты сыграешь, Лева?

— Надо что-нибудь легкое... «Полет шмеля», например.

— Нет, не такое известное. Надо их поразить! Последние слова я произнесла мысленно, про себя. Лева таких фраз не любит.

— Может быть, из «Франчески да Римини»?

— Это пойдет!

После «Франчески» мой брат скроется за кулисы. Ему будут бешено аплодировать. Он снова выйдет, будто лишь для того, чтоб раскланяться. Но тут я поднимусь и скажу:

— Сыграй, Лева, еще. Я прошу тебя.

И назову такое произведение, какого никто из старшеклассников никогда в жизни не слышал. Лева послушается меня и сыграет. А потом он спустится в зал и сядет возле меня.

А потом будут танцы...

— Ты будешь танцевать только со мной, — сказала я брату.

— В принципе я готов... Но, ты знаешь, я плохо танцую. Старомодно...

— Тем более. Чтобы не осрамиться, танцуй только со мной. Поклянись!

— Ладно, клянусь.

Конечно, мне будет труднее, чем Наташе Ростовой на ее первом балу! Ведь она была среди взрослых, а они нормальные люди и ведут себя по-человечески. Разве их можно сравнить с нашими десятиклассниками? Эти все время строят ехидные рожи, посмеиваются. И уверены, что они гораздо взрослее взрослых. По мнению моей мамы, это как раз и говорит о том, что они еще абсолютные дети, потому что, как утверждает мама, ни один взрослый человек никогда не захочет казаться старше своего возраста. Но сами-то десятиклассники не догадываются о том, что они абсолютные дети. И никто им этого не объяснит: просто никто не решится. Поэтому они и дальше будут изображать из себя утомленных «героев нашего времени», которых ничем на свете не удивишь. Это точно.

А я, может быть, их удивлю. По крайней мере они мне позавидуют!

27 декабря

Да, у Наташи Ростовой первый бал был гораздо счастливей, чем у меня. Гораздо счастливей!.. Я не знаю, как полководцы планируют свои военные операции. Пытаются ли они заранее представить себе действия противника? Может быть, и пытаются... Но от этого у них, конечно, возникает много разных трудностей и сомнений.

Когда же мой «острый практический ум» составляет какой-нибудь план, то вначале, пока я придумываю, все идет очень легко и просто, потому что участники будущих событий действуют так, как мне хочется. И в этом, я думаю, главный недостаток моих планов. Потому что потом, в жизни, участники событий начинают поступать по-другому, как им самим хочется. И тогда все летит кувырком.

Вчера так и случилось. Об этом просто стыдно писать. Но я все-таки напишу, раз уж взялась за дневник. А то у будущих исследователей жизни моего брата возникнут разные неясности. И они начнут разыскивать свидетелей, расспрашивать их. А эти свидетели... Нет, уж лучше пусть все узнают от меня. Так будет спокойнее и вернее!

Неприятности начались с самого начала.

Я была уверена, что увижу возле школы толпу своих подруг — шестиклассниц и семиклассниц, которые будут рЕаться на вечер. Тогда Лева должен был взять меня под руку, толпа расступиться, а мы — гордо пройти сквозь нее к дверям школы. Там должны были

стоять два старшекласника с красными повязками на рукавах. Оба они в один голос должны были воскликнуть:

— Это вы из консерватории? К нам на концерт? Мы вас ждем! Разденьтесь, пожалуйста, за кулисами.

Чтоб они так воскликнули, я привела Леву буквально в последнюю минуту, перед самым началом вечера.

Но никакой толпы возле школы не оказалось. Мои подружки всегда мечтали хоть немного потолкаться среди старшекласников. Но вчера они не пришли.

Так ведь всегда бывает, всегда... Вот, например, раньше, еще до того как я окончательно решила не выходить замуж, мне иногда хотелось, чтобы какой-нибудь мальчишка увидел меня во дворе в моем новом платье. Я гладила это платье, врала маме, что я иду к подруге на день рождения. А мальчик во двор не выходил! То ли он заболел, то ли родители его за что-то наказывали, то ли тетя из другого города в гости приезжала, но только он, который целыми вечерами слонялся по двору, как раз в этот вечер сидел дома. А я должна была торчать неизвестно где часа два или три: ведь не могла же я вернуться со дня рождения через десять минут! Да, к сожалению, всегда так бывает... И вчера тоже так получилось.

Но самое ужасное произошло позже, на самом вечере. Хотя лучше уж расскажу по порядку, чтоб не сбиваться.

Десятиклассник с красной повязкой на рукаве бросился нам навстречу.

— Вы из Варшавы? — спросил он Леву.

— Он из Московской консерватории, — ответила я. — Это мой брат! Он будет выступать у вас на концерте.

Я указала на черный старинный футляр, который достался Леве от бабушки. Этот футляр с кларнетом Лева прижимал к себе и словно обнимал обеими руками. Десятиклассник внимательно, с подозрением оглядел моего брата. Мне казалось, он скажет сейчас: «Откройте-ка свой футляр. Посмотрим, что у вас там, внутри!» Но он просто махнул рукой:

— Проходите.

И мы вошли в вестибюль.

Никто не предложил нам раздеться за кулисами, и мы долго стояли в очереди возле гардероба.

Десятиклассницы, повзрослевшие от нарядных платьев, с выходными туфлями под мышкой, говорили о том, что танцы будут до двенадцати ночи, что наш школьный джаз подготовил какую-то новую программу и что, может быть, даже придет артист, который поет в ресторане «Варшава».

Я презирала этих напудренных и надушенных девиц, которые не обращали на нас с Левою никакого внимания. Хоть бы старинный бабушкин футляр их заинтересовал! Наконец одна все-таки повернулась ко мне. Я благодарно улыбнулась ей, поздоровалась.

— А ты как сюда попала? — спросила она.

Я презирала этих девиц, но робела перед ними. И за эту свою робость еще сильнее их презирала.

— Я с братом, — тихо сказала я.

О кларнете и консерватории я почему-то не решилась упомянуть.

Десятиклассница прищурилась и окинула Леву таким взглядом, будто размышляла: стоит ли выходить за него замуж? Эти десятиклассницы часто оглядывают так незнакомых мужчин. А Лева еще крепче прижал к груди свой старинный футляр, словно десятиклассница собиралась отнять его.

Мой брат не произвел на нее впечатления — это было сразу заметно, — и она отвернулась. Еще бы! Ведь он не пел в ресторане «Варшава»!

— Я тебя уговорила в самый последний момент, — стала я шепотом объяснять Лева. — Они просто не знают, что ты будешь выступать... И потом, наш Роберт-организатор хочет, наверно, чтобы ты был для них сюрпризом.

Лева усмехнулся: кажется, он не верил, что может стать сюрпризом для наших десятиклассниц.

— В принципе они совершенно правы, — сказал Лева. — На балу и должны быть танцы... Это вполне естественно.

Я не обратила внимания на Левины слова, потому что он часто говорит просто так, чтобы не обидеть кого-то молчанием, а сам думает о чем-то совсем другом, о чем-то своем... «Весь в себе!» — говорит о нем мама. Может быть, он мыслит в эти минуты музыкальными образами. Так было, наверно, и в этот раз. Почему он вдруг стал заступаться за танцы?

Но самое ужасное было еще впереди!

Зал у нас в школе на пятом этаже. Мы слевой медленно поднимались по лестнице. А навстречу нам, сверху, на высоких каблуках сбегали старшеклассницы — как-то бочком, бочком, как всегда сбегают по лестнице. Перед вечерами и балами в школе всегда начинается девчачья беготня сверху вниз: кого-то ждуд, кого-то высматривают... Десятиклассницы чуть не сшибали нас с ног.

Лева о чем-то серьезно задумался. «Входит в свои музыкальные образы!» — решила я. И была очень рада: мне хотелось, чтоб в этот вечер он играл так замечательно, как никогда!

Один раз Лева поднял на меня глаза.

— Не отвлекайся! Не отвлекайся! — сказала я. И вдруг он спрашивает:

— Самые пожилые учителя, как правило, работают в старших классах?

Лева иногда приходят в голову самые неожиданные мысли.

— Да, — отвечаю я. — А что?

— А старшеклассники учатся чаще всего на самом верхнем этаже?

— У нас на пятом. И что из этого?

— Странно как-то... Непродуманно получается: старые люди по десять раз в день должны подниматься наверх без лифта.

Нашел о чем думать перед ответственным выступлением! Представляете?

Да, иногда моему Лева приходят в голову самые неожиданные мысли. Вот, помню, однажды мы ехали с ним в троллейбусе. Троллейбус набит битком! Останавливается возле университета, студенты рвудся к дверям, опаздывают, как обычно. Один парень в очках спрашивает у Левы:

— Вы выходите?

А тот поворачивается, улыбается и говорит:

— Вы здесь учитесь? Интересно, на каком факультете?

Водитель уже двери-гармошки распахнул, все лезуд к выходу, а он: «На каком факультете?» Представляете?

Лева, конечно, со странностями. Но, может быть, так и надо? Все великие люди были немножечко не в себе.

На пятом этаже нас встретил Роберт-организатор. Вниз он, конечно, не мог спуститься! Это было бы для него унизительно. Роберт даже не поздоровался, не познакомился слевой: он не любит терять время по пустякам. Он сразу заговорил в своей обычной манере, опуская глаголы, торопливо и деловито:

— Инструмент с вами? Аккомпаниаторша тут, давно... Все прекрасно. Первое отделение в порядке. За кулисы!

Лева побрел за кулисы.

— Ты — в зал! — скомандовал Роберт. Я пошла в зал.

Свободных мест уже почти не было. Только в предпоследнем ряду. Я села, а на стул слева от меня должен был сесть Лева после своего триумфа на сцене. Я положила на это место платок.

— Разрешите высморкаться!

Сзади загоготали. Я обернулась и увидела старшеклассника Рудика — известного на всю школу балбеса, который паясничал даже на похоронах. Такие есть в каждой школе. И всегда они садятся в последний ряд. Рудик развалился и упер ноги в спинку моего стула. Теперь я поняла, почему мое место оказалось свободным: никто не хотел сидеть впереди Рудика. Мне в этот вечер чертовски везло!

И все-таки самое ужасное было еще впереди.

Роберт-организатор объявил со сцены, что первое отделение будет очень серьезным.

— Вот хорошо: посмеемся! — воскликнул Рудик. Сперва какой-то участник драматического кружка стал читать Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу...

— Самостоятельной жизни! — крикнул Рудик. Его приятели загоготали.

Потом какая-то участница хореографического кружка исполняла «Индийский танец».

— Хинди-руси бхай-бхай! — крикнул Рудик.

— Бхай, бхай! — подхватили его дружки.

Все стали оборачиваться, шикать на Рудика. Это его вполне устраивало: он был в центре внимания.

Своим «острым практическим умом» я сразу сообразила, что если во время Левиного выступления Рудик будет молчать, это произведет на всех огромное впечатление. Все решат, что даже Рудика сразил Левин кларнет. Но как это сделать?

Я тут же изменила план действий. Теперь я уже не должна была показывать, что Лева — мой брат. Я должна была это скрывать! Хотя бы на время...

Я знала, что в первом отделении будет всего три номера. Когда индийский танец подходил к концу, я обернулась к Рудику и сказала:

— Сейчас будет выступать очень талантливый музыкант. Будущий лауреат! Из Московской консерватории...

— Чихали мы на таких! — ответил мне Рудик.

— Чихать очень опасно! — сказала я. — Музыкант этот страшно нервный. Недавно во время его выступления один в зале чихнул, так он прекратил играть... И потребовал, чтобы чихающий вышел из зала.

— Вот хорошо: мне как раз надо выйти... Я еле сижу!

— Он не просто потребует выйти. Он еще осрамит на весь зал! Очень нервный. Потому что талантливый. Не советую связываться.

— Будет пикивать классику? — спросил Рудик.

— Конечно!

— Спи, моя радость, усни!.. — пожелал Рудик самому себе.

И прямо-таки разлегся, по-прежнему уперев ноги в спинку моего стула. Я поползла вместе со стулом вперед... Но я промолчала: пусть делает вид, что уснул. Нашел-таки выход из положения!

А Лева уже вышел на сцену... Все ждали выкриков Рудика, хохота из последнего ряда, но было тихо. И как-то торжественно.

Я впервые смотрела на брата из зала.

У него был совсем не артистический вид. Нет, пожалуй, артистическим было только лицо: совершенно отсутствующее. «Весь в себе!» — как говорит мама. Он еще не начал играть, но уже мыслил музыкальными образами. Это мне было ясно.

А все остальное было совсем не для сцены. Фигура сутулая, словно о чем-то задумавшаяся. Костюм был отглаженный (я сама его гладила), а казался помятым и не Левиным, а чужим.

«Я сама буду ходить с Левой к портным! — твердо решила я. — И буду заказывать ему самые модные вещи! Он будет проклипать меня, отбиваться, будет считать, что я

отрываю его от искусства. Но я буду приносить себя в жертву: пусть плохо думает обо мне, пусть считает меня тряпичницей! Когда-нибудь он поймет... Да, он поймет, что я брала на себя все самое будничное, самое неблагоприятное, как всегда делали сестры великих людей».

Но пока еще с Левого к портным ходила мама, а у нее был отсталый вкус. И наши пижоны из первых рядов, наверно, смотрели на Леву с усмешкой.

Потом вышла Лиля с нотами. Аккомпаниаторши, я заметила, чаще всего бывают пожилыми и некрасивыми. Певцы и музыканты на их фоне выглядят особенно эффектно. Но тут как раз Лиля спасла положение. Она вела себя как на самом настоящем концерте: вышла уверенным шагом, с независимо поднятой головой, строго поклонилась. И наши пижоны захлопали. Потом она потверже уселась на стул, разложила свои ноты. Обернулась к Лево и буквально впилась в него глазами, как это делают все настоящие аккомпаниаторы, ожидая сигнала... Это было как на самом настоящем концерте. И очень подействовало на старшекласников.

Лиля ударила по клавишам, и Лева заиграл «Рассказ Франчески». Я не слышала, как он играл: я волновалась. И смотрела на своих соседей: некоторые закрыли глаза — так слушают хорошую музыку. Потом захлопали... Хлопали все, но не очень долго. Может быть, Лево лучше было уйти за кулисы: тогда бы его нужно было вызывать обратно на сцену и хлопали бы сильнее. А так все сразу поняли, что он будет играть еще, и не очень старались.

Я думаю, что артист должен казаться со сцены недоступным и загадочным. Так даже и зрителям интересней. Ну разве приятно представить себе, что артист такой же точно человек, как ты сам? Что можно запросто подойти и хлопнуть его по плечу?..

А Лева вдруг улыбнулся так, словно был у себя дома, махнул рукой и заиграл свой любимый «Полет шмеля».

Ему снова аплодировали, но уже меньше, чем первый раз. Неожиданно на сцену, деловито глядя на свои ручные часы, выбежал Роберт-организатор.

Он что-то зашептал моему брату на ухо. Лева вновь по-домашнему улыбнулся и объявил следующий номер...

Не успел он кончить, как Роберт-организатор опять показался из-за кулис. Он по-прежнему деловито смотрел на часы и одновременно пожимал плечами. Подошел к Лево и опять зашептал ему что-то на ухо. А мой брат добродушно, безвольно закивал головой: дескать, согласен, пожалуйста... Представляете?

Мне стало страшно: неужели он будет снова играть? По плану, который я составила дома, я должна была встать и попросить: «Сыграй, Лева, еще... Я прошу тебя». Сейчас мне хотелось вскочить и крикнуть: «Я прошу тебя: перестань играть!»

В будущем я, конечно, буду ходить с братом на все его концерты. Я научу его быть гордым! Пусть зрители сначала попросят, повалются у него в ногах... А потом уж он что-нибудь сыграет на «бис». Разве артист может быть таким сговорчивым? Он должен быть загадочным и недоступным!

Наконец Лева кончил.

— С добрым утром! — сзади воскликнул Рудик. И сделал вид, что проснулся. Но я уже не обращала на него никакого внимания.

— Поприветствуем наших гостей! — крикнул Роберт-организатор. — Поздравим их с Новым годом!

До Нового года было еще целых пять дней, но все завопили со своих мест: «Поздравляем!»

Тут и Лиля впервые поднялась со своего стула. Неторопливо собрала ноты, сдержанно поклонилась и указала рукой на Леву: дескать, главная заслуга принадлежит ему! Она вела себя как на настоящем концерте.

А Лева вновь по-домашнему улыбнулся, будто в зале сидели его родственники. Представляете? Это было ужасно!

Но самое страшное все-таки было еще впереди. Уже совсем близко, совсем рядом...

Об этом я напишу завтра. Потому что мама уже два раза говорила, что мне пора спать. Она понять не может, что я пишу. Заглядывать ей неудобно. Другие родители не стесняются: заглядывают к своим детям в тетрадки и даже вырывают из рук. Но моя мама себе этого не позволяет: она очень интеллигентна. Лева похож на нее.

Сначала мама думала, что я пишу домашнее сочинение. И была даже рада. Но я сказала, что это не сочинение, а что именно, не сказала.

— Если б ты с таким увлечением делала уроки! — воскликнула мама. — Совсем не думаешь о своем будущем.

Но я как раз думаю о будущем! Поэтому я и веду дневник.

28 декабря

Перед вторым отделением вечера из зала вытащили все стулья. Свалили их в коридоре. И сразу коридор стал узким, а зал раза в два больше, чем был. На сцене поставили искусственные елочки с игрушками.

— Ах, какая прелесть! — визжали девчонки. — Как необычно! Оригинально! Синтетика!..

Десятиклассницы почему-то любят синтетику. Я все же не верю, что искусственные елки нравились им больше, чем настоящие, — те, которые пахнут лесом и снегом. Им просто хотелось визжать и выражать восторги. Они были в приподнятом настроении.

Девчонки меня вообще раздражали. Все они выглядели роскошно! В раздевалке это было не так заметно, потому что они еще были не при полном параде, а некоторые в пальто. Ну, а иметь модное пальто гораздо труднее, чем модное платье, поэтому женщины выглядят зимой не так нарядно, как летом. Я на это давно обратила внимание.

Когда девчонки сидели в первом отделении на концерте, платья были не так видны. А теперь уже все сияли своими глубокими вырезами!

Я очень сильно от всех отличалась. У меня было глухое девчачье платье. Воротник доходил до самого подбородка. Я тоже хотела однажды сшить себе платье с вырезом, но портниха сказала, что мне это будет невыгодно, что мне еще нечего обнажать. Прямо так и сказала: «Тебе еще нечего обнажать. Твои ключицы выпирают, как какие-нибудь металлоконструкции...» Правда, неплохо? Я давно обратила внимание: частные портнихи очень развязны. Потому что все перед ними заискивают и смотрят им в рот, как каким-нибудь мудрецам.

В общем, девчонки выглядели очень роскошно. И я сильно проигрывала на их фоне. Это уж точно. Но зато рядом со мной стоял мой брат Лева, будущий великий мастер кларнета! Я взяла его под руку. И девчонки поглядывали на меня с завистью. Не многим из них приходилось прогуливаться под руку со студентом консерватории!

— Что он тебе шептал на ухо? — спросила я Леву.

— Должен был приехать певец...

— Из ресторана?

— Кажется, да. И он просил меня поиграть...

— Он бы еще пригласил для этого Гилельса! Тянуть время, пока не приедет певец из «Варшавы»!..

— В принципе мне было нетрудно их выручить.

Это любимое Левино занятие — кого-нибудь выручать. Некоторые его приятели уже успели жениться. Представляете? Поторопились! К Леве приходят перед экзаменами и когда ссорятся с женами. И он всех выручает. Боюсь, как бы на это не ушли все его силы.

А певец из ресторана так, значит, и не появился. Роберт со сцены объявил, пропуская глаголы:

— Небольшая накладка: певец из ресторана «Варшава» — увы! Но Варшава — здесь, с нами! Наша любимица Алина в сопровождении школьного джаз-оркестра! Польские эстрадные песни!

Мальчишки завопили: «Ура!» Старшеклассницы чуть-чуть похлопали. Совсем чуть-чуть: они не любят Алину, они завидуют ей.

Я не завидовала Алине: у нас в школе она, как говорится, вне конкурса. А тем, кто вне конкурса, глупо завидовать. К тому же мне нравилось, что девчонки со своими глубокими вырезами сразу присмирели, повесили носы. Они знали, что мальчишки будут восторгаться Алиной, а соперничать с ней бесполезно.

Так иногда женщины выходят грустные из кино после картины, где главную роль играет красавица. Я обратила внимание: они даже некоторое время не смотрят на своих спутников. Наверно, боятся, что те будут сравнивать. Нет, я никогда не выйду замуж. Это уж точно!

Алина на наших вечерах всегда поет джазовые песенки на польском языке. Когда она вышла на сцену, я захопала ей изо всех сил за то, что она посадила на место всех наших девчонок.

Девочки явно грустили и со злостью поглядывали на Алину. А некоторые храбрились и неестественно хохотали. Я заметила, что женщины часто смеются тогда, когда им хочется плакать.

Вообще-то я тоже не люблю красивых девчонок. Они все время помнят о том, что они красивые, и с ними поэтому очень трудно иметь дело. Но вчера я была благодарна Алине еще и за то, что не приехал певец из ресторана «Варшава», которого все ждали больше, чем Леву. Хотя Алина не имела к этому ровным счетом никакого отношения. Но она выступала вместо певца, и я ей за это хлопала. Верней сказать, и за это тоже. А еще я хотела, чтобы Леве понравился школьный вечер, на который я его притащила. И поэтому я зашептала ему на ухо:

— Алина прекрасно знает польский язык. Как русский!..

Алина не только поет по-польски, но и работает под красавицу польку из журнала «Экран». Она яркая блондинка, с прямыми волосами, которые спадают на лицо, даже закрывая один глаз.

— У нее волосы абсолютно свой, — шепнула я Леве.

— В каком смысле?

Лева не понимает элементарных вещей, потому что он «не от мира сего», как говорит мама.

— В том смысле, что она их не красит, — объяснила я. — Это ее естественный цвет!..

Алина пела тихо, и все в зале, особенно мальчишки, просто боялись дышать. А Алина дышала всюю. Так по крайней мере казалось, потому что она дышала в микрофон.

Я немного шепелявлю и с детства как-то враждебно отношусь к шипящим буквам. Я уверена, что это самые неблагозвучные буквы во всем алфавите. Недаром ведь в художественных произведениях положительные герои никогда не «шипят», а «шипят» отрицательные.

Но когда Алина поет свои польские песенки, мне начинает казаться, что шипящие не так уж плохи. Слова, которые она почти что шепотом произносит в микрофон, состоят от начала до конца из одних шипящих, а получается довольно-таки красиво и задушевно.

Мальчишки аплодировали как безумные и даже свистели, что является у них высшим выражением радости и восторга. Леве после его «Франчески» никто не свистел. Это было обидно. Но я заметила, что, аплодируя Алине, многие тайком поглядывали на Леву. Еще бы! Всем интересно было, как оценит ее пение студент консерватории. Профессионал! Ну и типы же эти старшеклассники: ни за что в открытую не признают, что студент консерватории — для них авторитет. Для них вообще не существует авторитетов! А исподтишка будут подглядывать, как он реагирует. Ну и типы!..

Лева заметил это и, засунув свой черный футляр под мышку, стал хлопать так, будто был на концерте Давида Ойстраха. Я решила, что он хочет доставить мне удовольствие: ведь я так нахваливала Алину!

Когда Алина кончила петь, она решила прямо со сцены спрыгнуть в зрительный зал. Это было, конечно, очень эффектно. Мальчишки, забыв про своих девиц, бросились ей помогать. И тут произошло что-то совершенно неожиданное: наш Лева, всегда такой медлительный и неповоротливый, тоже подскочил к сцене и протянул Алине левую руку. Правой он держал старинный дедушкин футляр.

Мне было обидно, что Левина рука как-то затерялась в толпе других рук и ничем от них не отличалась. И сам Лева как-то затерялся среди старшекласников. Но Алина со сцены разглядела Левину руку и, представьте себе, оперлась именно на нее. Да, на нее! Наш Лева весь покрылся красными пятнами, будто кто-то надавал ему по физиономии. Вообще-то он часто краснел. Но всегда для этого были какие-то основания. А тут он покраснел без всяких оснований.

Когда Алина спрыгнула в зал, Лева поблагодарил ее. За что, спрашивается? За что? Это она должна была сказать «спасибо»: ведь он протянул ей руку, а не она ему. Происходило что-то странное.

Наш школьный эстрадный оркестр заиграл танго. «Сейчас во время танца скажу Лева, что вовсе не считаю Алину своей подругой, — решила я, — и не требую, чтобы он ради меня так перед ней вертелся!» В эту минуту брат наклонился ко мне. «Ага, не забыл своего обещания! — подумала я. И вытерла ладони о холодную стену, покрашенную масляной краской: они у меня немного вспотели. — Сейчас я впервые буду танцевать на вечере старшекласников!..»

— Подержи, пожалуйста, — поспешно проговорил Лева. И старинный дедушкин футляр оказался у меня под мышкой.

А Лева опять уже был возле сцены и протягивал руку Алине: он приглашал ее танцевать. Я снова вытерла ладони о холодную стену.

О, как я ненавидела Алину в этот момент! Я ненавидела даже ее имя — такое редкое и красивое. Меня-то ведь все звали просто Женькой. «Имя среднего рода, — шутил отец, — не поймешь: женское или мужское». Ничего себе представление о справедливости: сам же всучил мне это имя в честь какой-то своей любимой тетушки и сам же острит! Я не видела эту тетушку ни разу в жизни: она умерла за десять лет до моего рождения. И было непонятно: почему родители решили преподнести ей подарок за мой счет?

Все наши девицы с их глубокими вырезами сразу стали казаться мне милыми и симпатичными по сравнению с Алиной. Она заставила Леву бросить сестру, которая решила посвятить ему всю свою жизнь! Но даже не в этом дело. Она заставила моего брата вести себя так, будто он ничем не отличался от десятиклассников, которые все были в нее влюблены. И за это я ее ненавидела!

Алина все время, не отрываясь, смотрела на Леву в упор и как-то слишком многозначительно. Притворство! Сплошное притворство! Лева не мог нравиться ей, как ему не могли нравиться всерьез ее эстрадные песенки. Сутулый, нескладный, в костюме, который всегда кажется чужим и мятым, Лева абсолютно не в ее вкусе. Все дело в том, что он студент консерватории, что у него блестящее будущее! Вот она и смотрела в упор, будто старалась его заморозить.

Но, к счастью, Лева не замечал этого взгляда: он опустил голову и изучал свои ноги. Он всегда смотрит на свои ноги, когда танцует.

Никто не обращал на меня никакого внимания. Я стояла одна и прижималась спиной к холодной стене, чтоб не мешать танцующим. Меня толкали и даже не извинялись. А некоторые спрашивали, как та десятиклассница в раздевалке: «Женька, как ты сюда попала?», «А ты как здесь очутилась, Женька?» И некому было меня защитить: мой брат танцевал с Алиной!

Тут я вспомнила про Лилию. Лева даже не поинтересовался, где находится его «аккомпанемент». Ничего себе рыцарь!

Я вспомнила, как Лилия однажды сказала: «Профессиональный артист не должен появляться среди зрителей в день своего выступления».

«Умница! Конечно, не должен! — думала я. — Тогда он будет загадочным и недоступным. А иначе он станет для всех обыкновенным человеком, абсолютно равным и неинтересным. Как мой брат, которому десятиклассники преспокойно наступают на ноги. Будто он и правда ничем от них не отличается, словно это не он будет участвовать в конкурсе музыкантов-исполнителей!»

После танго Лева подошел ко мне такой красный, будто ему еще раз надавали пощечин. Он был очень взволнован. Я его таким никогда не видела. И не хочу больше видеть!

— Ты же поклялся танцевать только со мной, — сказала я.

— В принципе ты права, — ответил он мне, еле переводя дух. — Но я умею танцевать только танго... Ты же знаешь. В твисте я выглядел бы очень смешно...

— А вообще не танцевать с ней ты не можешь? Эта мысль тебе не приходит в голову?

Когда люди, которые «не от мира сего», совершают ошибки, с ними надо говорить резко и прямо. Во имя их же спасения!

Но я не успела спасти своего бедного брата. Оркестр заиграл твист. И Алина, отбиваясь от мальчишек, которые приглашали ее, сама подошла к Лева. Представляете? Сама подошла! Вот так красавица! Вот так гордячка! Совсем потеряла совесть. И Лева пошел танцевать твист, который он танцевать не умеет.

Алина его учила. Теперь они оба смотрели на ноги. Она учила Леву всего-навсего танцевать, но вид у нее был такой покровительственный, будто она объясняла ему, как надо жить на белом свете.

А я снова прижималась к холодной стене. Меня снова толкали и спрашивали, как я пробралась на этот вечер.

Нормальные люди выставляют напоказ то, что им выгодно выставлять. А то, что невыгодно, прячут подальше. Мой брат плохо танцует, а Алина заставляла его выделять самые трудные па. Зачем? Может быть, она хотела выставить его на посмешище перед своими приятелями? Они ведь тех, кто плохо танцует, вообще за людей не считают.

По крайней мере десятиклассники уже поглядывали на моего брата свысока и даже с насмешкой: в танцах они были сильнее его. Алина дала им возможность почувствовать превосходство над моим братом, и за это тоже я ее ненавидела.

Я мечтала, чтобы наш школьный эстрадный оркестр, который я всегда любила слушать, поскорее умолк. Но он не умолкал до тех пор, пока снизу не пришла гардеробщица и не сказала Роберту-организатору:

— Я ваши вещи до утра караулить не собираюсь... Тогда вечер закончился.

Ко мне подошел Лева и протянул руку за старинным дедушкиным футляром. Я спрятала футляр за спину и сказала:

— Кажется, он тебе уже не пригодится.

— В каком смысле?

— В том смысле, что ты, кажется, собрался поступать в хореографическое училище? Но лучше поступи в цирковое: там учат на клоунов. Ты сегодня неплохо выступал в этом жанре.

Может быть, я говорила с Лева слишком прямо и резко. Но я имею на это право. Ведь я решила посвятить ему всю свою жизнь. И я должна спасти его от Алины! Чему она может научить моего брата? Петь эстрадные песенки? Что между ними общего? Да и вообще Лева сейчас не имеет права влюбляться! Он должен готовиться к конкурсу. И заниматься с утра до вечера. А не влюбляться! Я должна спасти его, уберечь. И я это сделаю!

Но спасти Леву будет не так-то легко. Ведь он «весь в себе». А когда люди, которые «все в себе», втямшат что-нибудь себе в голову, им невозможно ничего объяснить. Они, как очумелые, прут на рожон.

— Алина одна. А сейчас уже поздно, — сказал Лева. — Мы проводим ее до дома.

— Единственное, что ей не угрожает, — это одиночество! — воскликнула я. — Вот увидишь: все наши кавалеры за ней поплетутся...

Зачем я произнесла эту дурацкую фразу? На мужчин, я заметила, ничто так сильно не действует, как успех женщины сразу у многих. Это и на мальчишек тоже распространяется. Поэтому-то, я заметила, почти в каждом классе обязательно есть какая-нибудь общепризнанная красавица. И чаще всего она ничуть не красивее других. Просто однажды в нее случайно влюбились двое мальчишек сразу. А остальные подумали: раз за ней бегают сразу двое, значит, она того заслуживает. И пошла цепная реакция!

Когда я произнесла роковые слова о том, что Алине не грозит одиночество, Лева как-то болезненно улыбнулся, беспомощно развел руки в стороны (дескать, что тут поделаешь!) и сказал:

— Да, я понимаю... Она пользуется успехом.

— Дешевым успехом! — воскликнула я.

Но исправить ошибку уже было нельзя. И мы пошли провожать Алину. А дом ее находится в совершенно противоположной стороне от нашего дома.

Я почти всю дорогу молчала. По правде сказать, я в присутствии Алины почему-то робела. И даже помимо воли иногда ей поддакивала. И Лева поддакивал всякой ее ерунде. Я поглядывала на него с изумлением. И даже с испугом: мне казалось, что он поглупел и вообще стал каким-то совсем другим человеком. Впрочем, я вспомнила, что многие великие люди любили ничтожеств и в их присутствии изрядно глупели. Неужели и моего брата ждет такая судьба?

Алина же просто не закрывала рта. Но говорила она в свой меховой воротник.

— Берегу горло, — объяснила она.

Вы слышали? Значит, она воображает себя певицей! Ее горло представляет, видите ли, такую огромную ценность, что его надо беречь! В общем, мне пока что так и не посчастливилось услышать ее настоящий голос: пела она в микрофон, а говорила в меховой воротник.

— В принципе вам всегда следует держать горло в тепле, — изрек мой брат Лева.

Эта фраза Алине очень понравилась, и она в благодарность призналась Лева, что кларнет — ее самый любимый музыкальный инструмент. Представляете? Она, оказывается, может слушать кларнет с утра и до вечера.

И еще может сутками слушать саксофон.

Хорошо, что она не сравнила кларнет с барабаном. Или с какими-нибудь другими ударными инструментами. Я думала, Лева содрогнется оттого, что его любимый кларнет поставили в один ряд с саксофоном. Но Лева не содрогнулся. А, наоборот, согласился с Алиной:

— Да, саксофон обладает оригинальными средствами музыкального выражения...

Но самое непонятное было то, что и я зачем-то сказала, что люблю саксофон. У этих красивых девчонок удивительная власть над людьми! И способность превращать всех кругом в абсолютных кретинов!

— Сразу после Нового года, — сказал Лева, — у нас будет концерт студентов второго курса. В Малом зале консерватории...

Меня раздражает Левина манера все уточнять. Ну какая разница, в Малом или Большом зале будет концерт? Можно было просто сказать: «В зале консерватории». И обязательно надо уточнять, что он учится на втором курсе, а то, не дай бог, подумают, что на пятом! И свой будущий конкурс он всегда величает полным именем: Всероссийский конкурс музыкантов-исполнителей на духовых инструментах. Хотя можно сказать просто, гораздо короче: конкурс музыкантов-исполнителей. Пусть думают, что вообще всех музыкантов, и не всероссийский, а всесоюзный или даже международный! Нет, Лева должен сказать все точно, как есть. Станный характер!

— Для меня будет большим подарком, если вы придете на этот концерт, — сказал Лева.

Можно было подумать, что он приглашает Мстислава Ростроповича: большим подарком!

— Дайте мне свой телефон: я позвоню накануне, — сказала Алина.

Как всякая красавица, она, конечно, очень занята!

— Нет, вы можете не дозвониться. Лучше договоримся прямо сейчас, — настаивал Лева. — Правда, Женя, так лучше?

— Конечно, — сказала я.

Мне хотелось обругать брата за его приглашение, а я сказала: «Конечно». Мой язык просто сошел с ума! Я была под сильным гипнозом.

Наконец, Алина согласилась прийти. Еще бы: ведь она так любит кларнет!

— Мы будем ждать вас у входа, — сказал Лева. Сомнений не оставалось: он был влюблен!

— А вы мне преподнесите ответный подарок! — уже прощаясь, кокетливо сказала Алина.

Лева сделал такое лицо, словно готов был отдать ей все, что она пожелает.

— Согласитесь солировать в нашем эстрадном оркестре! Это будет так оригинально: музыкант-профессионал выступает со школьным джазом!..

Я поперхнулась холодным воздухом. А Лева преспокойно ответил:

— В принципе это возможно...

— Замётано! — сказала она. И скрылась в дверях. Я тут же освободилась от ее гипноза.

— Ты еще будешь играть в фойе! Как наш бедный дедушка! — крикнула я Лева. — Помяни мое слово: этим все кончится!..

29 декабря

Вся моя жизнь под смертельной угрозой. Вся моя МЛ жизнь! Если Лева станет играть в школьном джазе, ему это может понравиться: ведь у него такая опасная наследственность по линии дедушки. И потом он в самом деле может захотеть выступить в фойе, перед началом сеансов. А люди будут жевать бутерброды...

Тогда я уже не смогу посвятить ему всю свою жизнь. Музыканты, которые играют в фойе, не имеют права быть «не от мира сего», и им как-то не принято посвящать свою жизнь. На это имеют право только великие музыканты!

А если Лева не станет великим, или по крайней мере известным? Что я тогда буду делать? Тогда все мои планы летят кувырком. Я, как мои одноклассницы, должна буду придумывать себе будущую профессию, и зубрить, и гоняться за отметками. Я должна буду стать такой же, как все...

Но я думаю, конечно, не о себе. Дело в Лева! Ради него я пойду на все! Настоящие сестры часто вмешиваются в личную жизнь своих братьев. И не требуют благодарности. Я тоже вмешиваюсь! Лева забудет Алину, и хорошо подготовится к конкурсу, и завоюет там первое место! И тогда я смогу посвятить ему всю себя без остатка!

— Неужели ты не видишь, что она вся неискренняя и фальшивая? Вся насквозь?! — сказала я Лева. — Кларнет — ее любимейший инструмент! Да есть ли на свете хоть один нормальный человек, для которого кларнет был бы самым любимым инструментом? Есть ли такой человек? Нету такого!

— Это твоя личная точка зрения, — сказал Лева.

— Это факт, а не точка зрения! Я надеялась, что ты станешь первым в мире великим кларнетистом! Но напрасно... И неужели ты думаешь, что она в самом деле знает польский язык? Просто выучивает слова и бессмысленно их повторяет. Сейчас любой певец, даже откуда-нибудь из Гваделупы, поет «Подмосковные вечера» по-русски. И что же, по-твоему, он знает русский язык? Так и она. Просто глупо было подумать, что она понимает по-польски. И волосы у нее крашенные...

— А может быть, у нее вообще парик? — с улыбкой перебил меня Лева. Он готов был ее защищать. Это было ужасно. — Раньше ты говорила другое: и про волосы и про польский язык. Нельзя же так быстро менять свое мнение. И поддакивала ей, когда мы ее провожали.

— Я иронически ей поддакивала. Как бы в насмешку...

— Прости, я не почувствовал этой иронии. К тому же она бы была неуместной.

— Ты ее любишь?! — воскликнула я.

Он ничего не ответил. Но я понимаю: разговаривать с ним бесполезно. Я должна действовать! И я буду...

30 декабря

Сегодня — последний день второй четверти. Мы, конечно, написали на доске мелом: «Последний день — учиться лень!» Учителя читают и делают вид, что сердятся.

Завтра каникулы! Я обожаю каникулы. Учителя отдохнут от нас, а мы отдохнем от них. И у всех поэтому хорошее настроение.

На переменках старшеклассницы носятся по коридору, шушукуются, договариваются, кто с кем будет встречать Новый год. Я давно заметила, что о самых простых вещах они почему-то любят говорить шепотом и с таинственным видом. Так им интереснее!

И учителя, конечно, тоже будут встречать Новый год. На уроке литературы я старалась представить себе, как они это будут делать. Я вообще часто стараюсь представить себе жизнь наших учителей. Особенно учительниц. Мы их зовем «училками». Какие у них мужья? И как у них дома? Неужели даже наша химичка, которая ни разу за два года не улыбнулась и называет нас всех на «вы», дома тоже целует мужа? И он целует ее?.. Интересно, как это все происходит? Но это же происходит, потому что у нее на руке кольцо. Толстое, старомодное, но все-таки обручальное! Значит, дома она целуется... Представляете? И у нее, может быть, даже есть дети...

У всех хорошее настроение. Даже химичка пожелала нам полезного отдыха. Не счастливого, а полезного!

Но у меня на душе тяжело. Что-то висит. Это висит Алина! Я ведь нарочно развлекаю себя разными посторонними мыслями, чтобы забытья. Но забытья я не могу: Лева будет играть с нашим школьным джазом! Солировать! А потом докатится до фойе. Если я его не спасу!

Пишу на уроке... Я заметила: последние дни и часы (в пионерлагере, или в поезде, или в школе) всегда тянутся страшно медленно. Просто сил нет.

Но вот наконец звонок! Не забыл нас, родименький! Иду на перемену...

Начался самый последний урок. Математичка терпеть не может, когда отвлекаются. Если заметит, тут же вызовет отвечать. Конечно, обидно погибнуть в последнем бою, но я должна немедленно записать все в свой дневник. Я должна рассказать о том, что произошло буквально минуту назад, на перемене. Я сделала смелый, решительный шаг! Ради Левы, ради его музыкального будущего! Оценит ли он это когда-нибудь?

На последней перемене старшеклассницы продолжали носиться по коридору, шушукаться и обниматься (они очень любят обниматься друг с другом).

Алина ни к кому не подбегала: все подбегали к ней, потому что она у нас прима, она вне конкурса.

Но ко мне Алина направилась сама, а я даже не шелохнулась, ни одного шага не сделала ей навстречу. Она улыбалась мне своим длинным и красивым глазом, который почему-то напоминал мне вытянутую голубую раковину. А второго ее глаза я никогда не видела: он всегда закрыт прямой, золотистой прядью волос.

Она притянула меня к себе, чуть-чуть нагнулась и прижалась ко мне щекой. Представляете? Наши семиклассницы просто попадали от зависти. Мысленно, конечно, попадали. А я даже не шелохнулась.

— Какие у нас показатели? Дед-мороз будет доволен? — спросила Алина.

Я решила на этот раз ни за что не поддаваться ее гипнозу. Ни за что!

Показатели, то есть отметки за вторую четверть, у меня очень неважные.

— Какое это имеет значение? — ответила я.

Она снова прижалась ко мне щекой. И наши девчонки снова попадали. Но я была холодна и спокойна.

Я знаю, что невесты обычно хотят подружиться с родителями своих женихов, заполнить их себе в союзники. Алина до мамы с папой еще не добралась, она начала с меня. Это мне было понятно. И я к ней прижиматься не стала.

— Поздравляю тебя с Новым годом, — сказала Алина. — И всех наших общих знакомых!

На общих знакомых она сделала такое ударение, что мне стало просто не по себе. Никаких общих знакомых у нас не было: она говорила о Лева.

— Увидимся в новом году, — продолжала она. — Место встречи и время все те же?

Тут я и сделала свой решительный шаг.

— Вы знаете, Лева очень просил извиниться... — сказала я ей тихо, чтобы не слышал никто другой. — Наша встреча не состоится.

— Не состоится? — словно желая разглядеть меня получше, она отбросила золотистую прядь, и я первый раз увидела оба ее глаза одновременно. Но они в этот миг не были похожи на голубые вытянутые раковины. Они были круглыми от удивления. И мне ее стало даже немножко жалко. Но я подавила в себе эту слабость. Если Лева действительно нравится ей, то тем хуже: не хватало еще, чтоб у них началась любовь накануне конкурса музыкантов-исполнителей!

— У него есть невеста, — сказала я. — И ей было бы неприятно... Вы понимаете?

— Он обручен? — спросила она уже с насмешкой. Но эта насмешка была какая-то беспокойная, нервная.

— Ну да... Можно сказать, обручен. Очень давно, прямо с детского возраста. Со своей аккомпаниаторшей.

— С этой...

— Ну да, — перебила я, — она некрасива. Но у них общие идеалы! Их сблизила музыка. Они любят друг друга...

Это была ложь во имя спасения брата. Оценит ли он это когда-нибудь?

3 января

Вчера был концерт студентов консерватории... Он начался в семь тридцать вечера, но мы с Левой пришли на час раньше и мерзли на улице. Лева, видите ли, боялся, что Алина может перепутать и тоже прийти на час раньше, потому что некоторые концерты начинаются в шесть тридцать. Представляете? До чего дошло!

Мы бы, наверно, совсем очоценили, если бы Лева не казалось, что каждая со вкусом одетая девчонка, которая появлялась вдали, это Алина. Мы бежали навстречу, девчонки испуганно останавливались или шарахались в сторону. А мы извинялись и возвращались на свой пост к подъезду. Так мы хоть немного согрелись.

— Интересно, как ты будешь держать кларнет замерзшими пальцами? — сказала я. — Хорошо еще, что ты играешь не на рояле. И не на скрипке. Иди!.. Я сама ее встречу.

Куда там! Лева и слышать об этом не хотел. Мама всегда говорит, что он очень цельный человек. Вообще-то это неплохо. И даже хорошо. Но когда цельный человек влюбляется, с ним ничего невозможно поделать. Ему ничего нельзя объяснить.

Великие люди имеют право на странности, и эти странности им надо прощать. Потому что великий человек, с одной стороны, «весь в себе», а с другой — немножечко не в себе. Это я понимаю. Но ведь Лева вчера был не в себе не как выдающийся человек, а так же, как все наши мальчишки-десятиклассники, которые тоже влюблены в Алину. Вот почему я не хотела прощать! У необычных людей должны быть необычные странности.

Когда у Левы появятся такие странности, я их сразу буду прощать! Не задумываясь... Честное слово! А вчера я не прощала...

Лиля считает, что настоящий артист не должен появляться среди зрителей в день своего выступления. А Лева прямо-таки бежал навстречу зрителям, чуть не сшибая их с ног, если ему казалось, что вдали появилась Алина. Среди зрителей было много Левиных знакомых, и все они спрашивали: — Кого ты тут ждешь?

И Лева начинал подробно объяснять, что ждет одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Знакомые ухмылялись и глупо подмигивали. Но Лева и в следующий раз отвечал подробно и точно. Он всегда говорит чистую правду, одну только правду. Как будто нельзя было сказать, что мы ждем маму с папой.

Если Леве звонят по телефону, он всегда подходит, как бы ужасно он ни был занят. Я ему говорю иногда: «Можно сказать, что тебя нет дома?» «Но я ведь дома», — отвечает он. И подходит, хоть ему очень не хочется. Представляете?

Человек не может всю жизнь говорить одну только правду. Мало ли какие бывают случаи! Я уже твердо решила, что во всех этих случаях я буду врать за брата. Раз он сам не умеет! Что тут поделаешь?

— С ней что-то случилось, — сказал мне Лева. — С ней что-то случилось. А? Как ты думаешь?

— Ничего не случилось! — ответила я. — Она терпеть не может классическую музыку. И кларнет! Ведь я говорила тебе. Предупреждала! Я была уверена, что она не придет...

В этот момент появились мама и папа. Они были торжественные, нарядные и так гордо поглядывали по сторонам, будто все вокруг должны были знать, что их Лева выступает сегодня в Малом зале консерватории. А этот Лева, которым они гордились, прыгал на одном месте, как воробей.

Папа, когда волнуется, всегда начинает шутить. Но волнение мешает ему быть остроумным.

— Боюсь, твой кларнет будет сегодня чихать и кашлять, — сказал он.

— В чем дело? — воскликнула мама.

Что бы стоило Леве сказать, что мы ждали на улице своих любимых родителей! Что мы продрогли, но ждали! Как бы им это было приятно! Но, к несчастью, Лева всегда говорит одну только правду. И он снова стал объяснять, что мы ждем одну десятиклассницу, которая учится в моей школе. Мама ничего не поняла. Но она была в ужасе оттого, что Лева еще не за кулисами. Ему пришлось отправиться за кулисы. А я обещала подождать Алину.

— Она не придет! — сказала я Леве. — Ей противны классическая музыка, и твой кларнет, и Малый зал консерватории... И даже Большой тоже противен! Но я подожду. Раз ты просишь, я подожду!

Я постояла на улице еще минут пять или десять. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь спросил: «У вас есть лишний билетик?» Я мечтала о том дне, когда Лева будет выступать не в общем концерте, а один, в сопровождении Государственного оркестра СССР! Мы подведем с Левой к служебному подъезду, там будут его поклонники (не какие-нибудь девицы, которые охотятся за тенорами, а серьезные пожилые люди — ценители музыки!), и я услышу за спиной шепот.

— Это его сестра! Она посвятила ему всю свою жизнь. Он без нее, как без кларнета!

Но вчера «лишних билетиков» никто не искал. Хотя когда я вошла в зал, он уже был абсолютно полон. Ни одного свободного места! Нет, одно свободное было... Рядом со мной, где должна была сидеть Алина.

Мама, конечно, стала тут же упрекать меня за то, что я заставила Леву ждать на улице какую-то свою подругу. Я заставила! С ума можно сойти!

И еще она возмущалась тем, что из-за меня в зале «зияет пустое место». Так она и сказала: «Зияет»!

Я, конечно, ничего ей объяснять не стала. Ей вчера вообще ничего нельзя было объяснить. Она была очень напряжена. И все делала неестественно: неестественно долго читала программу, в которой было указано, что Лева выступает предпоследним в первом отделении, неестественно улыбалась родителям других участников концерта, которые все сидели в нашем ряду. Весь ряд состоял из одних только родственников. И это было как-то противно. Не могли уж рассадить нас по разным углам.

Мама все время, словно какой-нибудь гид в музее, сообщала мне: «Вон там сидит лауреат! А там сидит трижды лауреат! А там профессор консерватории...» Мамочка очень волновалась. И мне хотелось успокоить ее. Но я не могла ее успокоить, потому что она ничего не слышала и не воспринимала.

И вдруг она схватила меня за руку:

— Что это? Что это значит?!

Я увидела, что из-за кулис выглядывает наш Лева. Он искал нас глазами. Потом нашел, увидел рядом со мной пустое место... Помрачнел, то есть буквально изменился в лице. И скрылся. Мама взглянула на меня. Но что я могла ей объяснить?

Наконец начался концерт. На сцену вышел мужчина с усталым, красивым лицом и седой шевелюрой.

— Он всегда ведет симфонические концерты, — шепнула мне мама. — Ты видела, наверно, по телевизору?

Вид у мужчины был такой, будто он был главным участником концерта. И фамилии знаменитых композиторов он выговаривал так, что я не сразу их узнавала.

Скрипки, рояли и виолончели казались мне в этот вечер просто невыносимыми. Я впервые заметила, что великие композиторы ужасно затягивали свои музыкальные произведения. Их вполне можно было бы сократить! Когда раздавались аплодисменты, я злилась и думала: «Не хватает еще, чтобы упростили Играть на «бис»!» И стоило только мне так подумать, как обязательно играли на «бис».

Мне казалось, что никогда не дойдет очередь до нашего Левы. Но она наконец дошла. Седой, усталый мужчина произнес и нашу фамилию так, будто это была чужая фамилия. Вышел Лева, а через несколько секунд после него вышла Лиля. Она держалась, как настоящая аккомпаниаторша: не спеша разложила ноты, поправила под собой стул и устремила глаза на Леву, ожидая его команды.

А наш Лева выглядел, как и на школьной сцене, каким-то слишком домашним. В нем не было никакой недоступности и загадочности.

Я не слышала, как он играл, потому что все время тайком смотрела на лица зрителей. Но трудно было что-нибудь угадать: смотрели внимательно на Леву — и все... А некоторые закатывали глаза.

Потом раздались аплодисменты. Хлопали не очень сильно, как всегда бывает после первого номера. Все и так знали, что Лева будет играть еще. Но когда аплодисменты затихли, я услышала сзади глухой мужской голос:

— Он сегодня не в форме...

И другой, тоже старческий, глуховатый:

— Да, как говорят шахматисты, играет не лучшим образом.

Мама еще до концерта успела мне сообщить, что сзади сидели Левины профессора.

Я боялась взглянуть на маму. Но увидела, как она схватилась за ручку кресла.

Мне хотелось обернуться к Левиным профессорам и сказать: «Поверьте: это я во всем виновата. Я!..»

Ночью я слышала, как Лева что-то шептал. Вроде бы рассуждал сам с собой. Потом встал и пошел на кухню. Когда он вернулся, я спросила:

— Что? Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет... Просто хочется пить. Жажда какая-то... А почему она не пришла? Как ты думаешь, Женька?

И тут я не выдержала.

— Все это по моей вине, Лева... — сказала я.

— По твоей?..

Мне показалось, что в его голосе была радость. Или, вернее, надежда.

— По моей! По моей! — подтвердила я. И все рассказала. В комнате было темно, я не видела Левиного лица — и так было легче рассказывать.

— В принципе ты поступила подло, — сказал Лева. Когда резкие слова произносятся раздраженно, это значит, что их говорят сгоряча. И может быть, вовсе не думают то, что говорят. А Лева сказал совсем тихо, спокойно... Значит, он был уверен, что я совершила подлость.

— Но ведь я хочу посвятить тебе всю свою жизнь, — тихо сказала я. — Я готова пожертвовать...

— Это манера деспотов, — перебил меня Лева.

— Какая манера? — не поняла я. — При чем же тут деспоты?

— Они превращают в свои жертвы тех, ради которых хотят всем на свете пожертвовать.

— Но ведь любящие сестры часто вмешиваются в личную жизнь своих братьев. Они имеют на это право!

— А есть ли вообще на свете такое право? — спросил Лева, как бы самого себя. — Хоть у кого-нибудь... Может быть разве такое право?

Лева снова лег и поплотней укрылся одеялом. Я села к нему на постель.

— Все-таки хорошо, что она не пришла из-за меня... А не сама по себе. Все-таки хорошо?..

Лева пожал плечами. Это было под одеялом, но я почувствовала, что он ими пожал...

Потом он вдруг улыбнулся. Было темно, но я увидела, что он улыбнулся. И пошла к себе...

Я больше не буду вести дневник. А то, пожалуй, в книге о брате могут не поместить мой портрет с подписью: «Сестра музыканта»...

— Да ладно, я расставлю все потом. Наверно, лучше пропустить по стопке! В дорогу еду, а меня знобит.

Но я держусь, не подаю и вида:

— Друзья, мы расстаемся без обид!

— Какая же тут может быть обида!.. А стихи

Стихи

Николай Старшинов

Проводы

I

Полно забот, а времени — в обрез.

Как говорят, обычное явление.

К платформе подан голубой экспресс.

Вот-вот уже ударят отправленье.

Уже друзья в купе внесли гуртом

И свертки и какие-то коробки...

— Да ладно, я расставлю все потом.

Наверно, лучше пропустить по стопке!

В дорогу еду, а меня знобит.

Но я держусь, не подаю и вида:

— Друзья, мы расстаемся без обид!
— Какая же тут может быть обида!..
А вот среди вокзальной суеты
И ты бежишь, по окнам шаря взглядом.
— Хорошая, спасибо за цветы,
Они в пути со мною будут рядом...
Ах, проводы!.. Усатый проводник
Уже ворчит:
— Да что же здесь такое!..
И я к стеклу холодному приник
И что-то говорю, машу рукою.
А там и друг мне что-то говорит,
И ты кричишь. Но кто же вас услышит!..
Уже зеленый семафор горит,
И паровоз все учащенной дышит.
Вот первое движение колес —
Плывут ларьки, уходит колоннада.
И у тебя в глазах не видно слез.
Спасибо! Так и надо, так и надо!
Нас повезут обратно поезда.
Когда мы поездами уезжаем.
Другое дело, если навсегда
Мы что-то и кого-то провожаем.

II

Ни бледных звезд, ни лунных бликов.
Гляжу в окно — темным-темно.
Летит состав. Стучит* на стыках.
Гремят костяшки домино.
Да, здесь работают что надо,
Со всей душою моряки!
И бабушка со мною рядом
Все вяжет теплые чулки.
И поясняет мне:
— Для внука!
Вот в гости собралась к нему...
А я уже не слышу стука —
Гляжу, гляжу, гляжу во тьму.
А там — лесок и поле в дымке,
И огоньки — видать, жильё.
И, словно на старинном снимке,
Я вижу прошлое свое.
Вот позади уже Калуга.
Состав летит в дыму по грудь...
Да, здесь давно когда-то друга
Я провожал в последний путь.
Уж эта память!.. Только трону.
Не избежать ее услуг.
...Мы занимали оборону.
Траншеями изрезав луг.
И был мой друг таким, как всякий

Из наших сверстников-ребят.
И вдруг... Ну ладно бы в атаке...
Когда палят... Когда бомбят...
А то во время перекура
Мы обходили с ним лесок, —
Тогда шальная пуля-дура
И обожгла ему висок...
Ну вот и первая могила.
Звезда и маленький портрет...
Ему, как мне, в ту пору было
Примерно восемнадцать лет.
Родился под московским небом.
Со мной ходил в десятый класс.
В горах не жил. У моря не был.
Деревню видел в первый раз.
А что еще внести в анкету!
Ни разу не сказал «люблю»...
...Ты, время, близишься к рассвету,
А я не сплю, не сплю, не сплю.

Ш

Светает уже немного.
За мокрым стеклом окна
Проселочная дорога
Петляет вдоль полотна.
Я давней еще порою
И в этих бывал местах.
Вон прячется под горою
Речонка в густых кустах.
Я помню, она о чем-то
Все песни свои вела.
Обычная эта речонка
Всех лучше для нас была.
Была, говорю я... Было...
Да вот поросло быльем...
А ты ее не забыла
На долгом пути своем!
Нас в то фронтовое лето
На берег ее крутой
Водила дорога эта.
Но только постой... Постой!..
Ни озера тут, ни моря
Не было в те года.
А нынче здесь, камни моя.
Хозяйничает вода.
Внушительная картина:
Гонит волну волна,
А вон вдалеке — плотина
И грозная глубина.
И в эту пучину е ходу —
Я так и прилип к окну —

Дорога уходит в воду
И дальше идет по дну.
Та самая. Только наша.
Исхоженная вдвоем...
Цвели лепестки ромашек
На майском лице твоём.
А что еще юным надо —
Улыбка, сиянье глаз...
Ты помнишь, и канонада
Ничуть не страшила нас.
Ищи теперь оправданья,
Когда разошлись пути.
Любовь моя, до свиданья!
Вернее сказать, прости!
Ни ходу к тебе, ни броду.
Ни отклика, ни следа...
...Дорога уходит в воду —
Отныне и навсегда.

IV

Молодость, как нам дорог
Каждый твой звонкий след!..
Мне вот недавно сорок
Стукнуло. Сорок лет!
Много это! Не очень.
Но и не мало, брат...
А за окошком — осень.
Листья летят, летят.
Разве учесть листопаду
Каждый опавший листок!
А ведь когда-то надо
Всему подводить итог!
Где я был прям и честен,
В чем я бывал неправ!
Как на моем бы месте
Кто-то смирял свой нрав!..
От паровоза
Белый
Низом плывет дымок...
Что же я в жизни сделал!
Что бы я сделать мог!
Надо признаться строго:
Как я там ни спешил,
Все же совсем немного
В жизни своей свершил.
И не моя — чужая
Песня летит в зенит...
Молодость провожая.
Сердце ее хранит.
Где же ее граница!
Все-таки отмечай!..

Сонная проводница
Мне предложила чай.
Поезд наш дальше катит,
Новый разгон берет...
Ну, погрустил — и хватит.
Надо глядеть вперед.
Что же там загорелось
Близко так, впереди!
Может быть, это зрелость!
Ладно, давай входи!
Властвуя безраздельно.
Строже взгляни на явь.
Трезво, спокойно, дельно
Все по местам расставь!
Но, говоря серьезно,
Бог весть по чьей вине,
Что-то уж очень поздно
Зрелость идет ко мне.
Может, усилъя утроить!
Молодость-то прошла.
Проводы ей устроить
Пышные —
И за дела!
Как-то смирить свое тело,
Где-то порыв сдержать...
Глупое это дело —
Молодость провожать.

V

Итак, наш поезд в десять сорок пять
Прибудет. И вагон гудит, как улей.
И надо собираться мне опять
Прощаться с моряками и с бабулей.
Опять прощаться!
То-то и оно.
Опять прощаться — и рюкзак за плечи...
И я смотрю растерянно в окно:
Когда, кого и что еще я встречу!
Мой друг уже не встанет никогда.
Моя любовь опять не загорится.
Как до конца сгоревшая звезда.
И молодость моя не повторится.
Их можно только в сердце уберечь,
К ним только память в силах дотянуться.
Но я все полон ожиданьем встреч.
Хоть вновь они разлукой обернутся...

Владимир Цыбин

*

Лежу под тишиной —
земной, тугой,
непрочной,
где вдрызг взрывной волной
весна разносит почки!
Где даль! Где ширь! Где высь!
Я, ослепленный светом,
навек запомнил жизнь,
упав в обнимку с небом.
Еще я не убит,
еще я жив покамест,
и вечно мир стоит,
и вечно дышит завязь...
Толчок — и я в обрыв
лечу во мгле кромешной.
Но той секундой жив
остался я навечно.
И этот краткий миг,
две-три секунды эти
в слепых глазах моих
не кончатся вовеки!..
Рассыпались года,
как высохшие комья,
фанерная звезда
пускает в землю корни.
А я бегу в пыли,
и все осколки — мимо,
мгновения мои
досчитывает мина.
Еще я не убит...
И яростно и живо
мне все принадлежит
за пять секунд до взрыва.
Мне все принадлежит —
куст с каждой веткой тонкой
и пуля, что свистит
над свежеею воронкой,
откуда я смогу
вперед — рывком сердитым.
Бегу, бегу, бегу,
бегу, давно убитый.
Принадлежит тот год,
что не увидят дети,
что, может быть, придет
и через три столетья.
Во времени чужом
живу я миг от мига.
Вокруг себя, кругом
шагают стрелки тихо.
Бегу, забыв про страх,
Что мой удел на свете —
упасть в пяти шагах

от своего бессмертья.
Еще живу, живу,
не подчиненный праху,
и все, бегу, бегу
в последнюю атаку...

*

Летит падучая звезда —
Так поезд рушится с моста,
Летит, разорванный на части.
А звезды падают на счастье.
Что загадать, пока вдали
Она дрожит!
Постой, не падай —
Может, звездою (стал корабль
С другой, загадочной земли...
На счастье падает звезда —
Я это знал еще мальчонкой,
И ей махал своей кепчонкой,
И звал ее: «Лети сюда!»
...Надежда светит нам из тьмы:
Мы не одни, не одиноки,
И на иной земле далекой
Нас ждут такие же.
Как мы!
Наперекор былым векам
Средь темноты пространств несметных
Мы тянемся —
И тем бессмертны —
К иной звезде, к иным мирам.
О, сколько их вдали, за мглою
Живет в неведомой тиши!
Идут веками над землею
Метеоритные дожди.
Ввысь — острое любой скирды.
В росинке был кометы дышит,
И смутный зов с другой звезды
Земля — еще немая — слышит.
Из суеты земных наречий,
Из перемирий и вражды,
О, как нам нужно
Человечьей,
Обжитой нежностью звезды.
Что скажем ей мы,
Ее людям,
Когда нас вдаль пошлет земля!
И кем тогда для них мы будем!
Ученики! Учителя!
И небо вновь звезду уронит.
И я в степи средь темноты
Ловлю доверчиво ладонью

Снежинку теплую
Звезды...

Юрий Ряшенцев

*

Среди авралов и тревог
урвав хоть час для размышленья,
давай присядем на часок
у парового отопленья.
Очаг единственный окрест
та раскаленная железка,
без дыма, без огня, без треска.
Но так ли уж нам нужен треск!
Вокруг и здесь, внутри, страна,
чье имя не помянем всуе.
Когда бы мы ей были судьи
иль прихвостни. А мы — она...
Нам повезло почти во всем.
И родились мы где хотели
и, надо полагать, помрем
в своей — в постели ли, в метели.
Но если слово — серебро,
ты стал богаче и добрее,
как кресло, старое ведро
подвинув к новой батарее.
Я торопливых не люблю:
они ни взрослые, ни дети.
А ты сидишь — кум королю —
и понимаешь все на свете...
В беседе ценится не прыть,
а право речи на участие
и право боли — говорить
всегда немного раньше счастья...
Под кипятком ворчит плита,
ворчит хозяйка: до гостей ли!
Но размышленье — не безделье.
И творчество — не суета.

Вид на Тбилиси с горы Мтацминда

Когда уже мама-Давид
меня забыл в пыли дорожной
то я не так смотрел на вид,
как слушал звук какой-то сложный.
Едва он снизу добегал,
я различал, клянусь ушами,
как пел гудок, шипел мангал,
лилось вино, плащи шуршали.
Не понимаю почему,
но я в вечернем этом граде

почуял вдруг, как гость в доме,
что дом хорош не гостя ради.
Все в норме: грешники грешат,
творцы творят, враги враждуют,
герои подвиги вершат,
когда лентяи в ус не дуют.
Но почему-то дураком
стою — и вдоха не хватает,
и в горле то растает ком,
то будто снова вырастает.
Молчит Мтацминда. С этих плеч,
наверно, шепотом иль криком
я должен что-нибудь изречь,
поклониться в чем-нибудь великом.
Но ей со мной не повезло:
она — гора и мне не ровня.
Из города идет тепло,
как будто там, внизу, жаровня...

На концерте «Старинный русский романс»

Чей рот ехидная гримаса
терзает, бог того прости.
Сословье русского романса
опять и в силе и в чести.
Певицын шарф летит, как лебедь,
чтоб в нас проник до самых жил
тот детский лепет, детский лепет,
который Кукольник сложил.
Словарь, беспомощный и страстный,
кричит, как грешники в аду,
и с той безвкусицей прекрасной
душа — смешно сказать — в ладу.
И правда, что нам в нем — в романсе!
Но он — знакомой силы знак.
Что в нас-то, если взять нас в массу,
ослабла ревность! Как не так.
А посмотреть с другого боку,
кто и зачухнет — не беда:
проявим дружбу — слава богу,
цветы в продаже есть всегда...
Но в зале — светопредставленье!
И только в том его исток,
что здесь любовь (не проявленье!]
вопит, забыв про стиль и слог.
И молвить слово и молчать я
страшусь в пути на Разгуляй.
Не проявляй ко мне участия.
Не проявляй. Не проявляй.

Кропоткинская

Хотя нам слов не занимать
ни с горя, ни с корысти,
Кропоткинской сухую масть
не выразить без кисти.

А кисть — чужое ремесло.
Уж если слово голо,
да не употреблю во зло
российского глагола.

Но и молчание — не мед,
когда ни дел, ни денег,
а там когда еще придет
на землю понедельник.

Тоскую в праздничные дни,
не то б забрался, что ли,
в Зачатьевский — там у родни
воскресное застолье.

Я положительно здоров
и на пиру не дрогну,
а вот ведь посреди пиров
потянет вдруг на стогну,

иль как бишь там она звалась,
прабабка улиц наших,
когда между домов вилась,
о нас и знать не знавших.

Хожу. Стою. Не то вообще
под окнами квартиры,
как граф — без шпаги, но в плаще, —
являю тип задиры.

Спускаюсь вниз — там пар и стон,
не знаю до сего дня,
какой там оффис учрежден:
бассейн иль преисподня.

Когда, куда ни кинешь взор,
былое смотрит славно,
что все преданья — явный вздор,
не так-то уж и явно...

Пойду. Кропоткинской стена
вильнула и осталась
во днях минувших, где она
Пречистенкой считалась.

Речь

Речь-реченька и речь-река —
все в равной мере плоско, плохо,
так, вздохи, не нырнул пока.
Нырнешь — до дна не хватит вдоха.
Забудешь и сравнения печь
и воздвигать определенья,
когда тебе сама-то речь
российская — как утоленье.
Легко испить протяжный слог,
в котором гласная прольется;
легко сказать: «Ну как глоток
из потаенного колодца!»
Но это что! А вот когда
ты у нее пойдешь по струнке,
когда она — лиха беда! —
заставит совершать поступки,
испортит жест, толкнет на шаг —
вот тут и явится мыслишка,
что, может, все же есть душа,
что без нее и нам бы крышка.
Так что ж, ликуй в морозный хруст,
когда, то свята, то греховна,
душа клубится возле уст —
и материальна и духовна.

ПРОЗА

ПОВЕСТЬ

Ф. Наседкин

ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ

Окончание. Начало см. в №№ 6 и 7 за 1967 год.

46

Беднота не давала покоя. Каждый день в сель-крестком набивалось множество посетителей.

Вдовы часто прихватывали с собой голопузых малышей. Да и сами выражались в последнее тряпье, чтобы разжалобить начальство. И на все лады требовали подмогу. Однако перепадали и другие встречи. То кто-то из бедняков заявлялся не с просьбой, а с дельным советом. То какая-либо солдатка признавалась, что просила меньше, чем дали. И тогда досада сменялась радостью. Нет, не все, как видно, в нужде теряют достоинство. А у иных невзгоды и лишения даже пробуждают гордость.

И этот день ничем не отличался от других. С утра явилось несколько женщин. Пошумели, поскандалили и уселись рядом на скамью. И завели разговор о жизни, какая была не лучше мачехи. Но я не прислушивался к их жалобам. Занятый бумагами, я ни на что не обращал внимания. Внезапно кто-то тронул меня за плечо. Это была средних лет женщина с изможденным лицом. Худые плечи покрывала старая, латка на латке, мужская поддевка. Из-под ветхого шерстяного платка выбивались жиденькие пряди седых волос.

— К тебе, товарищ! — скорее простонала, чем проговорила женщина. — Помоги ради Христа. Сынишка заболел. Докторша в город приказала доставить. А на чем? Бедные мы, ни кола, ни двора. Вот и пришла за милостью. Назначь какую подводку аль дай денег нанять. Не то помрет сын-то...

Женщина жила на Зареченке. Звали Устиньей Карловной. Мужа похоронила в голодный год. Сирот — целая куча. И вот старший, на кого все надежды, слег. Да так, что в нашей больнице отказались вызволить. И предложили срочно отправить в город. К хирургам на операцию. Явилась она за помощью. А раньше никогда не показывалась. И не потому, что не нуждалась, а потому, что робела и стеснялась.

— Сколько нас, бездельных-то? — оправдывалась Устинья. — Вот и думала: может, кому труднейше, чем мне? Перехвачу кусок хлеба и оставлю беднягу голодным. А нынче никак уж не обойтись. Помрет Ванюшка без помочи...

Я написал от ее имени заявление, дал расписаться. Кое-как она вывела свою фамилию. Потом нарисовала ее на расходном ордере. Засунув деньги за пазуху, она неловко обняла меня, поцеловала в щеку.

— Спасибо, родной! Бога молить буду, чтобы здоровьем не обделил.

— А ты будь посмелей, тетка, — посоветовал я, растроганный ее чувствами. — Посмелей и понастойчивей. И требуй своего, добивайся. Ты же не просто какая-нибудь баба, а народ. Народ, понимаешь?

Устинья поморгала красными, вспухшими веками и нараспев сказала:

— И-и-и, какой я народ? Так, может, народинка какая. Только и всего.

— Вот, вот, народинка! — обрадовался я. — Ты народинка. Вот она народинка... — Я показал на вдову, стоящую у окна. — Вот она народинка. Она... Она... Она... — Я показывал на женщин, сидевших на скамье. — А все вместе мы народ. Сила!..

Лицо Устиньи просветлело, морщинки на нем разгладились. Она поклонилась мне и с чувством повторила:

— Спасибо, родной! Уж так выручил. Сама буду помнить. И детям закажу...

Неслышно ступая стоптанными валенками, она вышла. За ней, будто чем-то пристыженные, двинулись к выходу другие бабы. Оставшись один, я принялся ходить из угла в угол. Народинка! Как хорошо сказано!. И как верно! Но почему же она робела и стеснялась? Ведь селькрестком создан для бедных. Или он для ловкачей, умеющих взять за горло? Недаром же говорят: кто смел — два съел, а кто робок — ложись в коробок.

Мысли прервал скрип двери. На пороге стояла Маша. Она смотрела на меня округлившимися глазами. И будто не решалась войти. Я поспешил к ней, взял за руки и сказал:

— Ну, здравствуй! А я так ждал. Почему задерживалась?

Маша вошла, привычно расстегнула полы теплой кофты, сбросила на плечи пуховый платок. Я выглянул в коридор — не подслушивает ли кто? — и на крючок закрыл дверь.

— Ну, рассказывай. Узнала что-либо?..

Маша прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Потом открыла их, снова глянула на меня и глухо сказала:

— Да, узнала.

— Где стряпают? Где и в какое время?

— Курня, в заднем сарае. С правой стороны. А в курне — плита, котел и аппарат. Гонят по субботам. В полночь или на рассвете...

Я заглянул в ее осунувшееся лицо.

— Это точно?

— Можешь не сомневаться.

— Та-ак... — протянул я, потирая руками. — По субботам. В полночь или на рассвете... Так... Теперь мы вас накроем, подлые винокуры...

Я снова возбужденно зашагал по комнате. Да, уже не за горами время, когда рухнет кулацкая крепость. Сначала одна, потом другие. Все падут под нашими ударами. И ничто не спасет эксплуататоров от народного возмездия.

— А что ж не спросишь, как я добилась этого?.. —

Голос Маши показался странным, даже язвительным. — И чего это мне стоило?..

Я остановился перед ней, глупо переминался с ноги на ногу.

— Прости, Маша... Забылся... От радости... Надеюсь, ничего особенного?

— Ничего особенного?.. — Она снова закрыла глаза, постояла так с минуту и опять ударила меня жестким взглядом. — Ну, так слушай... Он завел меня в курню и закрыл дверь на ключ. Все рассказал и показал. А потом... — И вся содрогнулась, как от боли. — Всю ночь это продолжалось... До самого утра... Отбивалась изо всех сил... Вся измучилась... Но не поддалась... — И глубоко вздохнула. — А он... гнусная тварь... что только со мной не делал!.. Вот посмотри...

Дрожащими руками она расстегнула кофточку. Я невольно шагнул к ней. Грудь ее сплошь была покрыта кровоподтеками.

— Видишь?.. — И торопливо застегнулась, словно устыдившись. — А ты даже не спросил... — Губы ее скривились, в глазах блеснули слезы. — Да, я ус стояла... Но могло случиться... И тогда я не пережила бы...

— Маша! — сказал я, дрожа, как в лихорадке. — Я же предупреждал. Помнишь?

Она снова скривилась в болезненной усмешке.

— Как же, помню. Ты предупреждал. Но думал не обо мне, а о них. Они тогда занимали тебя больше всего.

— Хорошо, — согласился я, чтобы успокоить ее. — Пусть так. Но ведь все же это...

— Ради революции? — перебила она. — Так? А не ошибаешься? По-моему, революции не нужны такие жертвы.

— Прости, Маша, — сказал я, покорно стоя перед ней. — И поверь... Если бы я только знал... Ты же победила... А что до этого гада... Идем к доктору. Сейчас же идем. Возьмем свидетельство и посадим его в тюрьму...

По губам Маши снова скользнула горькая усмешка.

— А как я докажу, что это он? Да и на что мне такая слава? Хватит того, что было. И я прошу... никому ни слова об этом. И буду рада, если и он не натреплется...

Отбросив крючок на притолоке, она вышла. Хлопнула входная дверь. Стук вывел меня из оцепенения. Я бросился в коридор. Но у входа остановился. Что скажу? Чем успокою?

Вернувшись в комнату, я припал к проталине в морозном окне. И через минуту увидел Машу. Забыв набросить платок, она устало шла по улице. Мелкий снежок покрывал ее длинные волосы. А мне казалось: это трудная ночь состарила ее, посеребрила голову.

47

Максим в полной форме лежал на кровати. Закинув начищенный сапог на сапог, он кольцами выпускал дым изо рта. Рядом на постели покоилась сталью сверкавшая шашка. А по другую сторону с кровати свисал в кожаной кобуре наган. Я приблизился и на всякий случай покашлял.

— Здорово, Максим! Он нехотя обернулся.

— Здорово, если не шутишь!

— Что подельываешь?

— А ты что, не видишь?.. — Послунявив окурок, он ловким щелчком прилепил его к потолку. — Скучаю.

Я неуместно рассмеялся.

— Это отчего же?

— Оттого, что скучно... — Сбросив ноги на пол, он встал, расправил гимнастерку под поясом и прошелся по хате. — Надоело... Одно и то же... Воришки, жулики, драчуны... И ни одного приличного дела... — Он щелкнул пальцами в воздухе. — Шаечку бандитов бы... Налет, выстрелы, грабеж... Мечта... — Он глубоко вздохнул. — Ну пусть не шайка. Где ее возьмешь, шайку? Пусть один бандюга. Хотя бы самый захудалый. И то можно было бы развернуться... — Неожиданно он остановился, пристально глянул мне в глаза. — А ты зачем явился? С какой такой новостью? .

— Самогонщиков обнаружили, — сказал я. — Надо накрыть...

Максим потянулся, звучно зевнул.

— Винокуры, — процедил он. — На них ничего не заработаешь. Да и не хочу со своими скандалить..

И присел на кровать, намереваясь снова улечься. Надо было стряхнуть с него безразличие. И я спросил:

— Скажи, Максим, ты пил лапонинский самогон?

— Откуда я знаю, чей он! — огрызнулся Музю лев. — Монополки не докладывают, где берут.

— А ты пил у Домки Земляковой?

— Ну пил. И что из того?

— А то, что это и есть лапонинский.

— Ну и черт с ним! — рассердился Максим. — Мне наплевать. И убирайся...

Но я не двинулся с места.

— А ты знаешь, что этот самогон из табака?

Я рассказал все, что знал о табачном самогоне. Максим встал и снова прошелся по земляному полу.

— Не брешь?

— Честное комсомольское!

Максим застегнул ворот гимнастерки, снял с гвоздя шинель.

— Пошли...

Пришлось удержать его. Надо было застать их на месте преступления. А для этого еще было слишком рано. Максим опустил на лавку у стола, покрутил головой, точно разгоняя дурман.

— А я-то, бывало, думаю: что за дьявол? Выпьешь какой-нибудь стакан — и места не находишь. А оно вон что! Табак. Ну и сволочь это кулачье! Из-за денег людей травят. Погодите же! Теперь-то я доберусь до вас...

Я пообещал зайти в полночь и вышел. Теперь он сам будет подогревать себя. И к полуночи так распалится, что ничем его уж не затушишь.

48

Погода стояла мягкая, безветренная. Почти каждый день сыпал снег. Часто из-за бурых туч выглядывало солнце. А по ночам высокое небо сияло звездами.

Но в эту ночь, как нарочно, подул ветер, завьюжил неслежалые сугробы. И поднялся невообразимый шум, будто небо разом выпустило на землю всех злых духов.

Накануне Илюшка Цыганков разведал обстановку и теперь безошибочно подвел нас к курне.

— Тут...

Максим снял шапку и приложил ухо к двери. Так стоял долго, прислушиваясь. Потом притянул меня. Я тоже приложился к холодным доскам и ничего не услышал. Может, там никого не было? Или мешал шум бури?

Коротко посоветовавшись, мы решили действовать. И все вместе навалились на дверь. Не выдержав напора, она сорвалась и с грохотом распахнулась. Мы переступили порог и очутились в какой-то темной камерке.

Я протянул руки, чтобы ощупать стены, но в ту же минуту перед нами открылась другая дверь, и в неярком свете встал Лапонин.

— Кто?..

Максим приставил к его груди наган и сказал:

— Именем Советской власти!..

Лапонин испуганно отступил, и мы вошли в курню. Керосиновая лампа слабо освещала обмазанные глиной стены. В углу стояла закопченная плита с котлом. Рядом — аппарат со змеевиком. Из гнутой трубки в стеклянную банку выплескивалась мутная жидкость.

Я подошел к котлу, снял с него крышку. В нос ударил резкий запах табака, перемешанный с хмелем.

— Табачный!

— Гррражданин Лапонин! — торжественно произнес Максим. — Вы аррррестованы!

— За что? — нахмурил тот бесцветные брови. — За какую провинность?

— А вот за эту самую, — сказал Максим. — За са могонокурррение...

Лапонин ощерил гнилые зубы, точно собирался укусить милиционера.

— Не имеете права. Это — мое добро. И я хозяин. Что хочу, то и делаю.

— Добрро нарродное, — перебил его Максим. — Вами нагррабленное. Но об этом потом. А сейчас запротоколим. Вы не прррросто гнали самогон, а и занимались вредительством... — И приказал: — Оде вайсь! Живо!..

Лапонин надел полушубок, на голову натянул треух, достал из кармана рукавицы. Я заглянул ему в запалые глаза.

— Где Дема и Миня?

Лапонин вздрогнул, весь напрягся, будто собираясь кинуться в драку.

— Их не тронь! — крикнул он. — Они ни при чем. Один я. Меня и берите. А их не тронь!

— Ладно, — согласился Музюлев. — Пока возьмем одного. Уважим. А до них потом. Не уйдут... — И, ткнув наганом в сторону котла, приказал мне: — Набрать месива. Для вещественного доказательства...

Придержав дыхание, я наложил опары в кружку, которую взял с полки, и тряпкой, валявшейся там же, обвязал ее. Максим показал Лапонину на дверь.

— Пошли...

Мы с Илюшкой последовали за ними. Буран не утихал. Даже в замкнутом дворе бесновался, как сумасшедший. А на улице с силой швырял в лицо колючим снегом. И чуть ли не валил с ног.

Мы двигались гуськом, прижимаясь друг к другу. Я думал о Маше. Теперь ей будет легче. Враг разоблачен и схвачен. Пресечена и обезврежена подлость. Но самого это не успокаивало. Неужели Миня так-таки и ускользнет?

Из темноты выплыло бесформенное здание сельсовета. Своим ключом я открыл дверь, зажег лампу. Максим втолкнул Лапонию в «холодную». Так называлась комната для арестантов. Но она уже давно пустовала. И замок от нее куда-то исчез. Илюшка набросил скобу на петлю и заткнул выломанными из веника прутьями.

Составив протокол, Максим дал нам как понятым расписаться.

— Теперь вот что, друзья, — сказал он, пряча бумагу в нагрудный карман гимнастерки. — Придется караулить арестованного. А утром я заберу его и препровожу в район...

Мы оба вызвались дежурить по очереди. Максим отстегнул кобуру с наганом.

— Возьмите. А то вдруг сыновья нагрянут. А их голыми руками не одолеть. Да осторожней, — предупредил он, наблюдая, как Илюшка целится в рыжее пятно на стене. — Самовзвод...

Проводив Музюлева, я закрыл входную дверь на замок и присел на табурет у двери в «холодную». А Илюшка, уложив голову на руки, скрещенные на столе, уже посвистывал носом.

49

Вслед за Максимом и арестованным Лобачев и яд Афанасьев тоже отправились в район по какому-то делу. В сельсовете остался один я. Да в передней на табуретке тянул козью ножку сельисполнитель.

Тяжелые мысли продолжали мучить меня. А может, Прыщ не случайно избежал участи отца? Рассказав Маше правду, он, конечно, ждал налета. И держался подальше от курни. Но почему же он все-таки сказал правду? Ведь ему ничего не стоило наврать с три короба. И почему не предупредил отца об опасности?

А перед глазами стояла Маша. Бледное, осунувшееся лицо... Кроваподтеки на теле... Гневный, негодующий голос... До чего же мерзостный этот Миня! И неужели ж издевательство должно сойти ему с рук? А может, он все же верил Маше и не подозревал? И теперь нелегко снесет новость об аресте отца? Вот сейчас вызвать и сказать обо всем. Нанести неожиданный удар. И хоть так отплатить за гнусность.

Не раздумывая больше, я предложил сельисполнителю привести Миню в сельсовет. И принялся готовиться к встрече. Сразу же, как войдет, бросить новость в лицо. Отец арестован... Схвачен на месте преступления... Или лучше начать с самого. Где был ночью?.. Почему не помогал отцу на курне?.. А потом взять на пушку — и ему не уйти от кары. Вслед за отцом засадим в каталажку.

Миня вошел пугливо, как нашкодивший пес. Но, увидев, что я один, выпрямился и растянул толстые губы.

— Ты, что ли, потревожил? В чем дело, выкладывай! А то некогда рассусоливать...

В дубленом полушубке, черных валенках, барашковой шапке, он стоял передо мной и нагло гримасничал. И Мне стоило больших трудов сохранять спокойный вид. Ярость закипала в душе, сильнее огня жгла сердце. С каким наслаждением я уничтожил бы этого человека, если его можно считать человеком!

— Да, это я потревожил тебя. А потревожил затем, чтобы сообщить новость. Нынче ночью мы взяли твоего отца в курне. Взяли в тот момент, когда он стряпал табачный...

Миня выпучил слюдяные глаза.

— Так это ты?.. — И снова противно растянул губы. — Ну, что ж. Коль так, то спасибо...

Я не ожидал благодарности и даже несколько растерялся.

— За что же спасибо?

— Ну как же! Отца помог пристроить. Такое дело... — И притворно захихикал. — А я-то думал... Моська Музюля удочку закинул. А на крючок Машку нанизал. А это ты. Не комса, а чудеса. — И опять забулькал поганым смешком. — Ну что ж. Хожу в открытую. И раскрываю козыри. До печенок затиранил родитель. Такой стал жлоб. То не так, это не этак. И все норовит в зубы. Просто беда. Не знали, как унять. Я уж хотел донос учинить. Письмо без подписи прокурору. Так и так... Да не успел. Машка опередила. Незвано на помощь пожаловала. Расскажи, сами желаем подзаработать. Вот, думаю, Моська, какой кралей пошел! Ну, ну! Давай, давай! Может, и кралю тузом побью и батьку со двора сплавлю. А это, выходит, не Моська, а Хвиляка... — И весело, будто приятелю, подмигнул: — Теперь все понятно. Подсуну, мол, Мишке Машку. Растает и разболтает. За дурака посчитал, а в дураках-то сам остался. И вышло дышло. Так-то... А что до Машки... Я хоть и не добился, чего хотел, а все же помучил ее. Так помучил, что надолго запомнит. Всю по косточкам руками перебрал...

На что же он рассчитывал, подлец, подливая масла в огонь? Надеялся, что все сойдет безнаказанно? И что в сельсовете не посмеют тронуть? Но в эту минуту я не помнил, где я и

кто я. Собрав всю силу в кулак, я ударил его в лицо. Он шарахнулся назад и, наткнувшись на табурет, грохнулся на пол. Я бросился к нему, готовый топтать его ногами, но в дверях показался сельисполнитель.

— Что за шум?

— Споткнулся о табуретку, — сказал я, нехотя возвращаясь на свое место. — Помоги, что ли...

Сельисполнитель поднял Миню, посадил на табурет.

— Полегче надоть, — многозначительно посоветовал он, выходя в коридор. — А то не поднимать, а выносить придется....

А Миня мычал что-то нечленораздельное и вертел головой. Похоже, удачно приложился затылком к полу. Но все же он пришел в себя и встал.

— Ладно, Хвиляка, — прошипел он, трогая вздувшиеся губы. — Дождешься и ты. Придет и твой черед.

— Ладно, — в тон ему ответил я. — Поживем, увидим. А пока вот что. Насчет Маши запри хайло на замок. И не вздумай бахвалиться тем, чего не было. Иначе башка оторвется.

Миня презрительно хмыкнул.

— А башку оторвешь ты?

— Нет. Я не стану поганить о тебя руки. Это сделает твой брат Дема. Набрешешь на Машу — раскроем ему глаза. И он узнает, кто загнал отца...

Угрюмоо лицо Мини побледнело.

— Так он и поверил вам!

— Поверит. Можешь не сомневаться. Вот так. А теперь убирайся...

Но Миня не двинулся с места. Он лишь переступил с ноги на ногу. Распухшие губы передернулись. Изо всех сил Прыщ старался казаться спокойным, хотя готов был расхныкаться.

— Ладно. Замкнусь. А только и ты помни. Демка оторвет не одному мне башку. Он и твою не пожалеет. Отец сел в тюрьму и по твоей вине.

— На том и поладили, — заключил я. — А теперь вон отсюда! Да скажи спасибо, что дешево отделался...

Когда за Миней закрылась дверь, я беспомощно опустился на стул. И так, не мы, а он, паршивый Прыщ, обвел нас. Над Машей произдевался, отца сбагрил и сам сухим из воды вышел. И во всем этом виноват я. Только я, и никто другой. А виноват потому, что слишком понадеялся на себя и недооценил врага.

Враг же оказался куда хитрее и коварнее, чем представлялось нам.

50

Захотелось повидать Машу и рассказать о событиях. Лапонин арестован. Махинация разоблачена. Может, от этого ей, Маше, станет легче? И боль от перенесенных страданий притупится? Ведь страдания оказались не напрасными.

Бури, как и не бывало. В морозном воздухе кружились снежинки. Занесенные сугробами белые хаты поблескивали оконцами. Впрочем, не все хаты белые. Некоторые из них для тепла обложены кугой. И не все оконца поблескивают стеклами. Многие шибки заделаны тряпками либо забиты дощечками. Не за что да и негде бедноте купить стекло. Может, не только о хлебе, а и о быте следует крест кому позаботиться?

На улице оживленно и весело. Шумно гоняют на санках с горок ребятишки. У обледенелых колодцев заливаются смехом молодки. Кому на этот раз промывают косточки сплетницы? Звонко повизгивают полозья розвальней. Ворона от инея кажется покрытой серебристой шалью.

Но взгляд мой по всему скользил без задержки. А ноги торопились, как на праздник. Скорей повидаться с Машей. Обрадовать и успокоить ее. Ведь это благодаря ей удалось обезвредить кулацкую гидру.

Дома у Чумаковых был один только дед. Подслеповато щурясь, он перед окном дратвой подшивал валенок. Незваного гостя встретил настороженно. Видно, принял за налогового агента. Но сразу подобрел, узнав, кто я и зачем пожаловал.

— Так ты про Машутку? Нетути. Намедни уехала. Куда уехала-то? Да в город подалась. Родственница у нас там. Вот Машутка-то к ней и укатила. Когда повернется? А кто же ее знает. Может, скоро, а может, и нет...

Назад я плелся медленно и устало. Давала себя знать бессонная ночь. До утра я не сомкнул глаз. Не хотелось будить Илюшку. Уж больно сладко спал парень. Да и побаивался братьев Лапониных. Вдруг нагрянут. Тогда наган должен быть в моих руках. И я сидел в передней перед дверью «холодной», время от времени поворачивая барабан с патронами. Но братья Лапонины так и не нагрянули. Либо крепко спали, либо сами трусились. И ночь прошла спокойно. Даже сам старый винокур ни разу не дал о себе знать, будто тоже мертвецки спал.

51

На одном из партийных собраний, когда повестка дня была исчерпана, Лобачев неожиданно сказал:

— Еще вопрос. Внеочередной. Предлагаю принять в партию Хвилю. Правда, он не подавал заявления. И поручителей пока что нет. Но все это можно оформить сейчас...

И принялся расхваливать меня. Школу под клуб отвоевал. Гужналог с богачей придумал. Недоимку в селькредком собрал. Хлеб для бедноты заготовил. Лапонина разоблачил. Ликбез организовал. Сам на рабфак поступил...

По мере того, как перечислял он мои «заслуги», голова моя опускалась ниже и ниже. Хотелось спрятать стыд, который жег щеки. Школу отвоевали ячейкой. Недоимку собирали комсомольцы. Все вместе организовывали ликбез. А Лапонина разоблачила Маша. Так за что же хвалить меня?

Но я слушал и молчал. К стыду примешивался страх. Вдруг обнаружат, что мне нет восемнадцати? Что тогда? Посрамят и откажут. А мне так хотелось в партию. Это было мечтой, в которой я даже себе не признавался.

Но коммунисты ничего не обнаружили. По очереди они — а их было четверо — хвалили меня. Оказывается, я и трудолюбивый, и скромный, и вежливый, и даже способный. И каждый под конец заявлял, что поручится за меня с радостью. Да, да! Не как-нибудь, а с радостью.

А я слушал и молчал. И не смел поднять глаз. Но поднять глаза все же пришлось. Лобачев спросил, как я сам отношусь к этому. И мне ничего не оставалось, как глянуть им в лицо. Все обошлось просто, как будто так и надо. Откашлявшись, я сказал:

— Считаю для себя большой честью быть в партии. И обещаю всего себя отдать народу.

Коммунисты дружно закивали. Чем-то покорили мои слова. Конечно, они были сказаны от всего сердца. Но я должен был сказать и другое. Я не заслуживал похвалы. И мне не было восемнадцати. А несовершеннолетних в партию не принимают. Но я противно смолчал. И дрожащей рукой написал заявление.

Когда коммунисты проголосовали, Лобачев крепко пожал мне руку и растроганно сказал:

— Поздравляю. Отныне у тебя начинается новая жизнь. Так будь же всегда и во всем правдивым и честным!..

В эту ночь я долго не мог уснуть. Сам того не замечая, беспрестанно вздыхал и охал. Слова Лобачева не давали покоя. Быть правдивым и честным. А я сразу же покривил душой. Не остановил их перед ошибкой. Почему же смалодушничал?

В полночь мать тронула меня за плечо и прошептала:

— Слышь, сынок, выпей водички. И перестанешь маяться...

Я жадно выпил полкружки. Вода оказалась густой и какой-то вошеной. Но я ни о чем не спросил и уткнулся в подушку. И в самом деле скоро забылся.

А утром, вспомнив об этом, поинтересовался, какую воду мать давала мне.

— Наговорную, — призналась та. — Уже давно лечу тебя ею. С той поры, как комаровский кобель испугал. Бабка Гуляниха наговорила. Вот и вызволяю. То в борщ налью, то в молоко подбавлю. И ты вон как поправился. Уже не стонешь по ночам. Только вчера опять что-то приключилось. Вот я и попотчевала тебя. И ты сразу забылся.

Это не было моей виной. И все же пятнало совесть. Партиец — и лечится у знахарки. Нет, рано еще в партию. Не достоин пока звания коммуниста.

«Отложить прием, — думал я, торопясь в сельсовет. — Пока не выйдет возраст. И пока не очистится совесть...»

Но решимость покинула меня, как только я увидел Лобачева. Тот выглядел туча тучей. Густые брови чуть ли не закрывали глаза. На скулах двигались желваки. Что-тостряслось, и партячейка сама отвергает меня. А я-то собирался каяться и признаваться.

— Слушай, — сказал Лобачев, сопя, как растревоженный хор. — Что ж это получается? Тебе же только семнадцать. Три месяца каких-то на восемнадцатый. А?

Я удрученно молчал. Все-таки разобрались и уличили. И уж не пощадят теперь. Нет!

— Устав партии читал? — продолжал Лобачев.

— Читал, — понуро отвечал я.

— Знаешь, с каких лет принимают?

— Знаю.

— Помнил, что тебе не хватает?

— Помнил.

— Так чего ж молчал?

Я набрал полную грудь воздуха.

— Боялся, что откажете.

— Сейчас отказали бы, через год приняли.

— А мне хочется сейчас. Очень хочется!.. Лобачев озадаченно почесал за ухом.

— А я думал: ты с девятого. А ты, оказывается, с десятого. Гм... Непредвиденный спотыкач. А почему я так думал? Пстой... Пстой... Та-ак... — Он несколько раз протянул это слово, напряженно хмурясь. — Ну да, ошибка, — вдруг просветлел он. — Вместо девятого записали десятый. Церковники напутали. Ну да! Ты родился не в десятом, а в девятом. Это я хорошо помню. Почему? Сам был в этом году крестным. Племяка носил в церковь. Через месяц после твоего рождения. Вы ж с племяком моим одногодки. А он не с десятого, а с девятого.

Так что все точно. Тысяча девятьсот девятый, С чем тебя и поздравляю!..

Крупными цифрами он вывел на бумаге мой новый год рождения. А я следил за ним и чувствовал, как сердце убыстряет удары. Было радостно и стыдно. Но почему же стыдно? Может, так оно и есть? И никакой подделки?

— А как же с другими документами? — дрожа, спросил я.

— И другие уточним, — сказал Лобачев, как о чем-то обычном. — Все оформим законным образом. Акт составим, свидетели подпишутся. Все будет в полном порядке... — И снова поднял на меня потеплевшие глаза. — Мы советовались... С Симоновым и Дымовым. И у всех одно мнение. Надо тебе в партию. Она поможет закалиться. Прямо с юности...

И вот я, не чувствуя себя, стою перед Дымовым, секретарем райкома партии. А он, добродушный, немного громоздкий, сидит за столом и смотрит на меня голубыми, по-детски чистыми глазами.

— Очень рад! — говорит мягким, почти женским голосом. — Поздравляю! Решением бюро принят в кандидаты... Да ты садись. Чего стоишь?

И вручает мне кандидатскую карточку. А потом долго расспрашивает обо всем. Я отвечаю и чувствую себя, как на горящих углях. Вот сейчас он сменит улыбку на гримасу и скажет:

«Как же тебе не стыдно? Ты ж несовершеннолетний. Дак почему ж скрываешь? Почему не скажешь, как сделали тебя на год старше?..»

Но он не сгоняет улыбку. А закончив расспросы, кивает на прощание. И все же так добродушно произносит:

— Еще раз — от души... Всего хорошего...

На улице холод остужает лицо. Я напяливаю треух на голову и шагаю не зная куда. Я иду спокойно, но это дается с трудом. Хочется бежать. Даже лететь, будто за плечами у меня выросли крылья.

Окраина райцентра. Что-то кажется знакомым. Я останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам. Березовая рощица, вся занесенная снегом. Кристально чистый, он гроздьями свисает с веток и ярко искрится в лучах зимнего солнца. Здесь прошлым летом мы сидели с Машей. Где она теперь, Маша? И что сказала бы, когда б узнала, что я принят в партию?

Я достаю кандидатскую карточку, вслух читаю все, что в ней написано, и торжественно произношу:

— Прости меня, партия! Ничего не мог поделать с собой. Очень хотелось быть коммунистом. Но клянусь сердцем! Впредь буду всегда и во всем правдивым и честным!..

52

Клуб пришлось закрыть. Печи оказались непригодными. Они почти не давали тепла. И так дымили, что можно было задохнуться. А клал печи наш сосед Иван Иванович. Он слыл лучшим мастером, и мы надеялись на него, как на самих себя. И вот надежды рухнули, как картонный домик. А ячейка на всю зиму осталась без пристанища.

Узнав о нашем горе, отчим учинил деду Редьке допрос. И тот признался, что напортил с умыслом.

— Каюсь, Данилыч, за глушил тягу. Чтобы тепла не было. И чтобы дым кому выкурил. А тока сделал так не по своей воле. Батюшка на исповеди приказал. Навреди, говорит, безбожникам. Чтобы не богохульствовали перед храмом...

Выслушав отчима, я ринулся к соседям. Авось, возьмется печник и хоть малость поправит. В крайнем случае можно припугнуть старика. Дескать, вредительство карается и прочее.

Но, переступив порог сумрачной хаты, я почувствовал бесплодность затеи. Иван Иванович лежал на кровати и громко стонал. На животе у него возвышался горшок.

— Хворь напала, едят ё мухи, — пожаловался он. — Вот бабка и водрузила макитру. А сама ку дысь запропастилась. Должно, у какой подружки закалякалась, шалава. А тут все пузо втянуло. И мочи никакой нетути...

Дед Редька провалялся долго. А раньше, чем он встал, ударили морозы, посыпал снег. Вот и пришлось повесить на двери клуба замок. И снова переключиться в тесный сельсовет.

— Какой промах дали! — возмущались ребята. — Сами культпоходу ножку подставили...

Это было ранним утром. Мы с Сережкой увлеченно рассматривали новые книги: рассказы Горького и Чехова, стихи Лермонтова и Демьяна Бедного, наставления по кооперации и сельхозналогу. Где уж там было оглядываться и прислушиваться!

А Симонов стоял за порогом и укоризненно качал головой.

— Так-то вы привечаете друзей?..

Я бросился к нему, протянул руку. Смущаясь, поздоровался и Сережка.

— Рукопожатие — предрассудок, — поучительно заметил Симонов. — С ним надо бороться. И все же мне приятно пожать руку друзьям... — Он подал нам сверток и предложил развязать его. — Отгадаете, что это, получите насовсем...

Небольшой деревянный ящик. Сверху на крышке — стеклянная трубка. В трубке — стальная иголка, нацеленная на какой-то шероховатый комочек. Рядом с трубкой — две пары дырок. И больше ничего.

Мы осматривали ящик и молчали. А Симонов, наблюдая за нами, довольно ухмылялся.

— Вот так и я в обкоме, когда получал эти штуки, лупастился и молчал... — Он достал из портфеля два металлических кружочка, соединенные дужкой, размотал витой шнур, воткнул вилку в дырки на ящике. — А теперь что это?

Я подумал и сказал:

— Телефон.

Симонов отрицательно покачал головой.

— Не телефон, а радио. Детектор. А точнее, детекторный приемник. Пять штук выклянчил на район. И вот вам привез...

Я снова повертел в руках ящик. Но теперь уже с опаской, как бомбу. Потом надел наушники и затаился.

— Ни слуху ни духу...

Симонов передал нам моток проволоки.

— Антенна. Повесить на улице. Чем длиннее, тем слышнее... — Он показал, как следует иглой щупать кристалл в трубке. — Вот и вся премудрость.

— И будет говорить? — недоверчиво спросил Сережка.

— Как живой...

Неожиданно он достал из портфеля кулек, развернул его. В кульке оказались пряники — белые и розовые. Мы с Сережкой разом проглотили слюнки. Симонов заметил это, улыбнулся и предложил:

— Угощайтесь. Вкусные до ужаса... — И сунул целый себе в рот. — Смерть люблю... Вчера зарплата была... Вот и блаженствую...

Мы с Сережкой взяли по прянику. Они и впрямь были вкусными и прямо таяли во рту. Даже страшно целиком запихивать в рот, как делал Симонов.

Сережка, смущаясь, сказал:

— А мне почему-то больше нравятся конфеты.

— А ты часто их ешь, конфеты? — спросил Симонов.

— Нет, не часто, — признался Сережка. — Один раз пробовал.

Мы рассмеялись. Симонов серьезно сказал:

— Конфеты не то. Ни пожевать, ни проглотить. А пряники...

И предложил нам еще. Но мы отказались. Только что завтракали. И вообще... Не охочи до лакомств. Симонов недоуменно пожал плечами.

— Не понимаю, как можно отказываться от пряников. Это ж не еда, а наслаждение. Того и гляди, язык проглотишь... — Внезапно он встрепенулся, вынул из нагрудного карманчика часы и встал. — Засиделся я у вас, а мне еще в Верхнюю Потудань. А оттуда — в Роговатое. Им тоже детекторы везу...

Простились у райисполкомовских санок. И лошаденка, заиндеветшая, а потому казавшаяся седой, резко затрусила по улице.

53

Мы решили сразу же заняться детектором. Кстати, подошел и Володька Бардин. Он также долго вертел в руках загадочный ящик. А под конец все же сказал, что будет участвовать в опробовании, хотя поручиться за успех не может.

— В Москве или поблизости эта штука, может, и бормочет. А у нас, за тыщу верст... Сказка!

Главное было установить антенну. Лучше всего протянуть ее от здания сельсовета до селькrestкомов ского амбара. На сельсоветской крыше провод легко завязать вокруг печной трубы. А вот как прикрепить его к крыше амбара?

Но Володька довольно легко решил задачу. Обойдя вокруг амбара, он сказал:

— Есть длинная слега. Пристроим на распорках, и будет мачта...

Вдвоем с Сережкой они сбегали к Бардиным и приволокли слегу. Она оказалась даже выше сельсоветской трубы. Мы привязали к ее макушке провод и установили рядом с амбаром. В нескольких местах рейками пришили к углу сруба. Слега стала прочно, готовая выдержать любую бурю.

Потом мы посадили Сережку на крышу сельсовета и подали ему другой конец антенны. Осторожно переставляя руки и ноги, он на четвереньках дополз до конька, натянул провод и замотал его вокруг трубы. После этого мы с Володькой проделали отвод антенны в форточку окна и, вернувшись в комнату, воткнули вилку на конце его в отверстие на крышке детектора.

Когда все было готово, мы уселись за стол и почувствовали, что находимся в преддверии невероятного. Неподвижно и загадочно стоял перед нами деревянный, выкрашенный в черный цвет ящик со стеклянной трубкой, блестящей иглой и наушниками. Мы молча и пристально смотрели на него. Неужели ж он и вправду заговорит человеческим голосом? Неужели ж свершится чудо, и мы услышим Москву?

Володька решительно махнул рукой и с отчаянием сказал:

— Пробуй!

Я надел наушники и с опаской взялся за иглу. В ушах что-то зашуршало. Потом послышался треск и писк. Я смелей стал тыкаться в кристалл. Тыкался усердно и долго, чувствуя, как мокнет лоб. Но, кроме треска, писка и шума, похожего на ветер, ничего не слышал. И уже готов был снять наушники, чтобы передать ребятам, не спускавшим с меня глаз, как различил чей-то голос. Далекий, неясный, но все же человеческий голос. Я затаил дыхание. Напряглись и ребята. Это видно было по их багровым лицам. Но голос исчез, словно тоже задохнулся. А в уши опять хлынул шум. Я с досадой ткнул иглой в одно место, потом в другое, потом в третье. И снова услышал человеческий голос. Да, настоящий человеческий. Теперь уже громкий, звучный, отчетливый.

«Молодежь — наша надежда, наше будущее. Ей придется завершать начатое нами. И мы не должно! жалеть труда на ее воспитание...»

Я снял наушники и передал Володьке. Он надел их и замер, уставившись взглядом на ящик.

— Слышу, — прошептал он, точно боясь спугнуть говорившего. — Прямо рядом...

И протянул наушники Сережке. Тот слушал также напряженно. Но в голубых глазах то и депо вспыхивали искорки. Радость брала верх над страхом.

Послушав минуту, Сережка вернул наушники мне. Я надел их и снова услышал тот же мягкий и ясный голос:

«Враги Советской власти много раз делали ставку на молодежь. Но расчеты их не оправдались. Молодежь всегда следовала за партией, живо откликнулась на ее призывы...»

Я снял наушники и сказал, еле удерживая непонятную дрожь во всем теле:

— Говорит!

— Говорит! — подтвердил Володька Бардин.

— Говорит! — расплылся в улыбке Сережка Клоков.

— А кто говорит-то? — продолжал я. — Москва говорит!

— Москва говорит! — подхватил Володька.

— Москва говорит! — весь сияя, воскликнул Сережка.

— И Знаменка слушает столицу! — не переставал я, охваченный энтузиазмом.

— Знаменка слушает столицу! — повторил Володька.

— Знаменка слушает столицу! — ликовал Сережка. Я протянул один наушник Володьке.

— А ну, давай вместе!..

Мы уперлись лбами над ящиком и приложили к ушам по наушнику. Из них уже лились нежные и ладные звуки. Музыка! А мы-то и не знали, что она может быть такой! И откуда было знать? Как могла она залететь в нашу глухомань? Иной раз она вырывалась из окон поповского особняка. Там заводили граммофон. Но какая это была музыка! Воющая, рыдающая, стонущая. От нее хотелось бежать без оглядки. А эта... Она звенела колокольчиками, пела жалейками, тренькала соловьями. Она проникала в самую душу. И рождала что-то несравнимое, неизведанное.

Сережка приткнулся лбом к нашим лбам, стиснул нас за плечи.

— Дайте и мне, дьяволы!..

Так сидели мы, сгрудившись над говорящим ящиком. И, как зачарованные, слушали нежные звуки, рождавшиеся в нем. И было как-то необыкновенно на душе, будто она взлетала ввысь. А перед взором стлались необозримые поля с волнующимися хлебами, возникали яружки и балки, поросшие лесами и перелесками, вставали деревни и села с белыми хатами в цветущих садах. Русская земля! И по ней уверенно шагали мы, новые люди. В прошлом бесправные, теперь свободные и сильные. Те самые голодранцы, не в шутку, а всерьез великие, которые строят новую жизнь.

Но вот музыка замерла, и женщина сказала: «Мы передавали симфонию Чайковского. А сейчас объявляем перерыв...»

Я положил наушники рядом с приемником и глянул на ребят. Они молчали, точно все еще вслушиваясь. Потом Сережка мечтательно сказал:

— Си-им-фо-ни-ия!

А Володька вдруг обнял ящик, как ребенка, и проникновенно заговорил:

— Ах, ты ж наш дорогой! Да откуда ж ты к нам пожаловал? Да мы с тобой теперь такие дела будем делать!..

Я разомкнул Володькины руки и подтянул детектор к себе.

— Осторожно. А то и поломать недолго. Он хоть и говорящий, а не пожалуется...

54

Новость с быстротой ветра разнеслась по селу. И Знаменка загомонила, затараторила на все голоса:

— Слыхали, комса балакающую коробку раздобыла?

— Бают, такое чудо, что и церковному нос утрет!

— Нечистая сила в той коробке на все лады разоряется!

— Нет, что ни толкуй, а здорово! Москва, она ж вон где! А выходит, будто рядом!

— Окститесь, окаянные! Страшный суд наступает! Антихрист уже сошел на землю!

— Вот теперича жизнь будет! Такая жизнь, что и помирать не захочется!

— Одним словом, радиво!..

И любопытные повалили в сельсовет. Одни — с затаенной радостью, предчувствуя великое. Другие — с недоверием, страхась неизвестности. Но мы встречали всех.

— Милости просим на радиосеанс!

— Добро пожаловать к нашей культуре!..

Когда набралось много народу, я решил произнести речь.

— Видите эту штуковину? — спросил я, поднимая ящик и поводя им, чтобы всем было видно. — Это радиоприемник. Называется детектор. Почему так называется? А леший его знает! Только суть не в названии. Суть в том, что говорят в Москве, а в Знаменке слышно.

— Как же это? — поинтересовался Яшка Поляков, застенчиво улыбаясь.

— А очень даже просто, — пояснил Семка Судариков, жестикулируя длинными руками. — Как по телефону. Слова снуют по проволоке. Как молния.

Я, вспомнив, как все в том же романе «Тайна пятнадцати» Земля связывалась с Марсом по радио, уверенно заявил:

— Телефон и радио — разные вещи. По телефону разговор идет по проволоке. А радио передает по волнам. Есть такие в воздухе. Они и называются: радиоволны. На радиостанции их начинают словами и звуками и выпускают в разные стороны. Они летят и, встретившись с антенной, садятся на нее. А уж по ней — в приемник...

Яшка Поляков подскочил к проводу, тянувшемуся из оконной форточки к детектору, ухом приложился к ней и объявил:

— Ни шиша!

— От проволоки ничего не услышишь, — пояснил я. — Чтоб слова зазвучали, и нужен приемник. Он-то озвучивает и передает в наушники.

— Ты говоришь, слова скользят по проволоке, — заметил Петька Душин, в усмешке растягивая губы. — А отчего ж мы не видим, как они скользят?

— А ты видишь сейчас мои слова? — в свою очередь, спросил я. — Вот я говорю с тобой. Мои слова летят к тебе. Так что ж, ты видишь их?

— Ладно, — сказал Яшка Поляков. — Все одно непонятно. А потому хватит болтовни. Давай-ка лучше показывай...

Я не заставил себя упрашивать. Надел наушники и принялся настраивать приемник. Вытянув шею, ребята жадно следили за мной. Но они уже не беспокоили. Шутливая перепалка разрядила обстановку. И недоверие сменялось любопытством.

В уши хлынули слаженные голоса. Хор пел про Ермака, покорителя Сибири. Песню эту часто напевали и мы. Только теперь она звучала могуче, будто пело само вольное войско.

Сняв наушники, я позвал Яшку Полякова.

— Садись...

Яшка слушал серьезно. Широко раскрытые глаза не мигали. Губы часто вздрагивали. Казалось, вот-вот по ним пробежит улыбка. Но Яшка так и не улыбнулся. Торопливо стащив наушники, он посмотрел на них, потом на приемник и проникновенно сказал:

— Как распевают! И прямо тут!..

Семка Судариков слушал долго. Я пробовал прервать его, но он всякий раз отмахивался.

— Чичас... Ишо каплю...

Когда же песня кончилась, сам снял наушники и весь расцвел в улыбке.

— «Черного ворона» пели... — И медленно покачал головой. — А как тянули! Нам так не потянуть!..

За стоп уселся Петька Душин. Сдвинув на затылок барашковую шапку, он расправил клапаны накладных карманов френча, зачем-то подул на наушники, словно сдувая пыль, небрежно надел их. И сразу же замер, полузакрыв глаза, точно отчалил в другой мир. Даже не заметил, как шапка сорвалась с крутого затылка и упала на пол. И тоже слушал долго. А когда я снял с него наушники, встрепенулся. И, входя в обычную роль, сморщился.

— Ничего особого... Про Марусю-трактористку под баян... А вопче...

Потом подходили другие. Тихо усаживались за стол и слушали. Слушали спокойно и растерянно, с удивлением и восторгом. А поднимаясь из-за стола, коротко выражали чувства:

— Вот это да!

— Аж поджилки трясутся!

— И додумаются же люди!..

Неожиданно появились отчим и Иван Иванович. Отошли в сторонку и зашептались. Захотелось усадить стариков к приемнику. И посмотреть, что с ними будет. Я позвал их. Они подошли, робко присели на скамью.

— Прослышали и завернули, — оправдывался отчим. — Больно занятно. Прямо не верится...

Первым я надел наушники отчиму. Он сразу напрягся, будто радиоволны побежали и по его нервам. Но скоро лицо его округлилось, а впалые глаза заблестели. Сам того не замечая, он согласно кивал головой. Один раз даже довольно хихикнул и погладил усы. А когда снял наушники, с сожалением заметил:

— И что это у тебя их одна пара? Хоть бы дюжин ку заимел. Народ гуртом мог бы приобщиться...

А Иван Иванович слушал настороженно, недоверчиво. И выглядел ершистым, задиристым. Так и казалось, вот сейчас вскочит и забунтует. И опасения мои оправдались. Внезапно он стукнул кулаком по столу и гневно крикнул:

— Нет, брешешь, милоч! Не такие уж мы простаки. Понимали, что к чему...

Я сорвал с него наушники. Сосед мог ляпнуть что угодно. Он вспыхивал, как порох от искры. Я приложился к наушнику. Что рассердило старика? Передавали о деревне. Она становилась на социалистический путь. Бедняки создавали кооперативы, освобождались от кулацкой зависимости.

А Иван Иванович продолжал кипятиться:

— Сидит там, ядрена мать, и несет чушь. Средняки колебались в революцию. Да нешто это правда? В Знаменке и бедняки и середняки — все вместе громили помещика. И с бандами дрались без коле-баниев. А он, умник, такое куролесит!

— Будет тебе, Иваныч, — сказал отчим, обнимая соседа. — Утихомирься. Ты слышал середку. А поначалу говорилось другое.

— А надоть, чтобы не токмо начало, а и середка была правильная, — не унимался Иван Иванович. — Мы за Советскую власть горой. И бедняки и середняки. Вот так-то-сь. И нечего наводить тень на плетень-Отчим взял разбушевавшегося деда и увел к выходу. А мы продолжали показывать говорящий ящик, по очереди усаживая к нему любопытных.

55

На другой день я помчался в сельсовет чуть ли не с рассветом. Хотелось самому вдоволь послушаться радио. Может, в это время как раз передается музыка?

Достав приемник, я поставил его на стол и включил антенну. Сейчас заговорит Москва! И полетится в нашу глушь симфония. Более всего хотелось услышать ее. И я принялся настраивать приемник. Долго тыкал в кристалл иголкой. Но все бесполезно. Приемник молчал, как мертвый. В ушах только чуточку шуршало да потрескивало. Ни человеческого голоса, ни музыки. Будто этого никогда и не было. Что же случилось? Неужели он все-таки побывал в чужих руках?

Я принялся осматривать ящик. На задней стенке увидел два шурупа. Один показался не до конца завернутым. Так оно и есть. Кто-то проник внутрь и напортил. Карманным ножиком я отвернул шурупы, осторожно снял дощечку. Ну, конечно, какой-то гад побывал тут! Вон как перепутаны проволочки! Я начал усердно выпрямлять их. Они охотно поддавались, словно были живыми. Откуда-то выпала пластинка. А вот откуда? Где ее место? Скорее всего она тут случайно. А может, подложена с какой-то целью? И этот шпенек почему-то отскочил? Может, тоже лишний? Или подложен?

Едва я снова привернул дощечку, как в комнату ввалился Сережка Клоков. На ходу сбросив пиджак, он подсел к столу и, сияя глазами, спросил:

— И как он, наш друг?

— А вот сейчас попробуем, — ответил я, надевая наушники. — Должен балакать...

Но на этот раз детектор даже не шуршал. Казалось, он совсем испустил дух. Все мои старания ни к чему не привели. Ни к чему не привели и Сереж кинь старания. Мы долго смотрели на безжизненный ящик. Потом с отчаянием глянули друг на друга.

— Может, нутро испортилось? — спросил Сережка. — Как-нибудь само собой?

— Смотрел, — безнадежно махнул я. — Все поправил. Полный порядок навел...

Вошел Володька Бардин. На лице тоже тоска. Будто и ему уже известна кончина нашего агитатора.

— Молчит? — спросил он, тяжело опускаясь на скамью.

— Молчит, — удрученно подтвердил я. — Как воды в рот набрал.

— Значит, контра поработала?

— Поработала, — согласился я. — Только непонятно, как она могла?

— Что ж тут непонятного? — возразил Володька. — Слегу — на бок. Кусачками — провод.

— Какую слегу? — спросил Сережка. — Какими кусачками?

Володька глянул на Сережку, как на очумелого.

— Как это какую? А антенна-то где? Она ж тю-тю! Один хвостик на крыше болтается...

Забыв одеться, я вылетел на улицу. Антенны не было. Действительно, на крыше болтался провод, зацепленный за печную трубу. А отвод антенны отжеван у самой форточки. Слега же валялась возле амбара. Ночной снег запорошил все следы.

— Вражина, — сказал Сережка, выбежавший следом. — К ногтю бы такого. Как гниду...

Володька и Сережка отправились собирать ребят. А я вернулся в сельсовет и снова открыл детектор. Неспроста перестал он шуршать и потрескивать. Вывихнул я ему нутро. И теперь, как видно, ничто не поможет. Как же быть? Признаться и покаяться перед товарищами? А может, все-таки ничего с ним не сделалось? И он заговорит, если будет антенна?

56

Конечно, больше всех досталось мне. Как мог я проявить беспечность? Неужели ж мне неизвестно, что враг только и ждет случая? Разве нельзя было сделать так, чтобы убирать антенну на ночь?

Но мало-помалу страсти улеглись. Стали думать, как поправить дело. А поправить дело оказалось нелегко. А вернее, просто невозможно. Где взять проволоку? Такую не то чтобы в селе, в городе не раздобыть.

— А веревочкой нельзя заменить? — робко спросил Андрюшка Лисицин. — Я б такую свил! Не хуже проволоки.

— По веревке слова не пойдут, — вздохнул Сережка Клоков. — В пеньке застрянут. А ежели б веревка пришлась, свой бы телефон соорудили. Опутали бы хаты веревочками, и болтай себе на здоровье.

— На роговатовский бы тракт податься, — цокнул языком Митька Ганичев. — Там этой проволоки!.. Один бы пролетик чиркнуть. Понятно, трудно забраться на столб. Зима все ж таки. В валенках или сапогах не вскарабкаться. А только это ерунда. Можно и разуться. А проволока потолще этой будет. Даже лучше примет радио...

Ребята с удивлением уставились на Митьку. А Илюшка Цыганков вкрадчиво спросил:

— Ты это серьезно, Мить?

Митька беспокойно заерзал на скамье.

— Не то чтоб серьезно, а между прочим. Как говорится, думка не сумка. Даже самая тяжелая ничего не весит. Вот я и соображаю. Может, смотаться ночью? Вдвоем с кем-нибудь? С тем, кто швидко на дерево взбирается? И сразу на два столба. И кусачками — по стекляшки.

— А как же телефон? — спросил Гришка Орчи ков. — Разговор-то оборвется?

— Понятно, оборвется, — согласился Митька. — Но до утра. А утром обнаружится и поправится. Мы можем срезать поближе к райцентру. Чтобы, значит, поскорейше отремонтировали. А что? — пугливо оглянул он нас. — Разве ж она не портится, линия? В пургу и бурю? А ветер, он, бывает, даже столбы валит...

Митька говорил полупшепотом, точно боясь, как бы кто не подслушал. Глаза его горели, ноздри раздувались. Да, он легко обделал бы это дело. И проволока вполне заменила бы антенну. Побежали бы по ней слова и звуки. И мы опять стали бы удивлять односельчан чудом. И не каким-то колдовским, а взаправдашним. — Так думал я. Это можно было прочитать и на лицах ребят. Но в глазах у них металось и мое беспокойство. А что будет с телефоном? Когда и как исправят его? Сколько времени пройдет, пока разговор возобновится?

— Ну как? — снова заговорил Митька воровским полупшепотом. — Решимся?

— Да ты что? — спросил Володька Бардин. — Свихнулся? Как же это можно разорить линию? Да это похлестче, чем украсть антенну.

— Я ж не красть, — оправдывался Митька. — А одолжить. Один пролетик. А то ж погибнет радио. Некоторые хоть трохи послушали. А я даже не приложился. Да и для народа польза. Через радио люди куда скорей окультурятся...

— Слушай, — остановил его Илюшка Цыганков. — Я вижу: свая не пошла тебе впрок. И ничему не научила. Жалко, что она стукнула тебя по ноге. А надо бы по башке...

Илюшка говорил сердито, даже зло. Выглядел он каким-то напряженным, точно собирался драться. На руках бугрились мускулы. Откуда они? Откуда эта собранность и подтянутость? Как здорово изменился он за последнее время!

— Прекратим этот разговор, — сказал Прошка Архипов. — Это просто недостойно комсомола. Мы ж не разбойники какие, чтобы по ночам выходить на дорогу... — Он повернулся ко мне и насупил брови. — Надо идти в райком и просить помощи. Вот так. И придется шагать тебе самому. Ты и секретарь и виновник. А потому с тебя и спрос...

Да, я был главным виновником. И больше, чем они, винил себя. Без труда можно было соорудить съемную антенну. А во время радиопередач устраивать дежурства под ней. Все можно было сделать. И помешала этому не беспечность. Нет. В беспечности ни меня, ни кого-либо из них упрекнуть нельзя. Простодушие и доверчивость — вот причина того, что случилось. Мы считали кулаков своими врагами, вели с ними борьбу. Но боролись открыто, честно. И лишь в безвыходных случаях прибегали к хитростям. Они же, как видно, не гнушались никакими средствами. Вплоть до самых гнусных и подлых.

— Прошка прав, я виноват во всем, — сказал я, загораясь желанием раскрыть душу. — И вы правильно ругали меня. Стоит. Проморгал. Да что проморгал. Разиней оказался. Но все же... Урок этот не для одного меня. Он для всех нас. Отныне надо знать: враг способен на все. На любую подлость. И сделать из этого выводы. Для работы и жизни. Да, жить надо по-другому. Честно, правдиво, преданно. И дорожке жизни беречь свободу, Советскую власть, свое государство. И к вывиху товарища Ганичева подойти с этих позиций. Да, это политический вывих. И говорит он о нашей незрелости. Отсюда задача: повышать политическую зрелость, идейно закалять себя. И делать это надо постоянно, каждый день, каждый час. Только при этом условии мы сможем разгадывать коварные замыслы врагов, вовремя отражать их удары...

Речь моя была выслушана с глубоким вниманием. А когда я кончил, Прошка Архипов порывисто встал и протянул мне руку.

— Клянемся не распускать нюни! — воскликнул он, сильно сжимая мою ладонь. — И все силы отдавать борьбе с врагами!..

На наши руки легла рука Володьки Бардина.

— Клянемся!..

Потом присоединил свою руку Сережка Клоков. Потом — Илюшка Цыганков, Гришка Орчиков, Андрюшка Лисицин, Митька Ганичев. И каждый твердо произносил:

— Клянемся!..

Симонова в райцентре не оказалось. Техсекретарша райкома партии сказала, что он обещал к вечеру вернуться из Роговатого.

От нечего делать я забрел в раймаг. И, к своему удивлению, увидел там новенькую балалайку. В Знаменке играли на самодельных. А эта была фабричная. Она сверкала гладким лаком, блестела серебряными ладами. А кроме балалайки, на полке лежали струны. И как же их много, этих струн! Я держал балалайку в руках и чувствовал, как дрожат они. Просто невероятно! Фабричная балалайка! Вместо противных колышков, которые то и дело надо слюнявить, чтобы не прокручивались, костяные закрутки с металлическими колесиками и валиками. Я легонько тронул струны. Они забренчали вразнобой. Я настроил их, поставил на место «кобылку». Теперь балалайка заиграла звонко и напевно. Но стоила она дорого. Двухмесячной зарплаты не хватило бы. Со мной были и селькrestкомовские деньги. Я захватил их на всякий случай. Никогда мне не приходилось занимать их на личные нужды. Но тут особое дело. К тому же балалайка нужна не только для личной забавы, а и для общей культуры.

«Как-нибудь рассчитаюсь, — думал я, выходя из раймага с балалайкой и почти полным карманом струн. — В долгу не останусь».

Зимний день короток, и вечер наступил быстро. А Симонова все не было. Техсекретарша посоветовала подождать в его комнате и отдала ключ. Я зажег висячую лампу и устроился на деревянном диванчике. Хотелось со всей силой ударить по струнам. Но я еле перебирал их. В соседних комнатах трудились люди, и нельзя было мешать. А балалайка пела ладно и нежно. И душа моя пела ладно и нежно. Теперь мы создадим целый оркестр. И в центре оркестра будет фабричная, сверкающая и блестящая балалайка.

А Симонов все не появлялся. Какие-то юнцы без конца заглядывали в комнату, спрашивали его и с досадой скрывались за дверь. Я же продолжал сидеть на диване и улыбаться. А самому уже было не до улыбок. На дворе всю хозяйничала ночь. Очень хотелось есть. Можно было бы сбежать в чайную. Но на это уже не было денег. И я терпел, прислушиваясь к урчанию в животе. И с опаской поглядывал на мутнеющее окно. Никогда мне не приходилось так поздно возвращаться из райцентра. Какой же дорогой лучше пойти? Стежкой между оврагом и болотом? Или проедем трактором через поле? Первый путь короче, но страшнее. Через поле — много дальше. Зато там далеко видно. Только бы не разыгралась пурга.

Симонов ввалился чуть ли не в полночь. Сбросив тулуп, с удивлением уставился на меня.

— Это из какой же пушки тебя выстрелило?

Я рассказал, ради чего явился. Симонов сразу посерьезнел.

— Та-ак, — протянул он. — Враг не сидит сложа руки. И на активные меры отвечает контрмерами. Диалектика... — Он прошелся по комнате, потер замерзшие руки. — А запасной антенны нет. И взять ее негде. Дефицит... — И постучал пальцами по моему детектору. — А его зачем приволок?

Уши мои запылали жаром.

— Да что-то плохо работает...

Симонов поставил приемник на стол, достал из-за шкафа провод и включил его. Надев наушники, он принялся тыкать иглой в кристалл.

— Гм... Не подает признаков жизни... — Он достал из ящика стола свой детектор, переключил в него антенну и улыбнулся. — Антенна на месте. А я уж думал, и нашу сперли. Значит, дело не в антенне. Бараклит сам приемник...

Сняв наушники, он долго смотрел на мой детектор. Впервые я видел его нерешительным. А мне-то казалось: ему все нипочем. Выходит, между нами небольшая разница.

— Жалко, нечем открыть, — сказал Симонов, перевертывая ящик. — Посмотреть бы, что там...

Я протянул карманный ножик. Симонов отвернул шурупы, отнял заднюю крышку. Глаза его округлились, будто он увидел что-то несуразное.

— Минуточку... Что-то не то... — Он открыл и свой детектор. — Так и знал... Они не только сняли антенну, а и изуродовали приемник. Смотри, как перекорезено...

Но я не двинулся с места. Зачем смотреть, когда и так все видно? Можно было бы подтвердить подозрения Симонова, но язык не поворачивался. Противно было лгать даже на кулаков. И я признался, что сам все перекорезил.

— Тоже думал, что залезли. И стал поправлять. И поправил...

Симонов глянул на меня так, как будто увидел впервые. Раскрыл рот, чтобы выругаться, но тут же захлопнул его. И запустил пятерню в свои густые, пышные волосы.

— М-да... Ремонтер из тебя получился аховый... Ладно, — смягчился он, заметив мое отчаяние. — Как-нибудь переживем... — Он поставил мой детектор рядом со своим. — Антенна вам пока что не нужна. А нужна вам бдительность. И аккуратность... — Он взглянул на часы, поддев ремешок большим пальцем. — Ух ты! Уже совсем поздно. Где ночевать думаешь? У родственников?

У меня не было родственников в райцентре. Симонов набросил тулуп на плечи.

— Пошли ко мне. Я тут недалеко конуру арендую. Тесно и неудобно. Но как-нибудь переваляемся.

Я отказался. Утром надо быть в кресткоме. Не уговорил меня Симонов и сходить в чайную, хотя в желудке моем скребли кошки. Я взял балалайку, стоявшую за диваном, и направился к выходу. Но Симонов задержал меня. И попросил сыграть что-нибудь.

— Что самому любо...

Я сыграл «страдания». Симонов порывисто сжал мои плечи:

— Спасибо, Федя. Очень рад за тебя...

58

Зимой в Знаменке принято устраивать посиделки. Девчата снимают хату. Она должна быть просторной. И стоять на бойком месте. Плата сходная — керосин и топливо. А веселья — хоть отбавляй. Хороводы, игры, пляски. Плясать приходится под гребенку. Между зубьями гребенки вставляется лист бумаги. Чем тоньше, тем звонче. Девчонка или парень прикладывается к листу губами и наигрывает что душе угодно: «страдания», польку, «барыню». Даже перед вальсом не пасуют. И гребенка звенит, как диковинный инструмент. А что же делать? Ванька-то Колупаев со своей гармошкой бывает не на всех посиделках. Да и не задерживается, если и заглянет. Попиликает минутку-две и смотается. Дескать, другие тоже ждут не дождутся. Мало радости от такой музыки. А тут еще лихая компания, увивающаяся за гармонистом. Брат Васька, Миня Лапонин, Петька Душин и прочие задавали. Они кривляются, матерщинничают. И, что хуже всего, хлещут девчат поясами. Ни за что ни про что. Отказалась плясать — и засвистел ремень. И свистит, пока из девичьих глаз не посыплется слезы.

Мы горячо обсуждали проблему посиделок. Володька Бардин и я предлагали ради связи с молодежью не чураться их. Другие ребята колебались. Хотелось веселья, но пугали насмешки. А Прошка Архипов и Илюшка Цыганков с пеной у рта доказывали, что посиделки — страшный пережиток. По этой причине снизойти до них значило совершить грехопадение, какому нет оправдания. В конце концов победа досталась им, Илюшке и Прошке. Большинством ячейка запретила комсомольцам бывать на посиделках, которые объявлялись очагами старины и бескультурия.

И вот мы, как отшельники, чахли в сельсоветской комнате. Штудировали газету «Молодой коммунар», читали разные книжки, спорили о социализме, о котором понятия не имели. И, конечно, скучали. Коротать вечера приходилось без девчат. А какое же веселье без девчонок? Они же наотрез отказывались идти к нам. Никакие уговоры и посулы не помогали.

Но вот появились струны, и все изменилось. Впрочем, не одни только струны, а и фабричная балалайка. Андрюшка Лисицин и Гришка Орчиков принесли и свои самодельные, но голосистые. На каждую навесили по шести струн. И зазвенели они, три балалайки, как оркестр. Куда там старой колупаевской гармазе!

Несколько дней на здании сельсовета красовалось объявление, намалеванное крупными буквами. Но на «Вечер дружбы» явилось всего лишь трое девчат и двое парней — Ленка Светогорова с подружками и Яшка Поляков с Семкой Судариковым. Не только густо, а даже пусто. За многотрудную подготовку — и такая скромная плата. И все же мы радовались. Лед тронулся. Заговор равнодушия нарушен. Завтра эти девчонки и ребята разнесут молву о том, как хорошо было в сельсовете. И другие не устоят. Потому-то мы, сил не жалея, развлекали первых гостей. Мы кружили девчат в вальсе, с ребятами выбивали чечетку. И старания наши не пропали даром. А надежды оправдались с избытком. На другой день пришло вдвое больше ребят. На третий — вдвое. А на четвертый мы и считать перестали.

Но и после этого приходилось трудиться до седьмого пота. Мы попеременно играли на балалайках, носились с девчонками в танцах, не скупившись на рассказы и шутки. Так от вечера к вечеру. Ребята валили в сельсовет чуть ли не с заходом солнца. Теперь что-то неудержимо тянуло их к нам. Может, звонкие балалайки? Или деревянный пол? На нем не то что на земляном — легко выстукивать каблуками. А может, покоряло разнообразие? В перерывах между танцами Сережка Клоков декламировал стихи. Андрюшка Лисицин показывал остроумные фокусы. А Володька Бардин организовывал массовые игры. Правда, игры были без поцелуев. Ребята называли их постными. Но желающих участвовать в таких играх хватало. И проходили они весело, с шутками и смехом.

По вопросу о поцелуях в ячейке тоже были жаркие споры. На этот раз победили мы с Володькой Бардиным. Мы заклеямили такие игры как старорежимные и вредоносные. И сумели доказать, что подобные упражнения противоречат духу нашего времени. Да и как это можно целоваться в сельсовете? На посиделках еще куда ни шло... Но в сельсовете?.. Нет, это было бы чересчур! От стыда покраснел бы не только комсомол, а и Советская власть.

Но и без поцелуев молодежь развлекалась неплохо. До полуночи звенели балалайки, стучали каблуки, слышались песни. А в полночь приходил конец забавам. Парочками и группами растекались гости по домам. В сельсовете оставались только мы, комсомольцы. И начиналось самое трудное. Из соседней комнаты выносились подогретые возле грубки ведра с водой. С ног сбрасывалась обувь. Штаны закатывались выше колен. И мокрые тряпки начинали плясать по старым, выщербленным половицам. Таково было условие Лобачева.

— Хотите собираться и развлекаться? — сказал он, отвечая на нашу просьбу. — - Пожалуйста, ничего не имеем против. Только керосин ваш, как и на посиделках. А вместо топлива — пол. Утром пол должен быть, как зеркало...

И мы терли его, старый, шершавый пол, мыли теплой водой, насухо вытирали суконками. И он в самом деле блестел почти как зеркало. А лбы наши покрывались крупными каплями пота. Но никто не жаловался, не роптал. Каждый знал, что победа не дается без труда.

59

Однажды в самый разгар веселья в сельсовет ввалилась ватага подвыпивших молодчиков. Как на самых захолустных посиделках, они принялись кривляться и паясничать. Ванька Колупаев без приглашения уселся на видном месте, оттеснив Андрюшку Лисицина, игравшего на фабричной балалайке, и рванул поблекшие меха гармошки. Но сиплый, расстроенный лай не вызвал восторга, и круг оставался пустым. Только Петька Душин вразной затапал хромовыми сапогами и гнусавым голосом запричитал:

Чёлды, ёлды, через колды чеколды.

Пил бы, ел бы, не работал никады!..

Мы с тревогой следили за гуляками, не зная, что предпринять. Затевать ссору, а тем более драку в сельсовете не хотелось: легко можно было испортить хороший вечер. Да и скандал не принес бы пользы. Скорей наоборот. По селу поползли бы кривотолки и пересуды. И Лобачев мог взъерепениться. И закрыть «красные посиделки». Вряд ли он стал бы разбираться, кто прав, а кто виноват. Уговаривать же хулиганов было бесполезно. Уговоры действовали на них так же, ; как арапник на бешеных собак.

Вдруг Петька рванул Ленку Светогорову на середину круга.

— А ну, Светогориха, поддай жару! А то захочу, враз поколочу!

Ленка брезгливо фыркнула и пошла на место. Петька подскочил к ней, повернул к себе и звучно чмокнул в губы.

— Вот тебе, шваль!

Ленка со всего размаху залепила ему оплеуху.

— А вот тебе, мразь!

Кругом одобрительно засмеялись.

— Молодец, Ленка!

— Так ему и надо!

— Не будет слюнявиться!

Побурев от стыда, Петька приблизился к Ленке и принялся расстегивать ремень на френче.

— Сичас я проучу тебя, зануда!..

Но перед ним встал Сережка Клоков.

— Отставить учебу. Учи себя на печи, а тут лучше помолчи...

Снова смех. Петька повернулся к Сережке, смерил его вызывающим взглядом. Но тем и ограничился. Здоровенный комсомолец не девчонка. С ним не так-то просто сладить. А Петька не отличался храбростью, И напал только на слабых. Да и то исподтишка.

На выручку дружку поспешил Васька Колупаев.

— Сгинь, комса, а то дам по носам! Го-го-го! Сережку отстранил Илюшка Цыганков. Он спокойно сказал Ваське:

— Уноси ноги, живодер! Да поскорей, пока цел. Васька обалдело выпучил глаза. Его не боятся?

Ему угрожают? Вот так диво! Он захохотал так, что огонь замигал в лампе.

— Мотри-ка, пугают! А кто? Гольтьба! Хлам и мусор!..

Илюшка вплотную подступил к Ваське, сжал кулаки.

— Хватит ломаться, бузотер! Мы не пугаем а предупреждаем. Убирайся со своей шатией! Не то вынесем на носилках...

Васька хотел было гаркнуть, чтобы голосом потушить лампу, но поперхнулся, словно подавившись собственным гневом.

— Не ты ли вынесешь, Цыган?

— А хоть бы и я.

— Не чуди, пролетарий! А то, как бог черепаху...

— А ну, пойдём, друг!

Васька еще пуще выкатил слюдяные глаза.

— Ты это сурьезно?

— Как видишь.

— Один на один?

— Верно понял...

Я с беспокойством смотрел на Илюшку. Что он делает? На что надеется? Вспомнилась схватка в церковной ограде. Тогда Илюшка и Митька вдвоем еле сдерживали Ваську. Теперь же он один вызывает громилу. Уж не рехнулся ли парень?

— Гоже! — рыкнул Васька, багровея. — Но до прежь гроб закажи. И с комсой протисись...

Илюшка взял Ваську за руку и потащил к выходу.

— Пошли, комик! Сейчас сам угодишь в могилу... Упираясь плечо в плечо, они вышли на улицу. За ними, перебрасываясь шутками, хлынули все. На ходу мы условились разнять драку, как только Илюшка выбьется из сил. На улице нас ничто не связывало. Да и большая часть ребят держала нашу сторону.

Вокруг бойцов сразу же сомкнулось живое кольцо. И со всех сторон посыпались советы и предупреждения:

— Порядок блюди, ребя!

— Дуй на полную и без обману! . — Сзади не нападать!..

Яшка Поляков и Петька Душин бросились притаптывать снег. Ничто не должно мешать бою. Ванька снял с брата ватный пиджак. Под ним оказалась куртка с ременными застежками. Илюшка тоже разделся, оставшись в одной рубашке. . — Правильно! — громогласно похвалил Семка Судариков. — А то жара будет!..

Илюшка и Васька сошлись в центре круга и насторожились, готовые ринуться друг на друга.

— А ну, вдарь! — великодушно предложил Васька, будто Плюшкин удар должен был доставить удовольствие. — Да не промажь! Больше одного не удастся!..

Еще несколько секунд они стояли один против другого, освещенные звездами. Но вот Илюшка качнулся в одну, потом в другую сторону, словно раскачивая в себе силу, и стремительно ударил Ваську в лицо. В ответ раздался многоголосый выкрик:

— Вот это съездил!

— Аж зашатался!

— Вася, дай сдачу, милоч!

Подхлестнутый криками, Васька бросился на Илюшку. И остервенело заработал кулачищами. А Илюшка пятился назад по кругу, отбиваясь и увертываясь. Казалось, не будь плотной стены из возбужденных зрителей, он бросился бы наутек. Но так только казалось. Я видел: Васькины удары не достигают цели. Они впустую бороздят воздух.

«Так, Илюша, — мысленно подбадривал я комсомольца. — Уходи от прямых. Уклоняйся и жди случая. И бей без промаха. Глуши одним ударом...»

И Илюшка будто услышал меня. Как молния, метнулся он на Ваську, едва тот остановился перевести дух. И нанес несколько ударов, вызвавших всеобщее ликование.

«Как мексиканец, — с радостью думал я, вспомнив рассказ Джека Лондона. — Сначала закрывался от вихря, потом сам налетел вихрем. Молодец!..»

Тревога отступила, и я с интересом стал наблюдать за поединком. Еще бы! Не простая, а классовая схватка! От ее исхода зависело многое: либо богатеи вволю поиздеваются над нами, либо сами проглотят горькую пилюлю. И я еще жарче про себя подбадривал Илюшку:

«Так, Илюша! Уклоняйся и выматывай. Так. Очень хорошо. Не пропускай момента. И наноси ответ...»

Васька с каждой минутой выдыхался. Удары его становились редкими, а дыхание — тяжелым и прерывистым. Мы видели это и торжествовали. Видел это и Илюшка. И постепенно захватывал инициативу. Наконец пришла Васькина пора защищаться. Но он делал это неумело: ведь до сих пор ему не приходилось обороняться. А Илюшка, вдохновляемый нами, окончательно выпрямился. И атаковал без усталости, не оставлял ни одного открытого места. И бил сильно, точно, расчетливо. Кулаки его неуловимо взлетали над Васькой. Они не давали ему ни минуты покоя. И вынуждали тратить последние силы.

Ребята ревели от восторга. Даже девчонки, обычно молча наблюдавшие кулачки, визжали. Да и как было не визжать? Непобедимого громилу бьют. И кто бьет-то? Илюшка Цыганков. Ничем не приметный парень. И поделом грубияну. Не будет измываться над девчатами!

Внезапно Васька, как мешок с мякиной, рухнул наземь. И вытянулся на снегу, будто испустив дух. Ванька бросился к нему и принялся тормошить брата.

— Вась, а Вась! Ну же, вставай! Не кобенясь!..

А мы окружили Илюшку. Прошка набросил ему на плечи пиджак. А Митька заботливо пригладил на голове взмокшие волосы. Ребята поздравляли победителя, похлопывали его по плечу. Но Илюшка ничего не замечал. Он стоял в боксерской стойке и смотрел на еле поднимавшегося Ваську. А когда тот наконец встал, шагнул к нему и спросил:

— Сыт или еще хочешь?..

Васька не ответил и, пошатываясь, побрел прочь. За ним уныло поплелись дружки. А вдогонку им полетели свист, смех и злое улюлюканье.

60

В тот же вечер, когда мы одни остались в сельсовете, Илюшка рассказал, как все случилось.

Вскоре после того, как я поведал ребятам о храбром мексиканце, Илюшке пришлось побывать в городе. Вместе с отцом он возил на базар пеньку, чтобы на вырученные деньги подкупить хлеба.

В городе Илюшка зашел в горком комсомола. И признался, что хочет научиться боксу. Он сказал, что стремится к этому не ради забавы, а для борьбы с классовым врагом. Секретарь горкома со вниманием отнесся к просьбе и написал записку с адресом.

В спортивном обществе Илюшку приняли также приветливо. Показали кожаные перчатки и «грушу». И подробно объяснили, как надо тренироваться. А на прощание подарили книжку, в которой обо всем рассказывалось просто и ясно.

Вернувшись домой, Илюшка набил песком сумку и повесил ее в сарае. Потом надел овчинные рукавицы и принялся обрабатывать самодельную «грушу». И так с весны до нынешнего боя. Каждый день по нескольку раз. Даже в жаркое лето не изменял режиму. И все тайком, втихомолку. Чтобы не дознались и не подняли на смех.

— Хотелось, как тот мексиканец, — признавался Илюшка, застенчиво улыбаясь. — Это здорово помогало. Но помогало и другое. Я представлял, что передо мной не сумка с песком, а враг. Сильный, злой, хитрый. И надо было победить этого врага...

А недавно Илюшке снова довелось побывать в городе. На этот раз они с отцом возили рожь и покупали одежку для малышей. Конечно, Илюшка не преминул заглянуть к спортсменам. Теперь они приняли его как друга. Обо всем расспросили подробно. И решили проверить, чего достиг начинающий боксер. На руки надели настоящие перчатки и вывели на подмости, обтянутые канатами. В другом углу оказался веснушчатый подросток со светлым вихорком. Слушая наставления инструктора, Илюшка думал, каким по счету ударом свалит паренька. Но едва они сошлись на середине ринга, как сам непостижимо очутился на полу. Правда, быстро вскочил, умело увернулся от нового удара. Даже сам успел нанести удар, от которого подросток зашатался. Но все же долго продержаться не смог. Паренек загнал его в угол между канатами и забил бы совсем, не останови судья бой.

— Молодчина! — похвалил Илюшку инструктор, похлопывая его по спине. — Смело дрался. И долго стоял. Мы же выставили против тебя мастера в весе «петуха»...

А сегодня Илюшка решил выступить против Васьки. У громилы, конечно, вес скорее бычачий, чем петушиный. А силы не меньше, чем у иного буйвола. Но не зря же говорят: велика Федора, да дура. И Илюшка подтвердил эту мудрость, посрамив силача.

— Ты, понятно, доложишь Симонову, — вдруг сказал Илюшка, повернувшись ко мне. — А он присобачит мне какой-нибудь уклон. Скажет, идеями надо бороться, а не кулаками. И влепит выговор.

— Что ты, Илюша! — воскликнул я, да так громко, что свистнул на букве «ш», рассмешив ребят. — И не подумаю докладывать. А если бы и доложил, ничего не было б.

Симонов-то, он же неглупый парень. Понимает что к чему. А что до нас, то я так скажу. Нынче ты заработал не выговор, а благодарность.

Глаза Илюшки радостно засияли.

— Ты это правда?

— Ну, конечно, правда! — с жаром продолжал я. — И ты сейчас убедишься... — Быстрым взглядом я окинул ребят. — Предлагаю объявить товарищу Цыганкову от ячейки благодарность. За то, что он проучил классового задавалу. И тем самым высоко поднял авторитет комсомола. Кто за?..

И первым поднял руку. За мной подняли руки все.

61

На сходки карловцы собирались редко. А собравшись, не очень-то разговаривались. Не любили тратить слова, словно они дорого стоили. Обычно сходились у Кости Рябчикова. Он был уполномоченным сельсовета по Карловке. К тому же его хата вмещала больше народу, чем любая другая на хуторе. А хозяйка, добрая и простодушная Катерина Степановна, так встречала хуторян, что невозможно было усидеть дома.

Но на этот раз и жилище Рябчиковых оказалось тесным. На сходку явились не только мужики, а и бабы. Даже моя мать, чуравшаяся всяких собраний, и та пожаловала. Пожаловала вслед за отчимом, должно быть, не доверяя ему. А может, подозревая сына в дурных намерениях.

Мужики курили больше обычного. Скоро в хате, несмотря на полдень, стало темно. Пришлось зажечь лампу. Но она горела нехотя, задыхаясь в дыму. Бабы чихали, кашляли и обзывали мужиков нелестными словами, а те только посмеивались и продолжали дымить.

«А кто звал вас, сороки? — как бы говорили они всем своим видом. — Сами показали прыть. А ради чего, спрашивается? Вертелись бы у печи да лепили калачи. А не совали нос в общий обоз...»

Но многие сами притащили жен. Чтобы в случае чего спрятаться за их спину. И свалить на них вину. Дескать, мы тут ни при чем. Это все бабы. А что с них взять, отсталых?

А позвали мужики жен потому, что сами страшились. Коммунисты, видите ли, намереваются взломать порядки, заведенные исстари. И сварганить какую-то артель, именуемую «тозом». А как можно жить целой артелью, когда в одной семье часто не бывает ладу? Вот и тревожились. И на всякий случай старались огородиться.

Сидя рядом с Костей за столом, я наблюдал за собравшимися. Односельчане. Добрые и сварливые. Податливые и упрямые. У каждого своя душа. А в каждой душе свои потемки. Попробуй проникнуть. И отгадать, что там.

Взгляд невольно задержался на Иване Ивановиче. Чуткий и уважительный сосед. В то же время кол готной и взбалмошный. В любую минуту может взорваться. И поднять шум. А потом, когда увидит, что напрасно, сморщится, как от боли, и скажет:

— Ишь ты, едят ё мухи. Взбрыкался, как необъезженный. Вожжа под хвост попала...

Но детектор все-таки тронул старика. Не раз он вспоминал слова, услышанные из Москвы. И не раз жалел, что не довелось еще послушать столицу.

— Это ж надо, а? — сокрушался он, когда заговаривали об украденной антенне. — Да как же можно так? Сам бы отрубил руки подлецам...

Но про лечи в клубе помалкивал. Будто ничего и не было. Молчал и я. Но молчал не потому, что забыл или смирился. Нет! Забыть и смириться трудно было. Ждал тепла. А когда оно придет, печник и сам назовется. И загладит свой грех перед народом.

Думая так, я смотрел на деда Редьку. А он, словно почувствовав мой взгляд, вдруг встрепенулся, заерзал на скамье и вскинул бороденку.

— Слышь-ка, Костенька, начинать бы пора. Не то вон как пропотели и провоняли чадом...

Другие тоже заворчали, требуя открывать сходку. Рябчиков пробежал по лицам глазами, точно подсчитывая собравшихся, и сказал:

— Открывать так открывать. И правда, семеро одного не ждут... — и кивнул: — Валяй докладывай...

Я встал и встретился глазами с матерью. Она смотрела на меня сурово, будто заранее осуждала. И глаза других карловцев показались строгими, осуждающими. По спине пробежал неприятный холодок, внутри что-то защемило. Но я взял себя в руки и, была не была, начал.

Я рассказывал о том, что такое товарищество по совместной обработке земли. Рассказывал обстоятельно и, как самому казалось, убедительно. О таком коллективном объединении я знал все до мелочей. А знал из газеты, которую получал на ячейку. В последних номерах она напечатала несколько рассказов о разных артелях. Из каждого рассказа я выбрал самое важное, объединил в одно целое, заучил на память и теперь шпарил как по писаному.

Мужики слушали в глубоком молчании. И смотрели на меня подозрительно, будто я готовил им западню. Но дали договорить до конца. А потом глухо загудели, беспокойно заерзали, звонко зашлепали губами, раскуривая сигарки.

И опять первым вскочил дед Редька. Сжимая в руках потертую капелюху, он спросил меня:

— Слышь-ка, мил друг, а откуда ты про все проведал? Ежели это, знамо дело, не секрет?

Я ответил, что обо всем, что рассказал, прочитал в газете. Дед Редька подергал себя за щупленькую бороденку и показал выщербленные зубы.

— А почему ж это мы должны верить газете? Можить, в той газете прописана суцая брехня? А ты нам энту брехню за чистую правду преподносишь?

Прежде чем я ответил, Рябчиков стукнул кулаком по столу и наставительно сказал:

— Предупреждаю, дед. Не имеешь права подозревать наши газеты в брехне. Это тебе не буржуйская пресса, а советская печать.

— Усмиряюсь, Костенька, — просипел Иван Иванович. — Я только так, промежду прочим. Для выяснения, стало быть. А подозрений никаких не имеем. Упаси бог.

— Ясно, — сказал Рябчиков. — Еще есть вопросы?

— А то как же? — встрепенулся Иван Иванович. — Беспременно есть, И главный такой... — Он повернулся ко мне, и на морщинистом лице опять расплзлась хитрая усмешка. — А скажи-ка, мил друг, что допрежь явилось на свет божий — курица аль яйцо?

— Как это? — не понял я.

— А вот так, — пояснил старик. — Ежели, скажем, курица, то из чего она вывелась? А коль яйцо, то кто ж его снес?..

Хохот всколыхнул дымное облако под потолком. Я растерянно смотрел на кривляющихся мужиков, на визжащих баб и с обидой думал об Иване Ивановиче. И что за въедливый старик. И отчего ведет себя не по-соседски?

А Рябчиков, утихомирив сходку, сердито сказал деду Редьке:

— Вопрос к делу не относится. И не баламуть собрание, дед. А то я не погляжу, что ты самый старый.

— Не согласный с тобой, Костенька, — возразил Иван Иванович. — Вопрос мой даже дюже к делу подходит. В самую притирку. А ежели вы с ним... — кивок в мою сторону, — не в силках справиться, то ответу сам. И курочка и яичко разом на свет появились. А произвел их, значитца, бог. Как и все сущее на земле. И нас сотворил такими, какие есть. А потому, стал быть, невозможно нас, как скотину, на общий баз...

— Ну, хватит, — досадливо махнул Рябчиков. — Садись, дед. Тебя выслушали. Послушаем кого другого...

От «окна отвалился Костопаров, один из богачей Карловки, переступил валенками, словно утверждаясь на ногах, и неторопливым движением расправил бороду.

— Сообча оно, можить, и сподручней. А тольки, как же это можно сопоставить? Чтобы справедливость соблюсти. Вот возьмем, к примеру, меня и кого-то из безлошадных. И что ж тодыть получится? Я на своих лошадках буду пахать, сеять, скородить, снопы с поля таскать и прочие дела делать. А безлошадник в то время чем станет заниматься?

— Безлошадник в это время будет делать другое, — решил я восстановить свой пошатнувшийся авторитет. — Полоть сорняк, косить, снопы вязать, молотить.

Костопаров окинул меня снисходительным взглядом.

— Полоть, косить, вязать, — повторил он, наигранно улыбаясь. — А ежели я все это сам с сынами и невестками могу? В таком разе как быть?

— В таком разе, как хотите, так и поступайте, — разошелся я. — Уж вас-то никто силком в артель не потянет. Обойдемся и без ваших сыновей и невесток...

— Ах, даже так-то-сь! — воскликнул Костопаров, сделав обрадованный вид. — Ну, тоды благодарствуем. И вопросов больше не имеем...

Костопарова сменил Гришунин, тоже видный кар ловец, владелец крупной пасеки. И этот не скрыл беспокойства. И, сравнив себя с многодетным бедняком, заключил, что тот, бездельничая, припеваючи будет жить в артели. Семен Палыгин, хромой сапожник и отец десятерых детей, приняв укор на себя, матерно выругался и заявил, что ни за какие деньги не согласится объединяться с костопаровыми и гришунинными.

— Еще надо посмотреть, кто больше бездельничает. А потом уж и оскорбление наносить. А то ответ держать придется...

А потом наступило молчание. Никто ни о чем не спрашивал, ни о чем не говорил. Мужики беспрестанно сопели сигарками, а бабы вызывающе поджимали губы. Будто сговорились играть в молчанку и сорвать сходку.

Рябчиков много раз просил высказываться, но ответом было упорное молчание. И тогда он достал тетрадь, разгладил ее на столе и, послунив карандаш, сказал:

— Не желаете говорить, будем записываться. Вступаю в тоз первым. — И аккуратно вывел в тетрадке свою фамилию. — Кто следующий?

Вторым записался Семен Палыгин. За ним подали голоса еще трое безлошадников. И снова молчание. Я глянул на отчима. Согнувшись, он прикрывал лицо ладонями, будто стыдясь чего-то. Я перевел взгляд на мать. Она, наоборот, сидела прямо и не отрывала от меня глаз. И тогда я громко сказал:

— Записывай и меня...

Рябчиков записал и мою фамилию. На середину вышагнул дед Редька.

— А ты что ж, мил друг, никак, всей семьей идешь?

— Нет, — ответила за меня мать. — Он записал себя. А мы пока что подождем.

— А как же со стригуном-то? — не унимался Иван Иванович. — В артель отдадите аль при себе оставите?

— Ничего не дадим, — отрезала мать. — Пусть идет голый. И наживается вместе с артелью. А мы свое нажили сами. И никому ничего не отдадим... — Она встала, накинула на голову платок. — Вот и весь сказ. А теперь прощевайте. Хватит воду в ступе толочь...

Она вышла. За ней встали другие бабы. За бабами потянулись мужики.

Проходя мимо стола, отчим, не подняв глаза, проговорил:

— Правильная ваша затея, ребятки. А только народ пужается. И Прасковья Ивановна покамест ни в какую. Ни на что не поддается. Ни на какую агитацию...

И вот мы остались одни. Рябчиков, Палыгин, я и трое других безлошадников. Долго молча смотрели друг на друга, будто виделись впервые. Потом Костя сказал:

— Начало положено, товарищи! Оформим артель. Назовем, как и хутор, именем Карла Маркса. Никто не против? Считается принятым. А теперь изберем председателя. Называйте кандидатуру...

Мы хором назвали его. Он кивнул, точно благодаря, и подытожил:

— Итак, ядро социализма зародилось и у нас. Теперь начнет расти и развиваться. Как плодородное дерево в хорошей почве...

Я не сомневался, что мать снова выгонит меня из дому, и перебирал в уме знакомых, где можно бы приютиться. Теперь я уже не чувствовал страха, как год назад, и не собирался прятаться.

Но мать не выгнала меня. Она только с нескрываемой горечью сказала:

— Живи как знаешь. Сам по себе. А мы сами по себе. И на нас не надейся. Чужой ты нам. Постоялец...

И, не желая слушать меня, вышла из хаты. А отчим, когда за ней закрылась дверь, попыттел трубкой и сказал:

— А ты не горюй, сынок. Мать, известное дело, расстроилась. Тяжко смириться с твоим отколом. Но юз этот самый вы образовали не напрасно. Я вот подумал и решил... Пора и нам начинать ломку. Хорошую жизнь никто на блюде не преподает. За нее, как видно, придется драться. А драться с пользой можно только сообща. То есть, значитца, коллективно. Так что верное приняли решение. И пусть он, ваш тоз, покамест не тоз, а тозик, все одно — великое дело. Минет время, и артель разрастется. И всех нас объединит. Всех до одного. И мать наша пойдет. Как увидит, что не подвох, так и потянется. Она ж себе не лиходейка. А покамест надо подождать. Требуется время... — И, вздохнув, покачал головой. — На многое требуется время. И на то, чтобы тоз образовать. И на то, чтобы кулаков одолеть. И на то, чтобы с отсталостью нашей покончить. На все требуется время. Даже на то, чтобы понять это самое время. Ну, значитца, в какое живем. И уж придется набраться терпения. Другого выхода нет...

В се же мы не выдержали и открыли клуб, едва началась весна. В клубе было зябко и сыро, но весело и вольно. Мы поставили стол перед окном, через которое прогревало солнце, и дышали паром.

Я пересказывал письмо Маши, которое получил накануне. Она работала на заводе ученицей и была довольна. А пересказывал я потому, что не мог прочитать. В письме были такие места, которые трудно объяснить. Ведь ребята до сих пор не знали всего. И потому-то я сказал, что забыл письмо дома, хотя оно лежало в кармане.

Ребята слушали с жадностью. Они уважали Машу и радовались за нее. Но не скрывали и огорчения. Нелегко было расставаться с единственной комсомолкой. К тому же расставание получилось странным. Маша уехала внезапно. Никого даже не предупредила. Это похоже было на бегство. Но от кого или от чего бежала Маша?

— Все ж таки удивительно, — сказал Андрюшка Лисицин. — Ну уехала к тетке. Так может быть. Допустим. Но почему ж не написала? Никому и ни слова. А так не бывает. И это недопустимо.

— По уставу мы можем даже исключить ее, — заметил Гришка Орчиков. — Три месяца пропадала. И, небось, взносы не платила?

— Платила, — сказал я. — Стала там на учет и платила. Об этом написано в письме. Я забыл сказать.

— Но почему ж все-таки столько молчала? — спросил Сережка Клоков. — Мы тут беспокоились. Что только не передумали! Ведь она ж нам не чужая.

— Не будем гадать, — предложил Володя Бардин. — Значит, была причина для молчания. Сейчас давайте ответим ей. Обо всем отчитаемся...

Предложение Володи понравилось всем.

— Ты записывай, — сказал мне Сережа. — А мы будем диктовать. Вначале напиши, что, конечно, рады. Пожури за молчанку. А потом и про дола. Хвалиться нам нечего. Но все

же не дрыхли на печи. За зиму приняли четверых. Ребята хорошие. Пропиши фамилии. Она ж их знает. Еще троих готовим.

— Обидно только, что не идут девчата, — пожаловался Володька. — Об этом тоже упомяни. Прямо ничем их не заманишь. Живут по старинке, мамам ни в чем не прекословят. А без девчат даже в комсомоле скучно.

— О суде над Лапониным не забудь, — подсказал Митя Ганичев. — Пятерку отвалили кулаку. За самогонокурение. А вот Дема и Миня так и отвертелись. Сухими из воды вышли. А это несправедливо. Не один же старик занимался поганым делом.

— От себя про Дему и Миню дописываю, — сказал я. — Сейчас отвертелись. Но мы их все же не оставим в покое. И добьемся своего. Они ответят за все. И ответят по всей строгости. Ничто не поможет им избежать кары.

— Про ликбез сообщи, — посоветовал Гриша Орчиков. — Работа идет полным ходом. Даже некоторые старики учатся. К примеру, мои родители. Грамотных на селе, считай, уже намного прибавилось.

— Но скоро с учебкой кончать придется, — добавил Володя. — Весна наступает. В поле выедут не только единоличники, а и тозы. Их пока что три на все село. К тому же они малочисленные и маломощные. Но все же это коммунистические зачатки. В тозы вступили и комсомольцы. Обещаем показать трудовой пример...

Неожиданно в клуб вошла Ленка Светогорова, наша карловская девчонка. Она осмотрела нас и осторожно приблизилась к столу.

— Тут, что ли; в комсомол принимают?.. Несколько мгновений мы молча главели на Ленку.

Потом разом вскочили и наперебой стали упрашивать ее садиться. Она загадочно усмехнулась, присела на скамью и отбросила назад толстую, цвета спелой ржи косу.

— Вот пришла, — сказала она, хлопая длинными ресницами. — С просьбой к вам. Примите, пожалуйста, в комсомол...

Я спросил ее:

— А зачем тебе комсомол? Ленка подумала и певуче ответила:

— Чтобы учиться. И чтобы передовой быть...

— А родители как? — спросил Андрюшка Лисицин. — Позволяют?

— Позволили, — ответила Ленка. — А если бы не позволили, не пришла бы.

— А ты знаешь, — заметил Володя Бардин, — что комсомольцы не верят в бога?

— Знаю, — пропела Ленка. — И тоже не буду верить.

— А сейчас веришь?

— Сейчас верю, — призналась она. — А почему ж не верить, коль не комсомолка?..

Я слушал Ленку и испытывал необычное волнение. Она была тоже хуторянка. Отец недавно записался в тоз. Это был первый середняк в нашей артели. А теперь вот дочь пришла в комсомол. Одна из самых лучших девушек. Что поет, что пляшет. А на работе равных нет.

Ребята расспрашивали Ленку и смотрели на нее, улыбаясь. Не скрывали радости, будто она становилась сестрой. Мне вспомнилась Маша, которой мы только что сочиняли ответ. Вот и явилась ей замена. И в ячейке не будет унылого одиночества. Ведь за Ленкой придут и другие. Теперь в это верилось.

Сережка предложил сейчас же принять Ленку. Но я возразил:

— Нет, нет! Так нельзя. Для всех устав один. Пусть подаст заявление. А мы договоримся о поручителях. И соберем ячейку. Чтобы все как положено...

Мне хотелось, чтобы прием прошел торжественно. И чтобы важность события почувствовала не только Ленка, а и комсомольцы. Сережке же не терпелось потому, что Ленка была его подружкой. Но он все же не настаивал на своем. И даже пообещал помочь Ленке подготовиться.

— Мы с тобой устав проштудируем, — сказал он, глядя на девушку во все глаза. — И о задачах потолкуем...

Когда Ленка собралась уходить, мы все, как по команде, встали. Она усмехнулась и, потупившись, спросила:

— Только скажите, косу в комсомоле обязательно отрезать?

— Нет, — сказал я. — Совсем не обязательно.

— Ну, что я тебе говорил? — упрекнул Сережка. — А ты все не верила. И боялась... — Он вдруг смутился, точно решив, что выдал себя. — Носи на здоровье.

— Такая чудесная коса! — сказал Володя. — И так идет тебе. Мы не только не заставим отрезать, а не примем, если отрежешь...

Ленка счастливо зарделась.

— До свидания! — проговорила она, скользнув по нашим лицам веселым взглядом. — Пойду готовиться...

Неторопливой походкой она вышла. А мы еще некоторое время смотрели на дверь, за которой скрылась будущая комсомолка. А потом Андрюшка сказал:

— Знаете что? Давайте объявим Сережке благодарность. Это ж он ее сагитировал.

Оттопыренные уши Сережки порозовели.

— Какая там благодарность! — простодушно воскликнул он. — Я ж ничего не добился. Маялся, маялся, а все без толку. Никак не поддавалась. Плюнул и броси*. Как хочешь, так и делай. А она вон явилась. Явилась сама по себе, без моей агитации.

— Слушайте, ребята, — сказал Володя. — А у меня есть предложение. Давайте решим так. Каждый должен вовлечь свою девушку в комсомол.

— А если ее нет, девушки? — спросил Гриша Орчиков. — Тогда как?

— Тогда надо заиметь, — предложил Митя Ганичев. — А потом и в комсомол вовлечь.

— А ежели она не вовлечется? — спросил Андрюшка Лисицин. — Ежели у нее трудный характер?

— Если так, — сказал Митька, — тогда побоку ее. И другую завести.

— А любовь? — встревожился Володька. — Как с этим?

— Любви не может быть с такой, какая не в ногу с нами, — разъяснил Сережа. — Сперва пускай сознание свое поднимет. А потом уж и в комсомольца влюбляется...

64

Все чаще и чаще раздавались требования отобрать у Комарова мельницу. Беднота не хотела мириться, что один человек владеет целым предприятием. И наживает огромные барыши. Да, он купил мельницу. Это так. Но за какие деньги? Разве честным трудом заработать такую уйму?

И вот я снова шагаю к мельнице. Поговорить с Комаровым по душам. А почему бы и нет? Он же все-таки человек, хоть и богач. И должен же понять. А если не поймет, тем хуже для него. Жизнь не остановишь. Она неумолимо движется вперед. И отбросит всякого, кто станет поперек пути.

И на этот раз я увидел Клавдию. От удивления даже поморгал глазами. Не обманывает ли зрение? Но зрение не обманывало. То была живая Клавдия. Она стояла у стены дома, подставив лицо неяркому солнцу.

Я окликнул ее. Она встрепенулась, глянула в мою сторону и заторопилась к калитке. В черной юбке, белой кофточке, с зачесанными назад темными волосами, она показалась какой-то другой. И лицо необычно задумчивое, будто с ней стряслось горе.

Подойдя к забору, Клавдия сказала:

— Здравствуй! А я только что думала о тебе. И хотела повидаться. Но не знала, где и как.

— Мне нужен твой отец, — в свою очередь, сказал я, словно оправдываясь. — О том, что ты дома, даже не подозревал. И очень удивился.

— Вчера приехала, — сказала Клавдия и почему-то опустила глаза. — А завтра уезжаю. Навсегда.

Она произнесла это «навсегда» отчетливо, точно подчеркивая. Но я сделал вид, что ничего не заметил. От этой встречи мне было все еще не по себе, хотя любопытство уже начинало разбираться. Хотела повидаться со мной. И уезжает отсюда навсегда. Что все это значит? Но я напустил на себя безразличие и будто ради вежливости спросил:

— Опять в город?

— Да, — кивнула Клавдия. — Работаю там. Чертежницей. Закончила курсы и поступила.

— И как?

— Ничего. Нравится...

Хотелось сказать, что и Маша Чумакова в городе. Но я удержался. Она ж не знает ее, Машу. Да и мне нет дела до нее, Клавдии. И я сухо повторил:

— Отец нужен. По важному делу. Он дома?

— Дома, — замялась Клавдия. — Но не один. У него гости. Не очень, чтобы такие... Ваши, деревенские. И я думаю: неудобно тебе...

Я почесал затылок.

— А вызвать нельзя? Так и так. Срочное дело. Прямо неотложное...

Клавдия подумала и открыла калитку. У дома сказала:

— Побудь здесь. Сейчас спрошу...

И почти тут же вернулась с отцом. Я шагнул к мельнику и, не поздоровавшись, сказал:

— Завтра обсуждаем вопрос... Беднота требует отобрать мельницу. Потому и беспокою. Лучше всего переговорить... Может, добровольно отдадите? Проникнитесь духом и решитесь. Так было бы удобней для вас. А мы бы выдали бумагу...

Суровое лицо мельника дрогнуло. Он посмотрел себе на ноги, помолчал. А потом предложил:

— Пойдем в дом. И там поговорим...

Он отступил, давая мне дорогу. Проходя мимо Клавдии, я заметил на лице у нее испуг. И невольно замедлил шаг. Но Комаров подтолкнул в спину.

— Пошли, пошли. На улице о таких делах не толкуют...

В знакомой комнате перед бутылками и тарелками сидели Дема Лапонин и пономарь Лукьян. Позади раздался железный шелчок, и Комаров, опустив ключ в карман, присел к столу.

— Вот теперь поговорим. И поговорим начистоту... — И, повернувшись к гостям, пояснил: — Прохвост за мельницей пришел. Слыхали? Сперва сто двадцать целковых содрал. Потом муки пятьдесят пудов увез. А теперь вот за мельницей явился. Что скажете?..

Я стоял у порога и не знал, что делать. В голову не приходила возможность встречи с Лукьяном и Демой у Комарова. Да еще когда они бурные от водки. Они тоже некоторое время пялили на меня помутневшие глаза. А потом Дема, передернувшись, процедил:

— Этот гадюка и нам причинил немалый урон. Чуть ли не всего исполу лишил. И отца в тюрьму упрятал.

— Тако ж и на церковную собственность покусился, — добавил пономарь. — В святом месте дьявольское гнездо свил. Вертеп сатанинский устроил...

— Видишь, сколько за тобой грехов, — сказал Комаров. — А их, грехи-то, искупать придется. Просто так не списываются.

— Учиним божий суд, — пьяно пробасил Лукьян. — Святую инквизицию.

— Какую там святую, — зарычал Дема, наливаясь кровью. — Самую что ни на есть чертячью. Задушить, как собаку, ив пруд с камнем на шее. На самое глубокое место. Пушай тоды комса ищет...

Вначале думалось, что они пугают. Но вскоре я понял, что ошибся. Они готовы были лопнуть от ненависти и живьем съесть меня. Я стоял, не чувствуя самого себя. А в голове пронеслись мысли: что делать, как вырваться?

Страх толкает на крайние действия. Так говорилось в какой-то книге. Так случилось и со мной. Не отдавая себе отчета, я шагнул к столу и схватился за спинку свободного стула.

— Душите! Вешайте камень! Бросайте в пруд! А только знайте: и вас в том пруду утопят! Всех до единого! Как бешеных! Что оторопели? Думали, ист пугаюсь? Как бы не так! Попробуйте тронуть! Не один к вам явился! Там ждут комсомольцы! Те самые, каких голодранцами величаете! Они разнесут этот дом, разгромят ваши осиные гнезда! Чтобы никогда не измывались над народом! И не обжирались за его счет!..

Не ожидавшие такого отпора, они сидели неподвижно, как в столбняке. И только когда я перестал кричать, Дема, точно опомнившись, вдруг грохнул кулаком по столу и рявкнул:

— Убью!

Он медленно поднялся. Но Комаров остановил его:

— Свяжем и запрем в чулане. А сами посмотрим, есть там кто или нет. Если они тут, голодранцы, выпустим. Не докажет, что было. Ну, а если никого нет... — Челюсти его, как жернова, задвигались, заскрежетали. — Тогда за все поплатишься, щенок. Шкурой своей поганой... — И, поднявшись, бросил гостям: — Принесу ремни. Покрепче скрутим...

Он вышел. А я стоял, впившись ногтями в спинку стула, и леденел от ужаса. Неужели выполнят угрозу? Что же делать? Броситься к окну? Но на окнах — двойные рамы. К тому же они с той стороны, где Дема. Перехватит и задушит. Кричать? А кто услышит? Клавдия? А может, она заодно с ними?

Комаров вернулся с ремнями.

— Надежные, — сказал он, распуская их. — Свяжем так, что и недохнет. Ну давайте...

Дема и Лукьян разом встали. Я поднял стул над головой и отступил к двери.

— А ну подходи, кто первый! Кому-нибудь, а проломлю череп! Подходи же! Ну!..

В ту же минуту в дверь раздался стук и послышался девичий голос:

— Папа, открой! К тебе пришли!

Для них это был удар грома. Они стояли, как поверженные. Я опустил стул. Неужели произошло чудо? Может, ребята и в самом деле нагрянули?

Стук повторился, частый, настойчивый. И голос Клавдии — нетерпеливый и встревоженный:

— Папа! Да открой же! К тебе пришли!..

Дема и Лукьян опустили на свои места. Они растерянно смотрели на дверь, словно оттуда должен появиться сам дьявол. Вынув ключ из кармана, Комаров дрожащей рукой вставил его в замочную скважину.

Дверь широко распахнулась, и снова послышался голос Клавдии:

— Пожалуйста, проходите!..

В комнату вошел мой дядя, Иван Ефимович. В руках он держал новые сапоги. Нет, не держал, а протягивал Комарову, как дорогой подарок.

— Вот получай. До срока заказ выполнил. Прошу учесть... — Но, заметив Дему, Лукьяна и меня, согнал с лица улыбку. — Да тут целая сходка. И даже мой племянник. Что за компания?.. — И мне строгим тоном: — Тебе чего тут надо? И отчего такой белый?

Я невольно провел рукой по лицу.

— Что мне надо, мое дело. А чего белый... Хозяин так угостил... — И мельнику официально: — Прошу, гражданин Комаров. Думайте и решайте. Три дня сроку. А пока до свидания!.. — И, не чувствуя ног, выбежал во двор.

Там ко мне бросилась Клавдия. Она тряслась, как в лихорадке.

— Все слышала и видела. Подсмотрела в замочную скважину. А когда отец пошел за ремнями, кинулась позвать кого-нибудь. И встретила его, сапожника... — И с шумом перевела дыхание. — Господи, что ж это делается! Что творится на белом свете!

С благодарностью я пожал ее руку. Но сказал спокойно, даже беспечно:

— Зря волновалась. Нарочно они это. Чтобы пострадать. А только мы не из пугливых...

65

Крупный и густой дождь лил непрерывно. Последние сугробы в кружках взялись водой и двинулись навстречу Потудани. Скоро река затопила прибрежный луг, подступила к огородам. Кудлатые и безлистые вербы над водой сразу уменьшились, будто их подрубили, и выглядели корявыми кустами.

Нечего было думать о доме. В такую погоду ни пройти, ни проехать на хутор. По непролазной топи я еле добрался до Бардиных, живших неподалеку от сельсовета. И раньше мне приходилось ночевать у них. Теперь же и подавно ничего другого не оставалось.

Заодно я прихватил с собой новые материалы рабфака на дому. Володька тоже трудился над ними. И каждую бандероль ждал с нетерпением.

Мы сразу же отправились в безоконную пристройку, называвшуюся клетью. Там мы спали на узком лежаке, сколоченном из досок. А перед сном при свете коптилки дискутировали. Так и в этот ненастный вечер. Закрывшись на засов, мы принялись за новый материал. Но гранит на этот раз оказался слишком крепким, и грызть его не хватало сил. А тут еще дождь. Его монотонный шум за тонкой стеной клонил ко сну. Зевота до боли; растягивала рты, а холод забирался в самую душу. И мы сдались.

Разбудил нас тревожный стук. Это была Домка Землякова. Володька зажег коптилку, открыл дверь и снова юркнул под лоскутное одеяло. Домка вошла и остановилась за порогом. Она была вся мокрая, точно только что вылезла из реки. С высоко подоткнутой юбки по красным от холода ногам стекала вода. Рыжие волосы из-под шерстяного платка мокрыми прядями прилипали ко лбу и пухлым щекам. И все же выглядела вдова бойко, даже задиристо, будто собиралась драться. Скосив на нас узкие глаза, она насмешливо проговорила:

— Дрыхнете, молодчики? А вода греблю размывает.

Мы разом привстали на соломенном тюфяке.

— Какую греблю? — спросил я, чувствуя озноб во всем теле. — Что ты мелешь?

— А что слышишь, то и мелю, — огрызнулась Домка и вдруг сникла, будто решив, что незачем юродничать. — Комаровскую греблю вода размывает. Мельник в город сбежал, а заставни оставил закрытыми. Вот вода и переполнила пруд. И уже через греблю хлынула...

Мы переглянулись, словно спрашивая друг друга, верить или нет.

— А ты откуда знаешь об этом?

— Знаю, коль говорю, — опять окрысилась вдова. — И советую: поживей поворачивайтесь. А то поздно будет.

— А почему Лобачева не предупредила?

— А где он, твой Лобачев? — переспросила Домка. — С вечера куда-то смотался. И до сих пор глаз не кажет. Даже жена не в курсе... — И с вызовом глянула на меня. — Вот и решилась тебя разыскать. Принимай моры, рашпиленок. Не то на первом же собрании костей не соберешь...

С этими словами она шагнула в темноту и с силой захлопнула дверь. А мы снова тревожно переглянулись. Володька первым пришел в себя и рывком выбросился из постели. Дрожа всем телом, я последовал его примеру. Под топчаном нашлись два пустых мешка. Мы сложили их капюшонами и надели на головы. Володька снял с гвоздя веревку и где-то отыскал зубило.

— Голыми руками замки на заставнях не возьмешь...

Засучив штаны выше колен, мы выскочили во двор. Холод неласково обнял нас, острыми колючками впился в босые ноги. Кругом шумел дождь, и казалось, кроме этого шума, на свете ничего не было. И все же в груди теплилась радость. Сработала-таки хитрость. Испугался Комаров народа. Бросил мельницу и унес поганую душу. Ну и скатертью дорога. Сгинуть тебе, кулак, на веки вечные.

А еще радовала Домка Землячиха. Какой смелой оказалась вдова! В какую пору явилась! Что же заставило? И откуда дозналась?

Мы двигались по нижней улице. Она вся была сплошь затоплена жидкой грязью. Под ногами то и дело попадался нарастающий лед. Он обжигал подошвы. Мы двигались друг за другом: я впереди, Володька за мной. Дождь густым потоком падал с черного неба. Темень была такой плотной, что ничего не виделось перед глазами. Каким-то чутьем я угадывал хаты. Прижатые ливнем к земле, они тянулись навстречу. Но вот и последняя. Сейчас дорога должна раздвоиться. Одна пойдет направо через Молодящий мост на Карловку, другая поползет на косогор. Эта другая и ведет на мельницу.

Я держусь левой стороны и скоро замечаю, что мы поднимаемся в горку. Нет, чутье не обмануло меня. Мы на верном пути. Володя все время окликает меня. Я каждый раз отзываюсь. Наши голоса вспыхивают в шуме и тут же гаснут, будто залитые дождем.

На пригорке в общий шум врывается какой-то грохот. Я останавливаюсь, прислушиваюсь. Володя тыкается мне в спину и тоже останавливается.

— Это мельница, — говорит он. — Работает.

— Значит, Комаров не сбежал? — спрашиваю я. — А Домка наврала?

— Нет, — уверенно отвечает Володя. — Если бы Комаров был дома, мельница не работала бы. Не стал бы пускать в такую ночь...

Под горку мы не шли, а скользили по грязи. Я сбил пальцы о камень. Боль была режущей, но я скоро забыл о ней. Мельница и впрямь работала полным ходом. Оба колеса сбрасывали воду. А внутри вхолостую кружились жернова. Высекаемые камнями искры прошивали темноту. Было жутко. Казалось, во тьме и грохоте таятся сами черти. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и прислушивались. Но, кроме звона жерновов, грохота колес и шума дождя, ничего не различали. Зачем Комаров пустил мельницу? Чтобы испортить жернова? Или вывести из строя колеса? Сколько же злобы в этом человеке! А ведь в церковниках ходил, в святошу рядился.

Но эти мысли владели мной лишь короткую долю времени. Их сменили другие, требовавшие действия. Остановить мельницу. Для этого перекрыть лотки заставнями. И преградить воде путь к мельничным колесам.

Я увлек Володю во двор. Скользя и падая, мы подобрались к лоткам. На них не было заставней. Они исчезли бесследно. Должно быть, сам Комаров спрятал. Остановить мельницу нельзя. Она будет работать, пока не рухнут под водяным напором колеса.

— На большой мост! — крикнул я Володе. — Снимать не только верхние, а и средние заставни! Тогда уровень воды опустится ниже лотков, и мельница сама станет!..

Держась друг за друга, мы двинулись по гребле. Через нее перекачивалась вода. Она уже размывала насыпь, сбрасывала под откос комья и камни.

Чем дальше, тем труднее было идти. Местами вода доходила чуть ли не до колен. А огромный пруд, по которому хлестал дождь, все напирал, и, казалось, ничто уж не устоит перед его натиском. Но мы все же двигались вперед, дрожа от холода и страха. Где же этот большой мост? Только бы добраться до него. Сбить замки и поднять заставни, и тогда злые потоки устремятся в проемы. И уровень в пруду станет понижаться. Вот только бы добраться до большого моста!..

Неожиданно Володя споткнулся, свалил и меня. На секунду голова моя оказалась в воде. Она хлынула в рот и нос. Я вскочил и долго отфыркивался грязью. А когда снова взял Володю за руку, услышал его испуганный голос:

— Ничего не сделаем! Опоздали! Надо уходить!.. Я с силой потащил его вперед. Несколько минут мы шли, скользя в воде. Но вот ноги ступили на ровную и твердую

поверхность. Это был мост. Через него также сбегала вода. Но перила еще возвышались над ней. Да и поток на мосту не был сильным.

Замки на заставнях оказались под водой. Чтобы подобраться к ним, надо было спуститься в воду. Володя вызвался попробовать первым. Я обвязал его одним концом веревки, другой обмотал вокруг себя. И держал все время, пока он по плечи в воде отыскивал замок. И вот радостный крик:

— Есть! Порядок!..

Но замок не поддавался. Не раз Володя с головой уходил под воду. Наконец, он приподнялся и прокричал:

— Не сломать!

— Перейди на другой! Может, с тем сладишь?.. Володя послушался и, поддерживаемый мною, передвинулся на соседнюю заставню. Но и на той замок оказался крепким. Володя долго и бесполезно возился с ним. Я уже собирался остановить его, чтобы самому попробовать, как вдруг почувствовал под ногами толчок. Страшная мысль полоснула мозг. Не раздумывая, я потянул за веревку.

— Назад, Володя! — кричал я в испуге. — Скорей вылезай!..

Проникнувшись тревогой, Володя быстро поднялся, перевалился через перила. В ту же минуту мост снова дрогнул, с треском пошатнулся и медленно двинулся. Мы со всех ног бросились к гребле. С разбега я упал на землю, ногтями впился в глину. Веревка рванулась в сторону и туго натянулась. Должно быть, Володю отбросило за насыпь. Позади раздался грохот. Затем все заглушил рев.

Ноги мои свисали над пропастью. Я все глубже впивался пальцами в греблю. Но это не спасло бы меня, если бы не веревка. Она тянула в сторону и удерживала на земле. Поняв это, я осмелел и осторожно пошарил ногой. И задел что-то твердое. Боковая свая? Да, это была она. Упершись в нее, я стал подтягиваться. Вот и вторая нога уперлась в дерево. Я заметил, что барахтаюсь в грязи. Вода уже схлынула с гребли и теперь ревела там, где был мост. Упираясь ногами в сваю, я потянул веревку. Она задергалась, будто отвечая. Не помня себя, я заорал:

— Во-ло-дя-а!

Внизу послышался ответный крик. В диком реве он показался стоном. Я снова потянул веревку. Скорей! Скорей! Может, он ранен? Может, нуждается в помощи?

Веревка поддавалась с трудом. Боясь сорваться, я тянул медленно. И наконец увидел его, Володю. Он карабкался на греблю, подтягиваемый мною. Вот и совсем вылез, лег рядом.

А внизу могуче рычал поток. В прорву устремлялась вода, скопившаяся в пруду. За греблей, широко разливаясь по лугу, она уносила последние обломки- моста.

Отдышавшись, мы встали. И вдруг заметили, что дождь перестал. А на востоке уже сияла светлая полоса неба. Начинался рассвет. Володя глянул в прорву и, вздохнув, сказал:

— Ах ты ж беда! Не отстояли!

— Зато мельница остановилась, — заметил я. — Послушай...

И в самом деле, колеса уже не ворчали, не плескались наплывом. Да и рев в прорыве глох, терял силу. С каждой минутой вода в пруду оседала, и натиск ее слабел.

— Ладно, — сказал Володя. — Леший с ним, с мостом. Он же был старый. А мы построим новый. Мельница-то теперь наша.

— Да, да! — подтвердил я. — Теперь мы хозяева и мельницы и пруда. Законные...

Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. На нас не было места, не залепленного грязью. Только зубы в предрассветном сумраке сверкали белизной.

Объединенное заседание сельсовета и селькредкома, на котором обсуждался вопрос о восстановлении брошенной Комаровым мельницы, затянулось до полуночи.

Домой я возвращался один. Костя Рябчиков приболел и на заседание не явился. Ночь стояла темная, но грязи уже почти не было. Жаркое солнце за несколько дней подсушило землю.

Я шел торопливо, насвистывая «Молодую гвардию». Всякий раз, когда приходилось идти ночью одному, я насвистывал этот марш. А насвистывал, чтобы отогнать страх. Сколько ни приходилось мне блуждать по ночам, я так и не мог побороть это чувство.

Так свистел я и в эту ночь. И свистом давал знать, что мне море по колено. А сам напряженно зыркал глазами по сторонам. Особенно напряг зрение между Молодящим мостом и Карловкой, когда дорога пошла меж кустами. Жуткая четверть версты перед самым хутором, поблизости от вековых дубов, на которых грачи уже свили гнезда. За каждым кустом чудился притаившийся леший либо в образе злого духа, либо в образе дикого зверя. Леший вот-вот должен наброситься на меня, растерзать в клочья. И я громко свистел, а сам с отчаянием считал медленно тянувшиеся минуты. Вон она, родная Карловка! Совсем близко, рукой подать. Там-то уж нет ни диких зверей, ни коварных духов. А вот тут, на мрачном, заросшем ольховыми кустами болоте, тут сердце так трепетало, что готово было расстаться с телом. Тут оно предчувствовало что-то страшное.

И предчувствие не обмануло его. Внезапно на дорогу вышли двое. Лица их были обмотаны чем-то темным. И только глаза сверкали, как у голодных волков.

Я невольно замедлил шаг. Они молча подошли. Коренастый и плечистый ударил меня в лицо. Я отшатнулся, но сразу же стремительно ринулся на него и тоже ударил в лицо. Он отпрянул назад, а я бросился по дороге. Но в ту же минуту другой, худощавый, чем-то ударил меня сзади. Боль отшвырнула в сторону. Худощавый споткнулся о мою ногу и грохнулся на землю. Что-то тяжелое звякнуло на дороге. Я кинулся к кусту, но тяжелый удар в голову свалил меня.

Потом удары посыпались на меня, как каменные глыбы. Я закрывал лицо руками, но невольно хватался за грудь, бока. Они топтали меня, били сапогами. Боль нестерпимо полосовала тело, но я сдерживал стон. Ничто в эту минуту не могло разомкнуть мои челюсти.

А они продолжали бить, топтать. Это длилось долго. Тело перестало чувствовать. Может, потому, что на нем уже не было живого места?

Новый удар по голове. Яркая вспышка в глазах. И черная пелена. И как будто тут же новая вспышка. И рвущая боль во всем теле. После забытья сознание снова ожило. А слух уловил приглушенные голоса:

— Живучий большевичок.

— Отжился ленинец. Навек задохся.

— По кустам понесем?

— К черту по кустам. Вымокнем. А то и завязем.

— Как же тогда?

— Поволокем по дороге к берегу. А там сбросим в воду, и поминай как звали.

— Пойду камень возьму. Где он тут?..

Я сильнее стиснул зубы, боясь обнаружить жизнь. Не испугала речка, в которой они собирались утопить. Все, что угодно. Только бы не стали снова бить.

Вдруг один из них тревожно сказал:

— Кто-то едет. Другой тут же ответил:

— Да. Кого-то несет.

— Бери его. Потащим в кусты.

— Дюже нужен. И тут не заметят...

Они оставили меня на обочине и скрылись. Я напряг все силы и неслышно пополз к дороге. А стук колес и лошадиный топот уже приближались. Кто-то гнал коня рысцей. Я полз медленно, цепляясь руками за землю. Ползти было трудно, все внутри переворачивалось. Хотелось прилечь, передохнуть. Но нельзя было останавливаться. Не успеть — значило погибнуть.

А вот и дорога. И лошадь уже рядом. Я собираю оставшиеся силы и привстаю на колени.

— По-мо-ги-те!..

Лошадь шарахается в сторону. Но возница удерживает ее. И останавливается передо мной. Я узнаю его. Сосед Иван Иванович, дед Редька. Он спрыгивает с телеги, наклоняется надо мной.

— Кто тут? Никак Хвиля?

— Скорей! — шепчу я. — Они рядом. Убьют и вас... Иван Иванович с живостью подхватывает меня, кладет в телегу. Потом вскакивает сам и хлещет коня. Тот с места берет рысью.

— А-а! — ликующе тянет Иван Иванович. — Вот они! Гонятся! А ну-ка, потягаемся!..

Он привстал на колени и принялся хлестать лошадь кнутом. Та перешла на галоп и стремительно помчалась вперед. Меня швыряло из стороны в сторону. Боль туманила сознание. Но и на этот раз я не разжал челюсти. Нет, и теперь враги не услышат моего стога.

Когда они отстали, Иван Иванович придержал лошадь и повернулся ко мне:

— Ну как, здорово помяли? Э, да ты весь в крови! Может, в больницу?

— Домой, — сказал я. — Скорей домой... Иван Иванович звучно сплюнул на обочину.

— Ах бандиты! Под суд их, проклятых!.. — И, снова наклонившись надо мной, запричитал: — Ай, ай, ай! Как они тебя! Креста на них нету! Да ты хоть распознал?..

Я и сам думал об этом. Кто были они? Плечистый и худощавый. Неужели Дема и Миня? Но, может быть, и не они? Может, другие кто-либо?

— Нет, не распознал. Закутали лица чем-то.

— Как это закутали?

— Не знаю. Чем-то обвязали. По самые глаза... И голоса оттого глухие...

Дед Редька снова закачался и запричитал:

— Ай, ай, ай! На убивство шли. И за нами неспроста гнались. Добить хотели. Не люди, а звери. И как же ты, господи, терпишь таких?..

Въехав к нам во двор, он снял меня с телеги, помог дойти до крыльца и постучал в дверь. А когда в сенях послышались шаги и отчим спросил, кого бог послал, повелительно крикнул:

— Принимай пасынка, Данилыч! Да поживей! Побитый парень!

Напуганный отчим не скоро открыл дверь. А когда увидел меня, ахнул:

— Кто ж тебя так-то? Да у кого ж налегла рука? С помощью Ивана Ивановича он завел меня в комнату, помог лечь на топчан. На ходу повязывая юбку, вошла мать. Как подкошенная упала передо мной на колени:

— Убили! Убили, изверги!

— Не убили, мама, — сказал я. — Живой. И буду жить...

Но мать не долго плакала. Она бросилась на кухню, чтобы согреть воды и помыть меня. Иван Иванович собрался уходить. Я остановил его:

— Прошу... никому об этом... Не надо будоражить людей... И сеять страх...

Пообещав молчать, дед Редька ушел. А отчим с большими предосторожностями принялся раздевать меня.

67

Тишину разорвал громкий плач Дениса. А потом послышался грозный голос матери: — Ах ты стервец! Ах ты паршивец! Я же тебе покажу! Сейчас ты у меня заплашешь!..

И вслед за тем — стук, крик, плач. Я прислушивался и удивлялся. Никогда еще мать не била Дениса, своего любимчика. Больше всех доставалось мне.

На меня она не жалела ни палки, ни веревки. И вдруг такой оборот. Должно быть, очень набедокурил парень?

Спустя некоторое время, когда за стеной улегся шум, ко мне зашел отчим. Вид у него был игривый, в глазах плясали смешинки. Усевшись на табурет, он пальцами разделил бороду и спросил, кивнув на горницу:

— Слыхал? Как мамка Дениску-то? Ух, как она его!.. Насилу отнял... — И беззвучно рассмеялся, вытирая слезящиеся глаза. — И ведь что придумал, пацан! Прямо комедия! Ей-богу! Мудрец не дотемя шит... — Он ближе придвинул табурет и, оглянувшись на дверь, продолжал: — Странности заметила мать. Молоко, видишь ты, стало испаряться. Да, да, испаряться. И не просто молоко, а самый вершок, сливки то есть. Истопит кувшин, поставит в погреб целый с пеночкой, а через день аль два смотрит и глазам не верит. Четверть кувшина испарилась. Ну, то есть прямо улетучилась. И притом пеночка в полной исправности. Никак и ничем не тронутая. Что за оказия? Куда девается молоко? А в другом кувшине — ничего. Все в порядочке. И так, почитай, целый месяц. С той поры, значитца, как ты свалился. Мать и так и этак. И кувшины переменит и местами переставит. Все одинаково. В одном обязательно испарится. И это при нетронутой пеночке. К бабке-гулянихе мать ходила. Ну, та подсказала. Домовой, дескать, пристрастился. С другой еды на молоко потянуло. Мать после этого малость успокоилась. Домового-то, чай, тоже кормить надо. Домовой-то не чужой, а собственный... — Он погладил бороду и весело улыбнулся. — А нынче этого домового мать и сцапала. Заглянула в погреб и увидела картину. Дениска это сидит на корточках и через соломинку из кувшина молоко тянет. Видишь, как пристрастился. Проткнет незаметно пеночку где-нибудь с краюшку, всунет соломинку и цедит. Вот так-то. Цельный месяц — дополнительное питание сливочками. Ну мать и дала ему сливочки. Так отхлестала веревкой, что, должно, рубцами покрылся. Если бы не отнял, чего доброго, засекла бы. Так рассвирепела... Да оно и то сказать. Молока-то не жалко. Загадка страху нагнала. Как явление какое-то. Хоть молебен служи. Сроду ж подобного не бывало. И главное, с той поры, как тебя подбили. Что тут было думать? Как все понимать?..

Рассказ прервала мать. Она принесла кружку молока, протянула мне:

— Выпей, сынок. Цельное. Скорей поправишься... Подавив улыбку, я выпил молоко. Оно походило на сливки. Как видно, губа у Дениса не дура. И, как видно, нелегко ему будет отвыкать от такого лакомства.

Мать увела отчима. Надо было вынести лохань с пойлом для коровы. А я опять подумал о Денисе. Ну и ловкач же малый! До чего додумался! А мать заметно подобрела, как меня покалечили. Но кто же все-таки покалечил? Кто они, коренастый и худощавый? И почему закутали рожи? Боялись, что узнаю? Значит, я знал их, раз боялись? Но если собирались убить, чего же было бояться?

Снова в памяти всплыло все, что произошло потом. Утром отчим на соседской лошади привез докторшу. Она осмотрела меня и сокрушенно покачала головой.

— Это ж надо так драться! И что, спрашивается, не поделили?

Потом Денис сбегал за Прошкой Архиповым. Выслушав меня, тот заявил, что немедленно соберет ячейку.

— Кулацкая расправа. И мы должны реагировать...

Еле удалось удержать его. Может, все-таки не кулаки? Но если они, тем более надо быть осторожным. Расправой они рассчитывали напугать молодежь. Так зачем же помогать им? Не лучше ли сохранить все в тайне?

С доводами моими Прошка согласился. Но в райком все же смотался. На другой день явился Симонов. Он выглядел встревоженным, но слушал спокойно. А когда я кончил, уверенно заключил:

— Вылазка врага. Классовая месть. Диалектика...

Однажды я уже слышал от него это слово. А сказал он так, когда узнал о краже антенны. Наверно, лучше всего этим словом выражать вражескую подлость. Но оно

напомнило мне о детекторе. Почему он до сих пор не вернулся к нам? Я осторожно спросил об этом секретаря райкома.

— Какой детектор? — переспросил тот, думая о чем-то. — Ах, да! — встрепенулся он. — Прости, забыл. Изжили они себя, детекторы. Скоро будут настоящие радиоприемники. Ламповые, с батареями и -ромкоговорителями... — Внезапно он прервал себя, непривычно смутился и сказал: — Да ты не думай об этом, Федя. Знай себе поправляйся. Это сейчас главное. А все другое прибудется...

А потом пожаловал следователь в сопровождении Музюлева. У следователя было землистое лицо и отчужденный взгляд. Он допрашивал меня так, как будто я сам избил себя. А Максим сидел на топчане и не сводил с меня глаз. Теперь они были добрыми, его гл аза.

Когда я рассказал обо всем, что случилось, следователь спросил, узнал ли я нападавших. Я покачал головой и сказал:

— Нет.

Тогда следователь все так же строго осведомился, подозреваю ли я кого-либо. Я подумал и снова заявил:

— Нет.

— А тут и подозревать нечего, — вмешался Максим. — Без подозрений все ясно. Как божий день. Кулацкая работа.

Следователь наморщил бугристый лоб и заметил милиционеру:

— Правосудие руководствуется фактами, а не домыслами. И я просил бы вас... Мы с вами не на собрании...

Допрос длился долго. Я изнывал от боли и усталости. И готов был взмолиться, как следователь захлопнул портфель. Но Максим задержался. Стоя перед топчаном, он сказал:

— Прокуроры — это само собой. Пускай копаются сколько хотят. А я не выпущу этого дела. Тут пахнет контрой... — Он вдруг потупился, часто заморгал глазами. — Только ты не подумай. Я берусь за это не ради славы. Нет. Я тоже кое-что понял. Кулаки не лучше бандитов. И пока мы не избавимся от них, жизни не будет.

Я часто вспоминал эти слова. И проникался к Максиму уважением. За последнее время он заметно изменился. Будто вырос на целую голову. И уже не хотелось называть его обидным и несуразным словом Моська.

И еще одно свершилось, пока я валялся в постели. Состоялась районная конференция комсомола. О работе райкома отчитывался Николай Симонов. Он похвалил и нашу ячейку. На конференции меня избрали членом райкома. А потом собрался пленум. На пленуме было избрано бюро райкома. В числе членов бюро оказался и я.

Тогда же меня утвердили заведующим отделом труда и образования районного комитета комсомола.

Об этом событии рассказал Прошка Архипов. Он горячо поздравил меня с выдвижением. Рады были мать и отчим. Еще бы! Незадачливый сын становился районным работником.

А я испытывал огорчение. Не хотелось расставаться со Знаменкой. А кроме того, опять терзало недоумение. Что нашли они во мне достойного? Почему и за что доверили важный пост? Неужели не могли в целом районе найти лучше?

Я замахал перед собой руками, отгоняя нудные мысли, будто они были дымом. Почему я о себе так думаю? Может, и в самом деле люди лучше видят, чем я сам? Да и не пора ли покончить с боязливостью?

В комнату несмело вошел Денис. Глянул на меня заплаканными глазами.

— Знаешь?

— Знаю.

— Не примешь в комсомол?

— Это от тебя зависит. Если больше так не будешь...

— Никогда в жизни!

— Верю. А теперь походи и попроси у матери прощения.

Денис опустил глаза.
— Не пойду.
— Почему?
Денис передернулся всем телом.
— Больно дерется.
— Ну, как знаешь...
Денис вскинул на меня испуганные глаза.
— Пойду. Только не обмани...

68

Денис ушел за прощением. А я встал и принялся ходить по комнате. Так делал по несколько раз в день. И это помогало. Правда, плечо все еще давало знать, а бок по-прежнему схватывало клещами. Но все же это было совсем не то. Теперь хоть сгорбившись, а можно было передвигаться без помощи. А главное, с каждым днем становилось лучше. И уже не за горами было время, когда кончится это невольное домашнее заключение.

Перед окном прошли двое. Я узнал Прошку Ар хипова. Но кто же была девушка? Лена Светогорова? Пока что никто не заглядывал ко мне. Может, Прошка уже снял запрет? Или для Ленки сделал исключение?

Это была Маша Чумакова. Мы долго смотрели друг на друга. Прошка кашлянул в кулак и сказал, что ему нужно к Косте Рябчикову.

— Передать повестку. Председателей тозов в район приглашают. Насчет посевной...

Я взглядом поблагодарил его. И, когда мы остались одни, сказал:

— Маша, неужели это ты?..

Она больно обняла меня, головой прижалась к груди. А потом, порывисто отстранившись, сказала:

— Как они тебя!

— Ты бы посмотрела тогда, — рассмеялся я. — Живого места не было.

— И сейчас лицо — вон синее.

— Лицо — пустяки. Уже проходит. А вот бок... Он никак не заживает.

Маша была все та же и какая-то другая. Юнг-штурмовка ладно сидела на ней. Пояс перетягивал тонкую талию. На лацкане левого кармана блестел комсомольский значок. А голова была повязана красной косынкой.

Я взял ее за руки и почувствовал загрубелость ладоней. Они еще больше потемнели, будто в них несмываемо въелась заводская копоть.

— Машенька... Как я рад...

Маша посмотрела на меня долгим взглядом и улыбнулась.

— Я тоже рада...

Я снова взял ее крепкую и жесткую руку.

— Надолго?

— На три дня.

— Так мало?

— И то еле отпросилась. Работа ударная.

— А зачел» приехала?

— Тебя проведать... — И, заметив мое счастливое удивление, пояснила: — Симонова встретила в обкоме. В отдел рабочей молодежи заходила и встретила. Он рассказал о тебе. Я так переживала. И вот приехала.

Я крепко сжал ее руку.

— А почему уехала? Так внезапно, тайком. Прямо сбежала. Почему? Из-за Мини?

Маша отвела глаза.

— Из-за него ли? Гадина, причинил мне такую боль. И сейчас не могу спокойно вспоминать. А уехала, если хочешь, сбежала из-за тебя.

— Из-за меня?

— Да. Я любила тебя. Любила крепко. Но ты не любил. Я поняла это тогда. Ты опасался. Но не отговаривал. И не волновался. Нет, ты слушай... И я поняла. Конечно, я все равно пошла бы. Даже если бы запретил. Ничто не остановило бы меня. Но тогда я была бы смелее. У меня было бы больше сил.

И мне легче было бы бороться. А так... Я шла туда убитая. Шла, как на погибель. И даже не верится, что устояла. Чудом каким-то спаслась. А когда вернулась — и совсем убедилась. Ты так обрадовался. Но не мне. Не тому, что я выдержала. А тому, что узнала. И я решила: это все. Сердце ошиблось. Никакой надежды нет. Мой Никталоп не найдет меня. И стало так горько, так тяжело, что я не выдержала. И уехала. А чтобы легче было расставаться, уехала тайком, внезапно... — Она снова глянула на меня, печально улыбнулась. — И вот работаю на заводе. А Знаменка... Она останется в сердце. Навсегда... — И опять на лице улыбка, но теперь виноватая, застенчивая. — Вот и разговор. Приехала проведать, а принялась упрекать. И в том, в чем не упрекают. Так что прости, Федя. Само собой получилось. Не обижаешься? Я покачал головой.

— Вот и хорошо. И договоримся. Не будем будоражить прошлое. Не сбылось, не стало. Значит, не судьба. Договорились?

Я утвердительно кивнул.

— Вот и хорошо, — повторила Маша. — И я рада. Рада, что увидела тебя. И на родине побывала. А через два дня уеду. К своим рабочим ребятам. Я им много рассказывала о вас...

Она замолчала и устремила взгляд куда-то. Потом принялась рассказывать о заводе, и в голосе ее зазвучала гордость. Там она чувствовала себя не хуже, чем в Знаменке. Ее окружали такие же друзья. Они помогали во всем. А завод перестраивался быстрыми темпами. Менялось старое оборудование. Росли ударные отряды. И потоком шли нужные стране машины. .

Я слушал и не перебивал. И радовался за нее.

69

Мы собрались в нашем клубе. Прощальная комсомольская сходка. Первым начал Прошка Архипов. Как дьячок, он завел настоящий хвалебен, и я закрыл ему рот ладонью. Ребята засмеялись и дружно закричали:

— Правильно!..

А Володька Бардин серьезно заметил:

— Если фонтан чересчур бьет, надо заткнуть его... Потом вспоминали былые дни. В них много было радостного и горестного. Нет, радостного, пожалуй, больше. И в горестях мы часто находили радости.

Илюшка Цыганков тронул меня за плечо и конфузливо признался:

— Слышь, Хвиля, а я и правда подкапывал. Думал, не настоящий ты. И с Клавкой Комаровой... А началось все с Цезаря. Как приравнял к императору, так я и взъерепенился. А теперь вижу: все зря. И делаю вывод...

А Сережка Клоков серьезно посоветовал:

— Не зазнавайся. И нос не дери. Член бюро райкома — это фигура. Но бывает и фигура — дура...

Потом говорили другие ребята. Тронули напутствия Яшки Полякова и Семки Сударикова — самых молодых комсомольцев. Яшка попросил не забывать ячейку.

— Она ж для тебя вроде бы вторая мать... Семка же предложил не задерживаться на полпути:

— Смелей иди в гору. И не хнычь, ежели будет трудно...

Даже Ленка Светогорова и та не утерпела.

— Ты же наш, карловский, — сказала она, глядя на меня лучистыми глазами. — А карловцы — хорошие парни. Вот и оставайся хорошим навсегда...

В конце я держал ответную речь Мне хотелось сказать многое. Мысли теснились в мозгу, забегали одна за другую. А слова получались какие-то корявые, невразумительные. Совсем запутавшись и расстроившись, я заявил:

— Не будем распускать нюни. Раз надо, значит, нужно. И прошу: не сомневайтесь. Где бы ни был, останусь таким же. И никогда не забуду родину...

После этого я начал было прощаться, но Прошка Архипов остановил меня:

— Мы пойдем с тобой...

И вот мы всей ячейкой двинулись по селу. Мы шли в ряд и пели комсомольские песни. И весеннее утро от этого становилось еще светлее и радостнее. Нам улыбались люди, выходявшие из хат. Нас приветствовало солнце, поднимавшееся над балкой.

На окраине мы остановились. Прошка Архипов обнял меня, щекой прижался к щеке. Так же простились и другие ребята. А Ленка даже поцеловала меня. Я же кивнул всем, будто поклонившись, и сказал:

— До свидания, великие голодранцы!

И пошел по дороге с узелком в руке. Я шел и чувствовал на себе их взгляд. Но не оборачивался, хотя трудно было удержаться. А не оборачивался потому, что боялся показать мокрые глаза. И только когда отошел далеко, оглянулся и поднял руку. Они тоже подняли руки и помахали мне.

— До свидания! — повторил я сквозь слезы. — Всего хорошего, дорогие друзья!..

Стихи

Михаил ДУДИН

*

Блестит на солнце кремнезем.
На скатах гор подсохла глина.
Прозрачным жидким янтарем
Сквозит Цхалтубская долина.

Звенит ручей, как старый стих.
Как откровение и почеть.
И мир разнежился, притих.
Сам на себе сосредоточась.

Душа становится добрей.
Ей все смятения излишни.
Чирикнул первый воробей
На тонкой ветке лавровишни.

И смолк. И снова тишина
Светла, свежа и благодарна.
И над долиной вышина
До бесконечности янтарна.

Холодное утро Цхалтубо

На пиниях иней, как маска на скулах
врача.

И очерк горы. И за нею в бездонности
синей
Плывут облака, на холодном ветру
клокоча.
И пар над провалом. И иней не падает
с пиний.

Согрей мое сердце и скорбные руки
скорей.
Здесь колются звезды и ночи
безжалостно долги.
Согрей их приветом, далеким дыханьем
согрей
И сдунь, словно иней, со старого сердца
иголки.
Не сердце, а кактус растет, распускаясь
в груди,
И давит на ребра, и гасит ночные
светила.
Ты памятью в память скорее ко мне
приходи,
Как в жизни и смерти спасеньем
ко мне приходила.

Я жду тебя, слышишь! За горной гряды
перевал
Летит мое слово, а ветер холодный,
нахрапист,
Его оборвал и обвалом под камни
в провал.
Ни слова. Ни эха. Кончается ночи
анапест,

Я жду тебя, слышишь! Гремит водопад,
клокоча,
И тень от горы закрывает в тумане
долину.
На пиниях иней, как маска на скулах
врача.
Я выйду в ущелье. Я каменных гор
не раздвину.

Я вслушаюсь в утро, как мальчик
в плохие стихи.
Как в грубый подстрочник, который
не ждет перевода.
На пиниях иней. В Цхалтубо поют
петухи,
И запахом хлеба спокойная дышит
природа.

Памяти Симона Чиковани

Есть удивительные грани
Поэзии братского родства.
Чеканил слово Чиковани
Всем превосходством мастерства.

Вершины Грузии высоки.
Красой особой хороши.
Он мне открыл ее истоки
С вершины собственной души.

Она была чиста, как горный
Родник, бегущий из-под скал.
Он, совершая труд упорный,
Себе пощады не искал.

Плечо Святой горы отныне —
Его возвышенный приют.
Другие юноши в долине
Смеются, плачут и поют.

Его живой души улыбка
Моей сопутствует везде.
И серп луны над ним, как зыбка,
Плывет, подвешенный к звезде.

Сон

Снилось мне безумное движенье,
Странная предметов чехарда.
Потеряв земное притяженье,
Уходили в небо поезда.

Улетали в небо пароходы,
Отделялись от земли дома
Вечные явления природы
Были вне законов и ума.

Все, что было зримо, — мимо, мимо.
Поднималось, исчезая, вверх.
Уносил с Земли необратимо
И меня последний фейерверк.

С высоты, где плавали светила,
Слаженности четкой не губя.
На Земле, что книзу уходила,
Я увидел самого себя.

Только каждое мое движенье,
Каждой мысли каждый поворот
Повторял в обратном направленье
Мой земной далекий антипод.

Только я одно понять старался,
Почему Земле для добрых дел
Нужен был не тот, что с ней остался,
А другой, который улетел.

Эвкалипт

Эвкалипт стоит и стынет
В рваной шкуре, гол и сер,
Как песчаную пустыню
Перешедший дромадер.

Он глядит на снежный север,
По Австралии грустит.
Прошлогодних листьев веер
На макушке шелестит.

Что он слышит! — Ветра ропот,
Дальней бури произвол.
Но закручен, словно штопор,
Уходящий в землю ствол.

Он завяжет без тревоги
Временных явлений связь.
...У меня душа в дороге
Понемногу извелась.

Что-то ноет, как старуха,
По ночам полужива.
И с нее слетают сухо
Прошлогодние слова.

Горы из окна ночью

На горизонте горы голы
Стоят, как древние глаголы,
И их читают небеса.
Там на утес утес нанизан,
И по сбегаящим карнизам,
На их отливе темно-сизом
Чернеют голые леса.

Молчат всю ночь ночные горы,
Ущелий каменные створы,
Паров окаменевший чад.
Седых вершин зубцы и льдины.
Завалов плотные плотины,
Где лампы прячут Аладдины.
О чем они в ночи молчат!

Какие ледяные мысли

Над лбами каменными свисли
В наплывах фирнового льда!
Вы не вместились в теоремы.
Вы угрожающе и немые,
Как непрочтенные поэмы
Вселенной мудрого труда.

Какие беды и загадки
Лежат в изгибе каждой складки
Глубоких каменных морщин!
Ты стар, наш мир. Ты очень молод,
Ты на частицы не размолот,
В тебе огонь и вечный холод,
И ты — един. И ты — один.

Лишь только ветер межпланетный
Качнет былинку незаметно, —
Антенны травы наострят.
И ты пойми в тот миг мгновенный
Всей собранностью вдохновенной,
Как через пропасти Вселенной
С Землею звезды говорят.

Воспоминание о добром пире

Виной тому моя вина
И добрый твой порог.
Я выпил полный рог вина,
Как солнца полный рог.

Вино, как шелковый огонь,
Ласкало пищевод.
Оно и дружества ладонь
Сулили тыщи льгот.

И я душой помолодел
В кругу друзей твоих.
Я пил за дружбу наших дел.
За откровенный стих.

За первый и последний бой.
За Грузию твою,
За песню мужества, тобой
Рожденную в бою.

За сумрак партизанских троп,
За братские холмы.
За то, что время прямо в лоб
Встречать умеем мы.

Пил за судьбы солдатской честь
Твое вино до дна.

И пил за то, что в мире есть,
Есть женщина одна.

Что так далек ее порог,
Так краток счастья срок.
Но пел в руке старинный рог.
Налитый солнцем рог.

ПРОЗА

Арсений Пархоменко

Большое футбольное ограбление

ПОВЕСТЬ-ГИПОТЕЗА

вместо пролога

Истекала последняя, сто двадцатая минута второго дополнительного тайма, когда великолепный проход английского центрфорварда Херста завершился четвертым победным голом в ворота сборной Федеративной Республики Германии.

Десять минут спустя сто тысяч болельщиков на лондонском стадионе «Уэмбли» и четыреста миллионов телезрителей во всех уголках земного шара стали свидетелями торжественного закрытия мирового футбольного чемпионата: ее величество королева Елизавета II вручила капитану сборной команды Англии Роберту Муру высшую спортивную награду мира — кубок Жюля Римэ «Золотая богиня». Это произошло в 19 часов 40 минут 30 июля 1966 года.

Тремя месяцами раньше лондонский уголовный суд на Бау-стрит приговорил к двум годам тюрьмы Эдварда Блетчли, обвиненного в похищении «Золотой богини» из Централ-холла Вестминстерского Дворца.

Еще месяцем раньше маленькая дворняжка Пикклз, гулявшая вместе со своим хозяином Дэвидом Корбеттом в саду на улице Бьюла-хилл, обнаружила завернутый в газету сверток, в котором оказался похищенный из Вестминстера золотой кубок.

Роберт Мур получил из рук королевы «Золотую богиню». Собачка Пикклз премирована ежедневной порцией черной икры. Дэвид Корбетт получил вознаграждение в шесть тысяч фунтов стерлингов. Эдвард Блетчли получил два года тюрьмы. Казалось бы, каждому свое и нет поводов для сомнений.

Увы, сомнения есть. Они возникли уже тогда, когда Англия, а вслед за нею весь спортивный мир были потрясены невероятным фактом похищения «Золотой богини» буквально на глазах у опытейших детективов Скотланд-ярда. Эти сомнения не покидали многих и после обнаружения богини и даже тогда, когда сам похититель был упрятан за тюремную решетку.

К началу чемпионата страсти утихли. А когда англичане стали обладателями «Золотой богини», им хотелось вообще забыть о ее печальных приключениях на британской земле. Можно было лишь иронизировать по поводу того, что кубок, украденный англичанином на глазах у английской полиции, был найден английской собакой и завоеван английской сборной.

Чемпионат мира кончился. Но в мировой прессе и радио вновь промелькнули сообщения, которые заставили сомневаться даже... Да, как ни странно, даже в подлинности самой «Золотой богини». Что стало с ним, великолепным золотым кубком, семь раз венчавшим чемпионов мира и пережившим такие драматические события в преддверии восьмого чемпионата? История таинственного исчезновения и не менее таинственного

обнаружения золотого спортивного трофея по-прежнему покрыта непроницаемой пеленой. Такой же, как сам Лондон в день большого тумана...

1. лондон сошел с ума

В этот вечер полиция была на редкость дружелюбной. Оцепив плотным кольцом всю территорию Трафальгар-сквера, она предоставила болельщикам творить все, что им вздумается, до полного изнеможения. Когда на следующий день «Санди тайме» заявила на всю первую полосу «Лондон сошел с ума!», в этом не было преувеличения. Если бы подобное творилось в Рио, Буэнос-Айресе или Риме, это бы никого не удивило. Но в Лондоне?..

Чэпмен всю свою жизнь прожил в столице, но не мог вспомнить ничего похожего. И он был рад, что футбол, его вечная страсть, пробудил такую бурю эмоций у его достаточно сдержанных соотечественников. Казалось, что гордость за победу на чемпионате переполнила восторгом души людей, затопила энтузиазмом весь огромный город.

...После оргий на Трафальгар-сквере многотысячная толпа, рассеянная шеренгами полицейских, ручьями растекалась по городу. Вместе с людским потоком Чэпмена вынесло на Пиккадилли, а затем через Найтсбридж к Кенсингтону. С трудом, опершись на какую-то ограду, он остановился у отеля «Ройял-гарден», где на большом балконе, нарядные и радостные, стояли футболисты сборной. Громадная толпа, запрудившая все подходы к зданию, поочередно скандировала: «Джек-ки!.. Боб-би!.. Мартин!..». И тогда братья Чарльтоны, Питере, Хант, Коэн и другие игроки сборной выдвигались к перилам, кланялись и посылали воздушные поцелуи своим обожателям.

Когда к перилам балкона протиснулся капитан Бобби Мур и поднял над головой ослепительно сверкавшую в лучах прожекторов золотую богиню Nike, экстаз толпы, казалось, превзошел всякие пределы. К тысячеголосому воплю восторга прибавились оглушительные звуки сотен автомобильных клаксонов со всех близлежащих перекрестков. Ничего не было слышно, ничего нельзя было понять. Никто не говорил, все только кричали. Казалось даже, что членораздельная речь совсем ни к чему в этом громкоголосом шуме, переполнившим огромный район города.

Крики и рев клаксонов стихли лишь на момент, когда расступившиеся футболисты пропустили на балкон Гарольда Вильсона. Премьер-министр произнес маленький приветственный спич, который еще более подогрел и без того неистовый энтузиазм толпы.

И опять на балконе Бобби Мур с ослепительным золотым кубком. С этого дня богиня Nike прописана в Лондоне на долгие четыре года. «А там — кто знает? — может быть, в далеком Мехико нам опять улыбнется футбольное счастье и драгоценный приз снова воцарится на туманных берегах Темзы...» — Чэпмен улыбнулся своим затаенным мыслям.

Полный возбуждения, он отправился не домой, а в редакцию, чтобы немного остыть. В этот поздний час заканчивалось печатание завтрашних выпусков газеты. В полуосвещенных коридорах было пустынно, и он, почти незамеченный, дошел до массивной двери своего старого кабинета с инкрустированной табличкой «Мистер Чэпмен. Главный редактор».

Распахнув окне, Чэпмен придвинул к нему кресло и, расслабившись от усталости, позволил себе небрежно развалиться, положив ноги прямо на подоконник. Слегка отдохнув, он позвонил ночному редактору, и вскоре в кабинет принесли свежие, еще пахнущие краской полосы утреннего выпуска.

Чэпмен удобнее устроился в кресле и взял газету. Вся первая полоса была занята великолепным цветным фото, сделанным справа от королевской ложи. Снимок запечатлел последний аккорд мирового футбольного чемпионата — вручение победителям высших спортивных наград. Вторая и третья страницы были так же безраздельно отданы футболу. Вот русский вратарь Лев Яшин вручает премьер-министру Вильсону символический мяч с набором автографов советской сборной. «Славный парень этот Лев!» — подумал Чэпмен,

вспомнив, как позавчера он распорядился поместить в дневном выпуске драматический снимок: убитого горем Яшина дружеским объятием утешает Эйсебио, только что пробивший роковое пенальти. Из всех голкиперов Чэпмен выше всего ценил превосходного Бэнкса, но при том признавал, что мужество и отвага Яшина не имеют равных.

На четвертой странице газета помещала документальный кинокадр третьего гола в ворота немецкой сборной. Чэпмен еще со стадиона звонил в редакцию, требуя, чтобы этот снимок пошел в номер во что бы то ни стало. Финальный матч только закончился, а в ложе прессы уже стало известно, что радио и телевидение в Мюнхене, Западном Берлине и Гамбурге объявили о незаконности третьего гола. Радио Мюнхена заявило, что судья Динст и советский помощник Бахрамов надругались над футбольной законностью... «Черт их возьми! — со злостью думал Чэпмен. — Нашлись блюстители футбольных законов! Завтра этот снимок заставит их замолчать, заткнет им рты!»

Снимок действительно был хорош и, главное, безукоризнен в своей неоспоримости. Кадр был снят сверху под небольшим углом к боковой штанге. Очень четко виднелась линия ворот и серо-белый мяч, опустившийся в нескольких дюймах за линией после удара Болла под верхнюю штангу. Всех смутило тогда, что мяч опять ушел в поле. Что заставило его описать такую сложную траекторию, смогут объяснить лишь знатоки баллистики. Но факт, что решение Динста и Бахрамова засчитать гол было безукоризненно верным.

Еще снимки, хроникальные кадры, целые колонки и полосы, отданные репортажам, обзорам специалистов, мнениям болельщиков... Чэпмен уже собирался бросить газету, как вдруг его взгляд задержался на небольшом заголовке внизу предпоследней страницы: «Заявление Эдварда Блетчли». Далее следовали двадцать строчек текста:

«Инициативным корреспондентам удалось проникнуть в камеру, где под охраной содержится предполагаемый похититель мирового футбольного кубка Эдвард Блетчли. Тюремные власти разрешили ему смотреть по телевизору финальный матч чемпионата мира. На вопрос корреспондентов, радуется ли его победа английской сборной, Блетчли ответил, что он восхищен, но был бы рад еще больше, если бы был уверен, что капитану сборной вручен настоящий кубок. На просьбу корреспондентов разъяснить это заявление Блетчли ответил, что ему нечего больше добавить».

— Что за чертовщина! — невольно воскликнул Чэпмен и еще раз внимательно перечитал текст. — Чей это материал? — спустя минуту спрашивал он по телефону ночного редактора.

— Его привез Билл Рэймонд. Он просил обязательно дать хотя бы строк двадцать под этот текст.

— А что, материал был больше?

— Да, его подрезали. Я сейчас узнаю...

— Не нужно, я сам позвоню Рэймонду.

Уильям Рэймонд заведовал спортивным отделом газеты и был большим другом редактора. В последних номерах он получал больше места, чем все другие отделы, вместе взятые, но аппетиты его росли пропорционально успехам английской сборной, и Чэпмену пришлось на днях умерить его пыл.

Он позвонил Рэймонду домой, несмотря на поздний час.

— Слушай, Билл, что там у тебя с этим Блетчли?

— Я хотел дать все подробно, но меня урезали. Это ведь ты сказал дежурным редакторам, чтобы Рэймонда держали в узде!

— Если тебя выпустить из упряжки, наша газета сразу станет органом каких-нибудь футбольных или боксерских союзов.

— И прекрасно, Дин. Ее тогда полюбят все, даже твердолобые, которым она подчас досаждала.

— Когда меня полюбят те, кому мы сейчас досаждаем, я пойму, что пора уходить в отставку... А теперь выкладывай о Блетчли.

— С Блетчли вот что. Мы с одним парнем из Би-би-си залезли сегодня в ту каталажку, где он сидит. Начальник тюрьмы там помешан на футболе и разрешил Блетчли смотреть финал по телевидению вместе с собой. Ну, мы там провели пресс-конференцию...

— Ты мне расскажи о самом Блетчли.

— Начальник говорит, что, когда кончился матч и начали показывать, как королева вручает Муру кубок, Блетчли буквально вцепился в телевизор. Он смотрел на кубок, как замороженный, а потом вдруг откинулся на спинку стула и начал качать головой, повторяя: «Нет, нет, это не то! Это не то»... Они ничего не могли добиться от него. Уже когда его повели в камеру, он вдруг сказал: «Не знаю, может быть, это фарс, а может быть, несчастье. Но за это придется поплатиться». Вот, по сути, и все. Я тоже немного узнал от него. Все, что он мне сказал, приведено в газете... Тебя что-то удивляет, Дин?

Чэпмен молчал, задумавшись.

— Хэлло, Дин, ты меня слышишь?

— Да, я все слышал. Мне нужно подумать. Завтра или позднее мы вернемся к этому разговору. Спокойной ночи!

Положив трубку, Чэпмен еще глубже погрузился в кресло. Воспоминания захватили его целиком. Он старался восстановить в памяти все детали того эпизода, который произошел, казалось, совсем недавно.

2. визит незнакомца

Когда это было?.. За несколько дней, пожалуй, даже за неделю до открытия чемпионата мира. Утром Чэпмену позвонил неизвестный, назвавшийся Кросби. Он сказал, что располагает достоверными сведениями о похищении «Золотой богини» и может за некоторое вознаграждение предоставить их редакции. Не прошло и часа, как он явился.

Чэпмен во всех подробностях запомнил этот разговор. Слишком он был необычным.

Начать с того, что неизвестный пытался утверждать, будто никакого похищения «Золотой богини» не было. Чэпмен, иронически улыбнувшись, спросил его:

— Может быть, вы попытаетесь доказать, что похитителя — Эдварда Блетчли — тоже не было?

— Не было, мистер Чэпмен. Вернее, он был, но он не похититель. То есть он, конечно, богиню Нике брал...

— Вы мне нравитесь, Кросби. Но я люблю более тонкий юмор. Быть может, вы еще скажете, что собачки Пикклз, которая нашла богиню, тоже не было?

— Собачка была. И это правда, что она нашла богиню.

— Знаете, Кросби, мне жалко терять на вас время. Вы не можете связать концы с концами. Похищения футбольной богини, по-вашему, не было, а собачка, которая ее нашла, была. Похитителя Блетчли не было, но богиню он брал... Вы не получите ни пенса, если будете нести такую чушь!

— Не гоните меня, мистер Чэпмен. Вы увидите, что все это правда, уверяю вас.

Человек небольшого роста, в помятом костюме с старым, засаленным галстуком привстал с кресла и, опираясь на стол редактора, заискивающе спросил:

— Только обещайте, мистер Чэпмен, если вы поверите в то, что я расскажу, я получу всю названную по телефону сумму!

— Я уже сказал вам, что можете рассчитывать на двести фунтов. Но пока, клянусь, я не вижу оснований даже для пары шиллингов.

Чэпмен нюхом старого газетчика чувствовал, что этот Кросби хранит важную тайну. Без сомнения, он близко причастен к событиям тех дней, когда весь мир напряженно следил за поисками внезапно похищенного кубка Жюля Римэ — бесценной «Золотой богини».

И Чэпмен обещал Кросби двести фунтов стерлингов, хорошо понимая, что эти деньги десятикратно окупятся гигантским тиражом газеты с такой сенсационной новостью. Нужно только вытянуть из этого человека все, что он знает.

Зазвонил телефон. Чэпмен снял трубку.

— Я слушаю вас.

— Он у вас?

— Да, он здесь.

— Возможно, я сейчас приеду.

— Прошу вас, сэр.

Издатель редко навещал редакцию, предоставляя Чэпмену самостоятельно решать почти все дела, вплоть до самых важных.

Но в то утро, когда Чэпмен сообщил ему о Кросби, он проявил необычную заинтересованность, и даже сам решил приехать.

— Разрешите, я закурю? — тихо спросил Кросби. Чэпмен подвинул коробку сигар к краю стола.

Кросби закурил и, затянувшись, блаженно прикрыл глаза и глубоко погрузился в кресло. По всему было видно, что он не часто имел удовольствие выкурить дорогую сигару.

— Ну?.. — нетерпеливо произнес Чэпмен.

— Сейчас, господин редактор. Сейчас... Вы будете записывать?

— Я включил магнитофон. Стенографистка запишет потом все необходимое.

Кросби затянулся еще раз и тихо начал:

— Мало кому известно, что год назад в Лондоне появилась организация под скромным названием «Лига содействия мировому футболу». В лигу вошли люди, которые вложили большие деньги в футбольный бизнес шестьдесят шестого года. Лига нигде не зарегистрирована и никем не оформлена. Не думаю, что кому-нибудь, даже министру внутренних дел, удалось бы раскрыть эту лигу и назвать ее членов. Но смею вас уверить, мистер Чэпмен, она очень сильна. Эти люди могут все...

Чэпмен сделал нетерпеливый жест. Кросби сразу уловил это.

— Я отвлекся в сторону? Простите, мистер Чэпмен. Но за такую плату я считал, что должен раскрыть все подробности.

— Меня интересуют только те подробности, которые относятся к «Золотой богине». В Лондоне существуют тысячи всяких лиг, тайных и явных, и ваш рассказ об одной из них мало интересен.

— Но, мистер Чэпмен, лига, о которой я говорю, очень могущественна. Ведь это она дерзнула похитить футбольную богиню.

— Ага, значит, вы признаете, что похищение все-таки было?

— В том-то и дело, что нет. С вашего позволения, мистер Чэпмен, я хочу спросить, не было ли у вас сомнений, когда вы впервые узнали об исчезновении богини?

— Ну... кое-какие сомнения были у всех. Когда так внезапно пропадает ценная вещь, это не может не вызвать недоумения.

— Недоумения, вы говорите? — Кросби едва слышно рассмеялся. — Когда-то, в более хорошие для меня времена, я сидел в редакции на судебной хронике и нюхал кое-какие дела. Я до сих пор не могу понять, как все могли так легко поверить в похищение «Золотой богини». Ведь всё было так неправдоподобно.

— Что именно?

— Ну разве не странно, что кубок исчез из Вестминстера, который всегда так многолюден, особенно в воскресенье на молитвах методистов?

— Такое сомнение уже высказывалось. Контрдовод состоит в том, что вору было удобно действовать под аккомпанемент хорового пения и органной музыки. Шум усыплял бдительность.

— Бдительность тех, которые пришли молиться, — это я допускаю. Но как шум мог усыпить шестерых детективов, которые охраняли Сентрал-холл в то воскресенье?

— Вор использовал момент, когда детективы могли разойтись по коридорам Вестминстера.

— Удивительные детективы, вы не находите? Им поручена охрана Сентрал-холла, а они вдруг разбрелись по всему зданию!

— Это можно допустить. Если бы детективы всегда были внимательны, у нас в стране нельзя было бы совершить ни одной кражи.

— Но признайте, мистер Чэпмен, что эти детективы были невнимательны вдвойне. Они разошлись, дав вору возможность проникнуть в холл, и не вернулись, когда он выходил обратно.

— Вор мог действовать быстро. Чтобы взять кубок, не требовалось много времени.

— Да, этому вору не требовалось. Хотя всякий другой на его месте оказался бы в большом затруднении.

— Почему?

— Вы, мистер Чэпмен, конечно, помните, что в марте в Сентрал-холле экспонировалась уникальная выставочная коллекция «Спорт в почтовых марках». Коллекция была оценена в три миллиона фунтов стерлингов. Кубок «Золотой богини» стоял в стеклянном шкафу вместе с марками шестнадцати стран, которые участвуют в чемпионате мира. И вот грабитель — смешно сказать! — плюет на три миллиона, которые уместились бы у него во внутренних карманах пиджака, и вместо этого крадет тяжелый, громоздкий кубок. Этот кубок знают ювелиры всего мира, его никому не продашь целиком. Его можно только переплавить на слитки и получить за них тысяч тридцать, не больше... Скажите, мистер Чэпмен, вы встречали такого странного вора?

— Признаться, нет... Но у грабителя могли быть какие-то соображения похитить именно кубок.

— Может быть, шутка или каприз? Вы сами, мистер Чэпмен, не поверили бы в шутку, которая оценивается в восемь лет тюрьмы.

— И все-таки нельзя исключить, что целью кражи была именно богиня, а не дорогая коллекция марок.

— Я с вами целиком согласен, мистер Чэпмен, но именно потому, что грабитель шел за кубком, это была не кража, а что-то совсем иное. У настоящего вора не бывает сомнений, что брать: три миллиона или тридцать тысяч. Он не капризен, не так ли?

— Все это так. Но какой из этого вывод?

— Вывод тот, что полицейская версия о краже кубка с целью наживы отпадает. Отпадает и вышедшая из Скотланд-ярда версия, которую поместила в те дни «Дейли мейл». Помните, газета писала, что в полицию позвонили осведомители из среды уголовного мира и сообщили, что «Золотая богиня» пока еще не раскрошена на мелкие куски и не переплавлена. Осведомители назвали также фамилию и адрес вора, который якобы прячет богиню. Были версии и в других газетах. Например, о том, что кубок спрятан воров в багажном отделении вокзала Черинг-Кросс...

Вы хотите знать, для чего были пущены эти версии? Кое-кто из Скотланд-ярда подогревал интерес к поискам футбольной богини, хотя там знали, где она находится.

— Полиция знала, где находится кубок?

— Не вся, конечно, полиция, но кое-кто знал это с самого начала. Вы, мистер Чэпмен, не обратили внимания, как успешно начались поиски пропавшего кубка? Ведь уже на следующий день полиция объявила приметы подозреваемого человека. А вскоре было заявлено, что поиски идут успешно, и посеяна уверенность в исходе розыска. Так и напрашивалась мысль, что Скотланд-ярд прекрасно представляет себе обстоятельства кражи. Вы согласны со мной, мистер Чэпмен?

Чэпмен молчал. Доводы казались ему убедительными. Кросби продолжал:

— После всего этого я могу повторить вам то, что уже говорил: никакого похищения кубка Жюля Римэ 20 марта не было. Похищение в те дни было только разыграно.

— Постойте, но я сейчас припоминаю, что на четвертый или пятый день Скотланд-ярд сам заявил, что обстоятельства вдруг усложнились. Об этом же мне сказали в тот день вечером в полицейском управлении на Рочестер-Роу. Что вы об этом скажете?

Кросби помрачнел. Ответил он не сразу.

— То, что случилось на пятый день поисков, — это совсем особое дело, мистер Чэпмен... Я уже обещал вам, что все расскажу. Двести фунтов для меня такие деньги... — Он помолчал, затем заговорил снова: — Я остановился на том, что никакой кражи «Золотой богини» из Вестминстера не было. Блетчли — я его зову просто Эд — унес кубок по договоренности с какими-то людьми в полиции. Это было не похищение. Они просто выполняли рекомендацию электронной машины.

— Что за вздор! Какой еще электронной машины? . .

— Это вовсе не вздор, мистер Чэпмен. Помните, я говорил вам о лиге содействия мировому футболу? Так вот, еще в конце прошлого года члены лиги подсчитали, какие и где могут быть доходы при подготовке к чемпионату мира. Было продумано все до мелочей. Но потом, уже в январе, кто-то предложил сделать проверку на электронно-вычислительной машине. Был заключен контракт с одной частной фирмой, и машине предложили вопрос. Я не ручаюсь за точность, но вопрос был примерно такой: все ли сделано, чтобы футбольный чемпионат мира был самым популярным зрелищем года и принес наивысший доход? В машину были введены данные о всех других соревнованиях и данные о футбольных первенствах. И представьте, машина ответила отрицательно. Тогда был поставлен вопрос: что нужно сделать? — Кросби улыбнулся: — Смешно, не правда ли, мистер Чэпмен, три десятка деловых людей обращаются к машине с таким вопросом?

— И что же ответила машина?

— Она дала шестнадцать вариантов. Конечно, среди них были самые нереальные, просто футбольный абсурд. Был, например, такой вариант: британская команда выигрывает первый матч в своей группе со счетом 15:0!

Чэпмен невольно усмехнулся:

— Такого не придумаешь даже во сне!

— Да, сначала над советами машины посмеялись. Но потом кто-то сказал, что один вариант не так уж плох. Знаете, мистер Чэпмен, что это было?

— Похищение?

— Да, похищение «Золотой богини». — Кросби облегченно откинулся на спинку кресла, почувствовав доверие собеседника в таком важном месте своего рассказа. Он умолк, словно ожидая вопросов. И Чэпмен спросил:

— Это все чертовски интересно, но скажите, откуда вы знаете такие подробности?

— От Эда Блетчли.

— Вот как! Это тот Блетчли, которого судили за похищение кубка?

— Да, он самый. Мы с ним живем по соседству на Гровенор-терра -. Я знаю Эда со школьных лет.

— Но послушайте, ничего этого Блетчли не рассказывал на суде.

— Да, это было шумное дело, мистер Чэпмен. В тот день в здание суда на Бау-стрит нельзя было протолкнуться. Казалось, что люди собрались на стадионе «Уэмбли» на финальный матч первенства... Как вам объяснить поведение на суде Блетчли? Он небогатый человек, мистер Чэпмен, а ему обещали такие деньги. Он говорил на суде все так, как было приказано.

— Приказано? Кем?

— Теми, кто организовал это дело. Членами той самой лиги. Очень могущественной лиги... Понимаете, мистер Чэпмен, их план выглядел примерно так. Кубок похищает скромный, добропорядочный человек. Не с целью наживы, а из каких-то возвышенных соображений. Но официально выдвигается версия о краже кубка уголовниками-профессионалами. Все поднимаются на ноги. Поиски идут день, два, три. Сенсация вокруг пропавшей богини растет. Страсти накаляются. Футбольная ассоциация назначает за кубок огромное вознаграждение. Телевидение ежедневно отводит целую программу поискам кубка. И, наконец, на пятый день благодаря беспримерной работе Скотланд-ярда «Золотая богиня» находится. Похитителя судят, но суд, убеждаясь в его бескорыстных намерениях,

назначает ему минимальное наказание. Все воодушевлены, все довольны. О золотом кубке говорит весь мир. Даже люди, никогда не болевшие футболом, заказывают билеты. Число иностранных туристов возрастает на сотни, на тысячи...

Жестом руки Чэпмен остановил Кросби. Облокотившись о стол, он прикрыл глаза и задумался. Вспомнил те дни, когда он яростно отстаивал престиж национального футбола и честь Британской футбольной ассоциации. В мировой прессе бушевали страсти. Похищение «Золотой богини» буквально затопило страницы газет и журналов потоком недоброжелательства. Печатные полосы пестрели аншлагами: «Позор!», «Возмутительно!», «Родина футбола — родина жуликов», «Красней, футбол, стыдись, Британия»...

Одна из газет язвила: «Страна, где грабители похитили с почтового поезда два с половиной миллиона фунтов стерлингов, вновь доказала, что ей принадлежит мировое первенство». Даже лондонская «Сан» огрызнулась: «Если бы устраивались Олимпийские игры для воров, Англия завоевала бы все призы».

Казалось, оскорблениям и нападкам не будет конца. И вот теперь выясняется, что это позорное дело было заранее подготовлено.

Редактор Чэпмен прожил пятьдесят два года и повидал на своем веку немало грязных дел и в политике и в спорте. Но футбол с юношеских лет был его слабостью, и меньше всего он хотел бы обнаружить скверный запах именно в футбольных делах. Особенно, когда речь шла о таком почти священном для каждого болельщика событии, как чемпионат мира. Ну что ж, он, Чэпмен, выведет жуликов на чистую воду! Утром он думал только о сенсации, но теперь...

Он посмотрел на Кросби. Все, что рассказал этот человек, слишком правдоподобно, чтобы ему не поверить.

Но какую же роль во всем играл он сам?

3. откровенность похитителя

Кросби сидел, сложив руки на коленях и опустив глаза. Во всей его позе было кроткое смирение грешника. И Чэпмен решил вызвать его на откровенность.

— Послушайте, Кросби, вы должны еще рассказать...

— Да, мистер Чэпмен, я знаю. Это самое тяжелое — рассказывать о своей вине.

— Почему о вине?

— К сожалению... — Кросби не договорил. Судорожно вздохнув, он еще больше обмяк. Руки его мелко дрожали.

— Вы не волнуйтесь. Рассказывайте все, как было.

— Да, да, мистер Чэпмен, да... Я сейчас... Может быть, выключить магнитофон?

— Не бойтесь. Здесь не уголовная полиция. Мы не выдаем тех, кто нам помогает. — Чэпмен встал из-за стола, подошел к окну и, стараясь тоном своего голоса приободрить Кросби, сказал: — Давайте, не спеша, восстановим события с пятого дня пропажи кубка.

— Пятый день, мистер Чэпмен, перепутал все карты полиции. В этот день — это было 25 марта — «Золотую богиню» действительно похитили. Скотланд-ярд потерял ее след.

— Подождите, но вы же сказали, что кубок был спрятан у Блетчли.

— Да, это так. Но он... его похитили... Внезапно. Понимаете, полиция должна была ночью найти кубок у Блетчли. Но в полдень он сам позвонил в Скотланд-ярд и сказал, что богиню украли.

— Украли у него?

— Да, у него. Там началась такая паника, трудно вам передать. Одно дело, когда знаешь, что и где искать, а другое, — когда концы ушли в воду. В доме Блетчли весь день работали три группы сыщиков. Они прочесали все этажи, проверили даже стены и потолки, прощупали всю мебель. Было уже совсем темно, а полицейские машины все подъезжали. Их собралось там штук двадцать, по улице нельзя было пройти...

— Послушайте, — перебил его Чэпмен. — Послушайте, Кросби, это сделали... вы?

Кросби вздрогнул, потом подался вперед и быстро заговорил:

— Мистер Чэпмен, не судите меня строго. Умоляю вас, выслушайте, вы поймете...

— Зачем вы это сделали? — жестко спросил Чэпмен.

— Мне очень хотелось, чтобы наша команда один раз стала чемпионом мира. — Кросби говорил медленно, растягивая слова. — Конечно, я понимал, что это неосуществимо. Это грезы, не более... Тогда у меня возникла одна идея. Вы понимаете, мистер Чэпмен, если бы кубок исчез, Международная федерация — ФИФА — заказала бы новый кубок — точную копию прежней «Золотой богини». Об этом уже говорили после пропажи из Вестминстера, я не помню, кто: президент ФИФА Стэнли Роуз или министр спорта Хауэлл... Вы представляете, что было бы, пояись вместо одной две «Золотых богини». О!.. Я хорошо понял это, когда представил, как она сверкала бы в руках нашего Джимми Гривса или Бобби Чарль тона. Если позволите, мистер Чэпмен, я расскажу вам, как это было бы.

Я приезжаю на финальный матч со своей старой сумкой и сажусь в самом нижнем ряду с правого угла тех ворот, которые будут нашими во втором тайме. Между мной и полем только два полисмена, мимо них можно проскочить, если быстро бежать.

Ну, не буду вам рассказывать, что творится на стадионе «Уэмбли». Это не поддается никакому описанию. Ни коронация королевы, ни смерть Черчилля, ни даже последние выборы не вызывали такого неистовства страстей. Футбол захватывает настолько, что ты забываешь обо всем на свете. Ты забываешь, что плохо одет, что тебе завтра нечем уплатить за квартиру. Ты живешь только футболом, только азартом, пламя которого сжигает тебя до конца.

Увы, мне не надо вам говорить, что, несмотря на всю нашу страсть, все наше горение, мы проигрываем. Я не знаю, кому — Бразилии, Португалии, может быть, немцам... (Не удивляйтесь: тогда ведь многие были уверены, что мы проиграем.) Мы деремся, как львы, как смертники-камикадзе, но мы все же проигрываем, проигрываем один-единственный гол, и с этим уже ничего нельзя сделать. И вот я слышу финальный свисток, я вижу наших ребят — мокрых, взмыленных, едва стоящих на ногах. Они пытаются улыбаться, хотя я знаю, как им горько. Им аплодируют — они ведь дошли до финала, но им все же горько, ибо поражение всегда горчит...

И тогда я незаметно встаю и бегу изо всех сил к центру поля. А там, в центре, под гром оркестров и оваций президент Стэнли Роуз уже вручает победителям «Золотую богиню». Среди десятков кинооператоров и фоторепортеров меня почти никто не замечает. Но вот я раскрываю свою сумку. Я вынимаю оттуда настоящую «Золотую богиню» и вручаю ее нашим ребятам. Стадион растерянно молчит секунду, другую, а потом взрывается громом оваций. Я вижу растроганные и благодарные лица наших ребят... Боже, я так счастлив!.. — Глаза Кросби стали совсем влажными, голос дрожал. — Я не знаю, что дальше, мистер Чэпмен, да разве в этом уж дело?..

«Этот Кросби — самый бескорыстный человек из всех, замешанных в этом деле», — подумал Чэпмен, усаживаясь за свой стол.

— Скажите, Кросби, а как все-таки к вам попал кубок?

— Это было нетрудно, мистер Чэпмен, уверяю вас. Я пришел к Блетчли утром, когда его не было. Мне открыла дочь. Я присел отдохнуть, а девочка ушла в свою комнату — там сидели ее подруги. Я хорошо знаю квартиру Эда, и мне не стоило большого труда разыскать кубок и спрятать его в своей сумке. Потом я попрощался с девочками и ушел... Видите, как просто. Вы спросите, почему на меня не пало подозрение? Потому что я честный человек, мистер Чэпмен. Эд мог заподозрить кого угодно, даже свою квартирную хозяйку, даже почтальона, но только не меня... Единственный раз в жизни я похитил чужую вещь, позвольте мне не называть это кражей.

— Хорошо. Но если кубок был уже у вас, почему вы отказались от своего плана? Неужели богиню похитили еще раз?

— Видите, мистер Чэпмен, я допустил большой просчет. До сих пор не могу себе этого простить. В тот день, когда я взял кубок, я решил успокоить футбольную ассоциацию насчет его целостности и сохранности. Я соскрёб у основания кубка немного оникса — это такая кварцевая основа, на которой установлена золотая фигурка богини Нике. И вот этот оникс я вместе с письмом отправил футбольным деятелям...

— Я знаю об этом. И мы и другие газеты, писали тогда о посылке с ониксом. Насколько я помню, в Скотланд-ярде в тот же вечер сделали химический анализ и убедились, что оникс взят с настоящего кубка.

— Да, да, вы правы, мистер Чэпмен. Все было бы хорошо, но ведь я старый глупец! Мне нужно было отправлять посылку не из Юго-Восточного Лондона, а из другого района. Полиция по штемпелю сразу же определила наше почтовое отделение. Наутро в субботу весь наш квартал кишел детективами. Обследовали все и всех. Они уже догадались, что кубок где-то здесь, поблизости от дома Блетчли. Сам Эд был уже арестован и, наверное, назвал всех своих знакомых. Я чувствовал, что вот-вот кольцо замкнется. Как только стемнело, я взял кубок и вышел из дому. На ближайшем углу меня задержали и предложили раскрыть сумку. Я бросился бежать. Кто-то засвистел, за мной начали гнаться. Я перелез через какую-то ограду, бросил кубок в кусты и кинулся в другую сторону. Домой я попал часа через два... Ну, о дальнейших событиях вы знаете. Я сам узнал об этом из газет. В воскресенье какой-то Дэвид Кор бетт гулял по улице Бьюла-хилл со своей дворняжкой Пикклз. Она-то и нашла в кустах кубок. С тех пор — смешно сказать! — Пикклз стала британской национальной гордостью. Газеты пишут о ней больше, чем о кинозвезде Одри Хэпбэрн и премьер-министре Вильсоне! ;

Кросби горестно усмехнулся и умолк, считая, видимо, что ему уже нечего добавить к сказанному. Чэпмен спросил:

— Скажите, ваша фамилия действительно Кросби?

— Разве это так важно, мистер Чэпмен?

— Пожалуй, нет. Но нужно, понимаете, какое-то вещественное доказательство, кроме логической стройности вашего рассказа.

— Я ждал этого вопроса. — С этими словами Кросби достал, из пиджака маленький пакет и принялся его разворачивать. *

В этот момент боковая дверь редакторского кабинета бесшумно отворилась. В комнату вошел шеф, издатель газеты. По его знаку Чэпмен выключил магнитофон.

— Я слышал все, — сказал шеф. — Этого пока достаточно... Что вы нам собираетесь показать, мистер Кросби?

— Я хочу показать вам оникс, сэр... Это тот самый оникс с «Золотой богини». Если захотите, вы сможете отдать его на анализ.

— Прекрасно. Положите его на стол... Теперь скажите, сколько вам обещано за ваши сведения?

— Двести фунтов, сэр.

— Мистер Кросби, вы получите в два раза больше за одно маленькое добавление к магнитофонной записи вашего рассказа.

— Я... готов на все, сэр. — Кросби встал, непроизвольно вытянув руки по швам.

— Сядьте. Сядьте, прошу вас, на то же место... Сейчас я снова включу магнитофон, а вы сделаете вот что. Громко рассмеетесь, хлопнете себя по карману и скажете: «Чек у меня в руках, господа. Здорово же я вас провел!.. Ведь все это сплошные бредни, сон шизофреника!»

— Но, сэр...

— Что такое?

— Это не сон, сэр.

— Вы уверены? Вам предложили двести фунтов, и вы решили, что все приснившееся вам вчера ночью — правда?

— Но... мне не снилось такое, сэр.

— Повторяю: вы хотите получить четыреста фунтов за подтверждение, что весь ваш рассказ — чистейший сон?

— Сдаюсь, сэр. Такие деньги...

— Тогда начинаем...

Когда за Кросби закрылась дверь, шеф снял записанный диск с магнитофона и, вложив его в свой портфель, сказал:

— Ни у кого не должно быть соблазна застенографировать этот материал. Ну, а добавление я сделал на случай, если ему придет в голову рассказать это еще в какой-нибудь редакции, хотя на первый взгляд он не похож на искателя наживы, а?

Чэпмен молчал, еще не вполне понимая происходящее. Заметив недоумение на лице редактора, шеф подошел ближе и дружески взял его за локоть.

— Дорогой мой Чэпмен, дело идет о престиже страны. Я думаю, после некоторого размышления вы со мной согласитесь. Прощайте...

Глядя в спину выходявшему шефу, Чэпмен думал о могущественной лиге, которая способна на все...

4. неужели два кубка?

Чэпмен взглянул на часы. Была половина второго ночи. Почти час пробыл он в плену воспоминаний.

Тогда, месяц назад, в день визита Кросби шеф в деликатной форме предложил ему забыть обо всем происшедшем. Чэпмен хорошо понял, что издатель в числе других лиц, видимо, заинтересован предать забвению это дело. И он заставил себя забыть обо всем, что рассказал в тот день похититель футбольной богини.

И вот теперь... Странное заявление Блетчли снова воскрешает обстоятельства этой нечистой, до предела запутанной истории. Чэпмен развернул газету и еще раз перечитал озадачившие его строки: «...На вопрос корреспондентов, радуется ли его победа английской сборной, Блетчли ответил, что он восхищен, но был бы рад еще больше, если бы был уверен, что капитану сборной вручен настоящий кубок...»

Как объяснить эти странные слова? А может быть... Неожиданная мысль подняла Чэпмена с кресла. Он подошел к столу, нервно забарабанил пальцами. Все ли рассказал тогда в редакции этот Кросби или тот, кто так себя именовал? Он был заметно испуган и, вероятно, что-то недосказал... В самом деле, как мог пожилой человек, даже спасаясь от погони, так далеко отбежать от своего дома? Ведь кубок был найден на Бьюла-хилл, а это чертовски далеко от Гровенор-террас. К тому же Кросби сказал, что вынес из дому кубок в своей старой сумке. Чэпмен это хорошо помнил. А дворяжка Пикклз — это было подробно описано во всех газетах — нашла кубок, завернутый в газетную обертку... Куда же девалась сумка?

Мысль Чэпмена работала с лихорадочной быстротой: нужно вплотную заняться этим делом и довести его до конца. Конечно, шеф волен поступать, как ему заблагорассудится. И было бы наивно переубеждать его или поступать вопреки его воле, лезть на конфликт, который в любом случае кончился бы плачевно для Чэпмена. Он слишком умен и опытен, чтобы рисковать своей карьерой, которая стоила ему многих лет упорного труда и тяжелых усилий. Чэпмен рассчитывал на другое.

Он соберет достаточно фактических материалов и напишет на этой основе гневный памфлет. Он направит острие сатиры против тех, кто прекрасную спортивную игру превращает из благородного увлечения в свиную кормушку. Конечно, он не питает иллюзий насчет публикации такого материала в своей газете. Шеф просто покажет ему на дверь. Но у Чэпмена есть достаточно знакомых в других редакциях, чтобы пристроить такую вещь в анонимном оформлении. К примеру, недурно было бы зажечь эту свечку в «Ньюс оф

урлд». По воскресеньям газету проглатывают шесть миллионов читателей, и резонанс получился бы отличный...

Было уже два часа после полуночи, когда он покинул наконец свой кабинет и уехал домой.

Дня через два Чэпмен прямо с утра, не заезжая в редакцию, решил отправиться на Гровенор-террас. Он хотел разыскать Кросби, хотя знал, что это — нелегкое дело.

Дом Эдварда Блетчли ему показали сразу, каждый ребенок здесь знал историю похищения кубка. Где-то поблизости должен жить Кросби. Но где?.. Спрашивать нельзя, чтобы не навлечь подозрений. К тому же неизвестно, назвал ли Кросби свое истинное имя. Чэпмен решил поставить машину так, чтобы удобно было просматривать выходы из близлежащих домов. Он рассчитывал на то, что пожилые холостяки встают рано и до завтрака обычно выходят прогуляться.

И действительно, Кросби вскоре появился. Несмотря на ранний утренний час, он был гладко выбрит и одет, как на торжественную церемонию. По всему было видно, что дела его заметно поправились.

Узнав Чэпмена, Кросби испугался, заподозрив что-то недоброе. Редактору стоило немало усилий успокоить его и усадить в машину. Они закурили, и Чэпмен рассказал о недавнем заявлении Блетчли и о своих сомнениях. Кросби необычайно оживился.

— Мистер Чэпмен, вы, быть может, не поверите, но такие же сомнения одолевали и меня. Хотя я очень перепугался в тот вечер, когда за мной гналась полиция, но я хорошо помню, куда я бежал. И место, где я бросил кубок, я на следующий день разыскал. Это было совсем не на Бьюла-хилл, где нашли потом кубок, а в трех шагах от Гровенор-террас.

— Почему вы тогда же не сказали об этом?

— Я боялся, что вы мне не поверите. Ведь этот с виду мелкий факт в корне меняет все дело. Оно становится трудно объяснимым.

— Вспомните, Кросби, вы бросили кубок вместе с вашей сумкой?

— Конечно. Разве у меня было время вынимать его оттуда?

— И кубок не был завернут в газету?

— Нет. Он просто лежал в сумке. Я, мистер Чэпмен, только по воскресеньям покупаю газету. В остальные дни я читаю их у киосков. У меня дома нет ни одной лишней газеты.

— Все это чертовски странно. Не могу понять, как кубок оказался на Бьюла-хилл и кто его завернул в газету.

— Откровенно говоря, мистер Чэпмен, есть еще более странные вещи. — Кросби оглянулся и тихо сказал: — Может быть, нам немного отъехать? Здесь меня хорошо знают...

Они отъехали на несколько кварталов до ближайшей стоянки и стали в самой гуще машин, не привлекая ничьих взглядов.

— Самое непостижимое, мистер Чэпмен, случилось на следующий день. Когда я рано утром пробрался к скверу и нашел место, где бросил кубок, я увидел... — Кросби снова оглянулся и, наклонившись к Чэпмену, произнес почти шепотом: — Я увидел свою сумку.

— Что?! — почти вскрикнул Чэпмен. — Сумку с кубком?

— В том-то и дело, что без кубка. Но это я узнал позже. А сначала я увидел сумку. Она лежала, как ни в чем не бывало, под большим кустом возле садовой скамейки. Я оглянулся: поблизости никого не было. Подбежать к сумке было делом одной секунды. Я схватил ее, она была раскрыта. И пуста. Кубка не было... На размышления времени не оставалось. Пока никого не было поблизости, я вышел из сквера и, умышленно обогнув несколько кварталов, с обратной стороны вернулся домой. Там я...

— Пойдите. Вы ничего больше не обнаружили в сквере? Может быть, в тех же кустах...

— Нет, уверяю вас, мистер Чэпмен, там - ничего не было. Хотя я очень спешил, но успел посмотреть вокруг. Кубка нигде не было. Да и сумка, я же вам говорил, была раскрыта.

— А в самой сумке вы ничего не заметили?

— Нет, ничего. Она была совершенно пуста. Ее смяли и бросили под кусты. Было такое впечатление, что человек, который вынимал кубок, очень спешил.

— Вы считаете, что сумку нашла не полиция, а кто-то другой?

— Я не знаю. Но если бы ее нашла полиция, какой им был смысл оставлять ее в кустах? Они забрали бы и кубок и сумку. Или по крайней мере пустили бы по следу собак.

— Но если кто-то посторонний нашел кубок, чего вдруг он оказался в чужом саду на Бьюла-хилл?

— Это невозможно понять, мистер Чэпмен. Много дней я ломал голову над этим вопросом, но так и не нашел ответа.

— Давайте спокойно взвесим все факты, — подумав, предложил Чэпмен. — Кто мог найти сумку с кубком? Вероятнее всего, ее нашли все-таки полицейские, гнавшиеся за вами. Хотя вас они и не настигли, но определенно предположили, что, спасаясь от погони, вы где-то бросили сумку. Не может быть сомнения, что они ночью прочесали все скверы и перекрестки в этом районе. Вы согласны со мной?

— Да, мистер Чэпмен. Но почему...

— Почему они не взяли сумку?... Это, конечно, сильный аргумент. И он основательно колеблет мою версию о полиции.

— Я тоже вынужден был оставить эту версию. Непостижимо, чтобы полиция не забрала прямые улики против похитителя. Такого не бывает даже в сатирических рассказах о Скотланд-ярде.

— Хорошо. Если полиция отпадает, — сказал Чэпмен, — второе предположение может быть таким: кубок нашел какой-то неизвестный человек.

— Эта версия тоже сомнительна, мистер Чэпмен. Ведь каждый человек в здравом уме, найдя такую драгоценность, не стал бы раскрывать ее, а унес бы в закрытой сумке. И потом не ясно, почему, заполучив кубок, он почти сразу же лишился его?

— Почему вы думаете, что сразу?

— Ну, говорили же, что кубок найден был утром в воскресенье.

— Это были беспорядочные слухи. В понедельник все газеты уточнили, что Корбетт нашел кубок около девяти часов вечера. Вопрос в том, где он находился *между субботой и воскресеньем.

— Я думаю, что нёс может интересовать только воскресенье. Найти вечером темную сумку среди густых кустов почти невозможно. Да и искать ее в субботу, кроме полиции, никто не мог. Наверное, сумку нашли утром, незадолго до моего прихода.

— Ну, а если предположить, что вечером какой-то незнакомец видел, как вы бросили сумку, а затем подобрал ее и обнаружил кубок?

— Очень сомнительно, чтобы кто-нибудь находился в этом темном углу в десять часов вечера. И потом, мистер Чэпмен, вы не находите, что в версии с незнакомцем совсем уж примитивно выглядит полиция. Она все время гонится за кубком, а находят его другие. Ведь вы же сами сказали, что полиция наверняка прочесала все скверы в этом районе.

— Да, это, пожалуй, верно. Я не настаиваю на вечернем незнакомце. Возможно, кубок был найден утром, когда рассвело... В какое время вы пришли туда?

— Было около восьми тридцати.

— Так. Значит, нас может интересовать время примерно с восьми утра до девяти вечера. В этот период и произошли какие-то метаморфозы с кубком. Но что именно случилось?..

— Я с удовольствием бы вам помог, мистер Чэпмен, потому что вижу, как горячо вы взялись за это дело. Но уверяю вас, я сам запутался в догадках и ничего не могу понять.

— Знаете что: мы сейчас поедem с вами к Майклу Климптону. Это мой приятель, он знает толк в таких делах. Климптон начинал карьеру частным детективом, долго служил в военной полиции, а теперь содержит адвокатскую контору. Уверен, что он поможет нам разобраться в этой загадке.

Кросби не хотелось ехать. Он возражал и упряился, не желая привлекать к себе внимания новых людей. Хватит уже напугавшего его происшествия в редакции. Конечно, он заработал на этом четыреста фунтов, но ведь Все могло кончиться иначе. И разве можно быть уверенным, что этот Климптон, к которому они поедут, останется равнодушным к такому делу. Все адвокатские конторы так или иначе связаны с полицией. И Кросби еще раз попытался убедить редактора отпустить его и не впутывать в это расследование, которое не сулило ничего, кроме неприятностей.

И все же Чэпмен сумел уговорить его, и минут через сорок они сидели в кабинете Майкла Климптона.

Обменявшись мнениями о финальном матче, Чэпмен приступил к делу. Он изложил Климптону все известные обстоятельства и рассказал о версиях и догадках, которые они обсуждали с Кросби.

Многое для Климптона уже не было новостью. В свое время он даже советовал Чэпмену не слишком вникать в это дело, полагая, что в нем замешаны весьма влиятельные лица. И сейчас он начал с предупреждений. Однако Чэпмен нетерпеливо перебил его и попросил говорить по существу дела.

Тогда Климптон высказал мысль, которая заставила побледнеть Кросби:

— Обсуждая свои версии, господа, вы забыли проанализировать одну: пустая сумка могла быть специально оставлена полицией. Как приманка. И вы, мистер Кросби, на нее клюнули.

Кросби сидел, не шелохнувшись, его руки, лежавшие на коленях, мелко дрожали. Уже несколько месяцев он жил под страхом, что полиция следит за ним. И вот теперь слова адвоката подтверждали это.

Климптон продолжал:

— Я полагаю, что полиция в это утро внимательно следила за каждым, кто мог подойти к сумке. Никого из посторонних такая старая вещь не заинтересовала бы. Взять сумку мог только хозяин. И он ее действительно взял. В этот момент полиция получила прямую улику против похитителя кубка.

— И почему же его не арестовали? — спросил Чэпмен.

— Вот это остается загадкой. Правда, должен признаться, мне и раньше казалось, что Скотланд-ярд не очень охотно занимался прямыми уликами в этом деле. Словно кто-то боялся, что детальное расследование даст нежелательные результаты.

Кросби, по-прежнему бледный, встал, как-то растерянно извинился и, сославшись на недомогание, простился и вышел.

— Бедняга порядком настрадался, — сказал Климптон, глядя в окно. — Подумать только, что все это ради двухдневного обладания богиней. И не какой-нибудь пылкой Афродитой или Дианой, а всего лишь золотой бестелесной богиней Нике! — Он весело рассмеялся.

Но Чэпмен был серьезен.

— Ты уверен, что полиция знает о связи Кросби с этим делом? — спросил он.

— Не сомневаюсь. Ты, Дин, недостаточно хорошо знаешь лондонскую уголовную полицию. Там работают агенты экстра-класса, и обвести их вокруг пальца мало кому удавалось. Когда был арестован Блетчли, полиция, несомненно, установила наблюдение за всеми его знакомыми, которые могли с ним общаться, в том числе, конечно, и за этим Кросби. Кроме того, он сам говорит, что, когда в субботу вечером вышел из дома, его остановили. Значит, приметы его засекли. И хотя он сбежал тогда от своих преследователей, ничего не стоило задержать его ночью, когда он явился домой, или утром. Разве не так?

— Да, все это странно.

— Более чем странно. Похититель «Золотой богини» до сих пор не задержан, как будто полиции нет до него ровным счетом никакого дела. Слишком сомнительная случайность!

— Ну, а если все-таки кубок нашла не полиция, а какой-то никому не известный человек?

— Ничего не могу тебе сказать. Тот факт, что о находке объявили лишь через сутки, говорит либо о каких-то странных превращениях кубка в полиции, либо о том, что его действительно кто-то нашел и в тот же день вынужден был с ним расстаться. — Климптон, все время расхаживавший по кабинету, вдруг остановился и на момент задумался. — Послушай, Дин, а если... кубков было два?

— Как то есть два?

— А вот как. Со времени ареста Блетчли одновременно с поисками «Золотой богини» могли спешно готовить ее дубликат. Ты, наверное, помнишь, что о дубликате начали поговаривать через несколько дней после исчезновения богини из Вестминстера.

— Да, об этом говорили. Но не больше. Никто ведь не изготовил такого дубликата.

— Ты можешь за это поручиться?

— Нет, но...

— В том-то и дело, что нет. И никто за это поручиться не сможет. Представь себе на момент, что Корбетт и его собачка нашли в то воскресенье фальшивую «Золотую богиню», которую полиция поспешила выдать за оригинал.

— Ну, знаешь, Майкл, это — слишком дикое предположение! Такая фантастика не приближает нас к истине.

— Дорогой Дин, Лондон слишком велик. И нет ничего такого, что в этом городе не могло бы произойти... Что я могу посоветовать? Есть один симпатичный старик, прекрасный знаток спортивных конфликтов. В его досье собраны все крупные трагедии и комедии в спортивном мире. Это Марк Лестер, возможно, ты о нем слышал. К его услугам не раз прибегал Скотланд-ярд. Я думаю, что похищение футбольной богини не прошло мимо Лестера. Давай договоримся так: я на днях созвонюсь с ним, а потом дам тебе знать, и мы вместе к нему подъедем. Мне ведь это тоже интересно.

— Безусловно, — с иронией заметил Чэпмен. — Самое интересное дело, которое могло бы случиться в твоей практике, — это дело против Скотланд-ярда.

— Это, конечно, заманчиво, — улыбнулся Климптон, — но не думаю, чтобы кто-нибудь в целом мире взялся за такое дело. Я сам уплачу кому угодно, лишь бы не связываться с парнями оттуда... Однако же старина Лестер может нам сообщить много интересного и поучительного.

Они расстались. Редакционные дела отвлекли Чэпмена от судьбы футбольной богини, но, возвратившись поздно вечером домой, он долго не мог уснуть. Несмотря на усилия, ему не удавалось отогнать назойливую мысль. Он все время видел два кубка. Два! Тогда, в марте, Кросби полагал, что чемпионом мира станет Бразилия или Португалия; возможно, немцы. Похитив богиню, он надеялся, что ФИФА вынуждена будет изготовить для чемпионов мира новый кубок, а он, Кросби, вручит настоящую богиню своим дорогим землякам — английской сборной, которая достойна будет такой награды за самоотверженную борьбу до самого финала.

Неужели фантазия Кросби обернулась реальностью, но не желанной, а такой злой, такой оскорбительной для сборной Англии, которая все-таки стала чемпионом мира? Появился ли в ту злосчастную неделю второй кубок и где он сейчас?.. Вопросы невозможно отогнать. Они не дают покоя. Они возникают вновь и вновь... Неужели в руках королевы в победный день тридцатого июля был не оригинал золотого трофея, а лишь его дубликат, копия?...

Только в четвертом часу утра Чэпмену удалось заснуть. Днем он позвонил Климптону и поделился своими сомнениями. Он хотел вечером поехать к Лестеру, но оказалось, что тот болен.

Прошла почти неделя, пока Климптон снова созвонился со стариком и тот сообщил, что готов принять джентльменов.

5. марк лестер уточняет факты

Они приехали втроем: кроме Климптона, Чэпмен считал полезным присутствие на беседе Рэймонда как человека, наиболее осведомленного в спортивном калейдоскопе.

Лестер встретил их очень любезно, но сразу предупредил, что достоверных сведений о «Золотой богине» у него пока нет.

— Все это дело, джентльмены, соткано из противоречий. Они торчат из него, как спицы из хаотического клубка. Жаль, что у меня уже не те силы, чтобы этот клубок распутать. Лет десять — пятнадцать назад я бы еще, пожалуй, взялся, но теперь... Вы сами видите, что я с трудом достаю до верхних полок моего стеллажа. — Стоя на раздвижной лестнице, он дотянулся до толстой папки с какими-то надписями на обложке и, не раскрывая, положил ее на стол.

Чэпмен прочел заглавие: «Дело о большом футбольном ограблении». Немного ниже было помечено: «Начато 20 марта 1966 года. Окончено...» И еще ниже: «Истец — «Золотая богиня». Ответчик — Правительство Ее Величества».

— Не относитесь серьезно к этим надписям, джентльмены, — улыбнулся Лестер. — Просто я уте шаю себя, что могу хотя бы в тишине своего кабинета вести такое необычноз дело.

Он неторопливо прошел к столу, уселся и, придвинув к себе папку, сказал: »

— Должен заметить, что начиная с 1895 года, когда был украден национальный кубок по футболу, и вплоть до середины нашего века воры похищали в Англии разные спортивные кубки с промежутком в десять — двенадцать лет. Затем спортивные трофеи начали пропадать раз в пятилетие, а теперь даже чаще. В прошлом году, как вы знаете, был похищен исторический «Пояс чемпиона» Англии по боксу, впервые повязанный в Лондоне победителю кулачной схватки 1860 года. И вот теперь это таинственное похищение «Золотой богини»!

Лестер открыл папку, вынул лежавшую сверху фотографию и положил ее на стол.

— Это, джентльмены, очень редкий снимок кубка Жюля Римэ, который мы теперь называем «Золотой богиней». Снимок сделан в 1938 году, когда Италия вторично стала чемпионом мира. Сделал это фото Барасси — вы, возможно, слышали о нем как о вице-президенте Итальянской федерации футбола. Я его хорошо знаю. Это очень мужественный человек. В годы войны он, узнав о претензиях немцев, закопал кубок под Турином, а потом два года прятал его у себя среди старых вещей. Немцы требовали выдачи кубка под предлогом проведения в Берлине нового первенства мира. Действительная причина была в другом: гестапо, как мне известно, искало кубок по прямому указанию Геринга, который хотел сделать «Золотую богиню» украшением своей коллекции. Барасси, несмотря на обыски и арест, ничего не выдал. Он показывал немцам фотоснимки и утверждал, будто это — все, что у него сохранилось от кубка. Вот так и пережила «Золотая богиня» мировую войну... — Лестер хотел показать еще один снимок, но Климптон перебил его:

— Ты меня извини, Марк, но давай от героической истории обратимся к нашей паскудной современности... Ты помнишь, я говорил тебе о похитителе, некоем Кросби, который рассказал о подробностях кражи кубка. Можно полностью верить в его версию?

— В этом деле ни во что нельзя верить окончательно. Но, по моим данным, версия этого Кросби очень правдоподобна. У меня уже не вызывает никакого сомнения причастность полиции к похищению кубка. Ведь еще в январе, когда бразильцы привезли «Золотую богиню» на церемонию жеребьевки чемпионата, они предупреждали, что меры, предпринимаемые английской полицией, недостаточны. В самой Бразилии кубок хранился в Государственном банке. В тех немногих случаях, когда его демонстрировали на выставках, организовывалась круглосуточная охрана. Полицейские стояли с четырех сторон кубка, не позволяя посетителям подходить к нему ближе чем на полтора метра. А что было у нас? Видимость сильной охраны плюс хвастливые заявления, плюс попустительство вору. Вот вам факты, джентльмены. Сентрал-холл Вестминстера охраняли шесть детективов. Такой

охране можно* было поручить не только маленький кубок, но целый ракетный полигон. В субботу, 19 марта, старший из шести детективов делает такое заявление: «Невероятно трудно выиграть кубок мира по футболу, но еще труднее его украсть». Это, конечно, всех успокаивает. На следующий день кубок крадут. Атакованный корреспондентами Уильям Литтл, главный инспектор Скотланд-ярда, 21 марта вынужден признать, что он не знает, сколько детективов из шести были на месте в тот момент, когда вор, взломав замки, проник в Централ-холл. Возможно, и ни одного, сказал он, потому что в одиннадцать часов была смена караула... Неплохо, а? — Лестер обвел взглядом сидевших и, прищурив глаза, добавил: — Редкий случай в полицейской практике: караул будто специально сменяется не у охраняемого объекта, а где-то во внутренних помещениях Вестминстера...

Он молча отыскал что-то в своей папке и продолжал:

— Но допустим, джентльмены, что это все же случайность. Взгляните сюда. Это заявление Рейда, возглавляющего лондонскую охранную фирму АЛСА. 22 марта Рейд сказал, что он со своими сотрудниками произвел точную реконструкцию преступления и пришел к выводу, что это профессиональная работа. По его словам, винты, на которых крепились замки входной двери и стенды с кубком, были ослаблены накануне похищения. Если поверить инспектору Литтлу и предположить, что в воскресенье охрана не оказалась на своем месте случайно, то спрашивается, где же она была в субботу, когда воры подготавливали к взлому замки? Две случайности подряд — это слишком много для опытной полиции Лондона... Я бы мог, джентльмены, еще многое добавить к этому — в деле у меня собрано немало свидетельств. Но, я думаю, и без того можно подтвердить правдоподобность той версии, которую Кросби изложил у вас в редакции, мистер Чэпмен. К тому же он, кажется, принес к вам кусочки натурального оникса, снятые с «Золотой богини»?

— Да, химический анализ подтвердил их подлинность.

— Ну хорошо, Марк, — вмешался в разговор Климптон, — у нас есть уже немало сведений о неблагоприятной роли полиции при похищении кубка Эдвардом Блетчли. Но прошло несколько дней шумного ажиотажа, и кубок попал ко второму похитителю — Кросби. Это происшествие сорвало всю игру. Что, по-твоему, начала делать полиция?

— Тут они привели в движение все свои силы, В эти два дня Скотланд-ярд проявил максимальную активность.

— Ив результате в субботу вечером они выследили Кросби и заставили его бросить кубок?

— Возможно.

— К кому, по-твоему, он попал?

— Я бы предпочел, чтобы ты задавал мне вопросы полегче. Достоверно мне известно лишь то, что версии полиции насчет пятницы и субботы очень противоречивы. — Лестер достал из папки какую-то бумагу и сказал: — Вот официальная версия, фигурировавшая во время суда над Блетчли. В среду, 23 марта, председателю Британской ассоциации футбола Джо Мирсу позвонил по телефону неизвестный л сказал, что за выкуп в пятнадцать тысяч фунтов стерлингов он может вернуть «Золотую богиню». Они договорились, что Мирс подумает и в случае согласия даст в отделе реклам вечерней газеты текст условного объявления. На следующий день такое объявление было напечатано: «Согласен на сделку. Джо». Наутро последовал новый звонок незнакомца и предложение встретиться для обмена кубка на выкуп. Жена Мирса сообщила, что ее муж занят и на свидание приедет его друг. Этим «другом» был полицейский детектив Багги, который со среды дежурил в доме Мирса.

Встреча состоялась в одном из парков. Незнакомец спросил доверенного Мирса, хочет ли он сейчас получить «пакет». «Конечно, — ответил Багги, — деньги со мной. Под пакетом вы имеете в виду кубок?» «Да, я знаю, где он», — ответил незнакомец.

Они сели в машину и двинулись вдоль ограды парка. Вдруг незнакомец заметил, что следом за ними неотступно движется другая машина. В мгновение ока он выскочил из

кабины и бросился бежать. Но было уже поздно... Арестованный незнакомец, по данным полиции, оказался Эдвардом Блетчли.

Лестер порылся в папке, достал из нее сложенный вчетверо листок газеты и сказал:

— В этой полицейской версии все хорошо, кроме одной детали. Я перерыл вечерние газеты и действительно обнаружил в «Ивнинг стандарт» условное объявление Джо Мирса. Вот оно, посмотрите. Текст опубликован 25 марта, то есть в пятницу, вечером. Если следовать официальной версии, то Блетчли должен был звонить и договариваться о встрече в субботу утром. Между тем он был арестован ночью в пятницу.

— М-да, — произнес Климптон, — кислая версия.

— Ее составляли, наверное, так же поспешно, как некоторые американские объяснения насчет полетов «У-2», — улыбнувшись, заметил Рэймонд. — Но неужели Джо Мире тоже влип в это грязное дело?

— Не думаю, — ответил Лестер. — Я хорошо знаю Мирса. Он долгие годы возглавлял мой родной клуб «Челси». Могу утверждать, что сам Мире — порядочный человек, но все дело в тех, которые действовали за его спиной. Между прочим, у меня есть копия одного протокола из процесса Блетчли. Сейчас я найду ее... Вот взгляните. Оказывается, что Мирсу уже после ареста Блетчли еще раз звонили в воскресенье утром и опять предлагали кубок, но уже не за пятнадцать, а за десять тысяч фунтов.

— Пойдите, — сразу оживился Чэпмен. — Вы говорите, это было в воскресенье утром?

— Да, — ответил Лестер. — Здесь даже указано, что звонок был около девяти часов утра.

— Но это же прямо связано с рассказом Кросби о потерянной сумке, — воскликнул Чэпмен. — Кросби подобрал ее в сквере около восьми тридцати. Сумка была пуста. Если кубок не нашла вечером полиция, то мог найти какой-то неизвестный часов в восемь — в марте как раз в это время светает.

— Но Мирсу звонили не из района Уолворт, где живет Кросби, а совсем из другого места, — сказал Лестер. — Расследование установило, что звонили с какого-то телефона по Найтс-хилл. Это в районе Норвуда, рядом с Бьюла-хилл.

— Тогда давайте проверим, — предложил Чэпмен, — мог ли неизвестный, найдя кубок, попасть менее чем за час из Уолворта в Норвуд. Машины у него, конечно, не было: человек, имеющий машину, не станет рано утром шляться в полутемном, заброшенном сквере.

Лестер достал из шкафа большой план Лондона и разложил его на столе. Все склонились над картой.

— Сумка с «Золотой богиней» была брошена здесь. — Чэпмен указал на сквер неподалеку от Гровенор-террас.

— Человек, нашедший кубок, должен был искать быстрее выход из этого района, — заметил Климптон. — Верней всего предположить, что он вышел на Нью Кембервелл-роуд и побежал к ближайшей станции метро у Кеннингтон-овал. Расстояние здесь небольшое — всего полмили или даже меньше.

— Не думаю, чтобы он ехал на метро, — возразил Лестер. — Ведь поблизости от Найтс-хилл, откуда он звонил, нет никаких линий метрополитена. Скорей всего его могла устроить железная дорога. Если он пошел вверх, то вышел по Уолворт-роуд к станции Элефант-энд-Гэстл. А если он направился южнее, то вышел к узловой станции Локборо. И в одну и в другую сторону около мили. На это потребовалось бы менее двадцати минут. Поезд мог довести его до Западного Норвуда за десять минут, а отсюда идут автобусы по Найтс-хилл. Есть и другой вариант: он едет до Джипси-хилл, а затем переулками выходит к своему дому. На все эти передвижения ему потребовалось: бы минут пятьдесят, не больше. Во всяком случае, за час он вполне мог попасть к своему дому.

— Итак, — подытожил Климптон, — мы склоняемся к выводу, что «Золотую богиню» нашел утром в воскресенье какой-то незнакомец, позвонивший Мирсу. Ты что-нибудь еще можешь добавить, Марк?

— Могу. После того как раздался телефонный звонок у Мирса, в район Найтс-хилл ринулись восемь полицейских машин. Они начали прочесывать все дома, магазины, скверы — и так до самого вечера.

— И все безрезультатно?

— Да. Правда, потом, когда Корбетт нашел кубок, полиция заявила, что основную роль сыграла она, так как именно спасаясь от преследования, человек, прятаявший кубок, вынужден был выбросить его за ограду садовой лужайки. По-моему, это не очень убедительно. В любом районе Лондона есть десяток мест, где можно так упрятать драгоценность, что ее не найдет целый взвод пинкертонеров. Зачем надо было бросать богиню в чужой сад, до сих пор не ясно. И кто это сделал, тоже неизвестно...

— Марк, скажи откровенно: у тебя есть какие-то подозрения? Лестер вздохнул и отвернулся к окну.

— Может быть, я облегчу тебе задачу, — сказал Климптон. — Мы с Чэпменом на прошлой неделе говорили о двух «Золотых богинях»...

— Вам тоже пришла эта мысль? — воскликнул Лестер. — Я не могу избавиться от нее, как только начинаю думать об этой истории. Вы понимаете, джентльмены, ситуация в тот воскресный день была для полиции очень тяжелой. Истекала неделя со дня похищения кубка, а он, несмотря на все обещания Скотланд-ярда, не был еще обнаружен. Между тем на носу были парламентские выборы...

— Да, я помню, — сказал Чэпмен, — уже на второй или третий день после кражи кубка лидер консерваторов Хит использовал похищение богини для язвительных выпадов против лейбористского руководства.

— И эти выпады, джентльмены, повторялись потом консерваторами, выступавшими в своих избирательных округах. — Лестер достал несколько вырезок из предвыборных газет и разложил их на столе.

— Послушайте, господа, — улыбнулся Климптон, — Не слишком ли далеко мы заходим в своих предположениях? Трудно представить, что это дело настолько серьезно, что можно связывать его с политикой.

— Ты так думаешь? — Лестер свел брови, взгляд его стал жестким. — Я убежден, что если дело довести до конца, то пришлось бы подать в отставку не только некоторым тузам в Скотланд-ярде, но и кое-кому повыше. И не только потому, что за действия полиции отвечает правительство. Если ты, Майкл, забыл, я тебе напомню, что в Англии двадцать три миллиона болельщиков футбола. Почти все они в избирательном возрасте. Эти люди очень нервно воспринимали пропажу кубка и его безрезультатные поиски. Их недовольство, естественно, обращалось против Скотланд-ярда и беспомощных властей. Нажим на полицию возрастал и сверху и снизу. До выборов оставались считанные дни. Все требовали что-то сделать, что-то предпринять. И тогда те, которые своим потворством или разгильдяйством способствовали похищению «Золотой богини», решились на новое коварство. - - ,•

— Ты хочешь сказать, что в сад Корбетта... была подброшена фальшивая богиня?

— Я не могу этого утверждать, но мне кажется, что так оно и было. — Лестер умолк. Он сидел, облокотившись о стол, опустив свою большую голову с пышной седой шевелюрой. < >

— Мистер Лестер, — заговорил после некоторого молчания Чэпмен, — вы не помните, что впервые натолкнуло вас на мысль о двух кубках?

— Не подумайте, что это было заявление Блетчли, о котором сообщило радио и ваша газета. Еще до того, как в подлинности кубка усомнился Блетчли, у меня уже были веские подозрения.

— На основе улики? — спросил Климптон.

— Да, но, к сожалению, косвенных. Я уже говорил, что не понимаю, зачем человеку, нашедшему кубок, потребовалось его выбрасывать. Если ему не удалось получить за него десять тысяч, фунтов выкупа от Джо Мирса, то он мог заново имитировать его находку и спокойно получить шесть тысяч фунтов, которые достались Корбетту. Дальше. После того как Корбетт нашел «Золотую богиню», кто ее видел?

— Как это кто видел? — спросил Рэймонд. — Во всех газетах и у нас в том числе печатались фотографии кубка, когда его привезли в полицию.

— Вот эти снимки, мистер Рэймонд. Они хранятся у меня в деле. Взгляните сюда, вы можете что-нибудь разобрать? .

— Ну... я ясно вижу, что это кубок с богиней Нике. Лестер вздохнул.

— Да, это, конечно, богиня Нике. Но какая? Вот в чем вопрос. Все сиймки сделаны с расстояния не ближе четырех метров. Показывал кубок журналистам Джон Бейли, шеф полицейского управления в Кэннон Роу. Посмотрите внимательнее. Бейли открыл дверь несгораемого сейфа и все время старался держать кубок внутри, не вынимая его. На один момент по настоянию фотокорреспондентов он все же вынул кубок, но отвел его от гнезда сейфа буквально на один-два дюйма, вот здесь это видно... Теперь скажите, можно ли по таким снимкам определить подлинность «Золотой богини»?

Все молчали. Лестер продолжал:

— Ожидалось, что кубок будет привезен в суд в качестве вещественного доказательства во время процесса Блетчли. Однако «Золотую богиню» подсудимому не показали. Возможно, кто-то опасался, что он ее опознает... Ну, потом полиция хвастала, что секрет замка от сейфа с кубком знают только два человека в Англии и что до финального матча богиню никто не увидит. Так оно и получилось. Кубок под сильной охраной привезли тридцатого июля на стадион «Уэмбли» и установили в королевской ложе. После торжественной церемонии закрытия чемпионата в отеле «Ройял-гарден», когда капитану Роберту Муру разрешили с балкона показать богиню Нике ликующей толпе, кубок снова попал в несгораемый сейф. Попробуйте теперь провести его экспертизу. Кто на это согласится?..

— Мистер Лестер, предположим, в то мартовское воскресенье в сад Корбетта был действительно подброшен дубликат «Золотой богини». Но откуда он мог взяться? Ведь поспешно изготовить такую вещь почти невозможно.

— А я и не говорю, что поспешно. На это ушло пять-шесть дней. Напомню вам, джентльмены: уже 22 марта, через день после похищения богини, лондонское радио сообщило, что приняты меры по изготовлению нового футбольного трофея. Тогда же стало известно, что Британская футбольная ассоциация ведет переговоры с ювелирной фирмой «Голд-смитс», которая берется изготовить новую «Золотую богиню». Прошел еще день, и всякие сообщения на эту тему прекратились, будто по указанию каких-то влиятельных лиц.

— Но ведь можно узнать подробности у самой фирмы «Голдсмитс», — сказал Рэймонд.

Лестер засмеялся.

— Конечно, это было бы недурно и, главное, очень просто... Увы, мистер Рэймонд, почтенная фирма «Голдсмитс» гордится тем, что за восемь веков своего существования она никогда не раскрывала секрета своих клиентов.

— Между прочим, — сказал Климптон, — версию о дубликате богини подтверждает и скандал с вознаграждением. В мою контору обращались даже за разъяснениями. Дело в том, что, пока кубок искали, обещанное вознаграждение все больше росло. Тысячу фунтов обещал Национальный спортивный клуб, по пятьсот — шестьсот — фирма «Жиллет» и еще несколько компаний. Не поспешил на тысячу фунтов и артист-комик Томми Триндер, он же председатель клуба «Фулхэм». Но когда кубок был найден, оказалось, что никто не хочет платить. Две промышленные компании заявили, что у них возникли сомнения. В том же духе выступил Джо Мире. А Триндер сказал, что ничего не уплатит Корбетту, так как тот не вручил кубок лично ему. Возня вокруг денег вызвала, если вы помните, целый скандал.

«Дейли экспресс» вышла с огромным заголовком: «Джо Мирса в отставку!» Тогда председатель футбольной ассоциации забил отбой. В специальном письме он заявил, что берет свой протест назад: «Нам возвратили наконец кубок, и это — главное». Пошел на попятную и Триндер. «Не мог же Корбетт, — сказал он, — везти кубок в Бирмингем, где я выступал в тот день! Пусть берет свои деньги...» В общем скандал тогда замяли, и все быстро затихло.

— Затихло, но не надолго, — сказал Лестер. — В середине апреля начался суд над Блетчли, и снова забушевали страсти. И вот тут у меня сложилось твердое убеждение, что какие-то лица или, может быть, даже целая организация стараются всеми силами отвлечь внимание от «Золотой богини». В тот день, когда в суде на Бау-стрит началось слушание дела Блетчли, из почтового отделения Пэкхем было похищено неизвестными восемьдесят тысяч фунтов стерлингов. Кража была, как говорят в полиции, рваная: почти все деньги вскоре же были найдены. Но днем раньше кто-то пытался похитить статую Уин стона Черчилля в Эссексе. Случай беспрецедентный. Пока газеты муссировали эти происшествия, дело с «Золотой богиней» тускнело, теряло свою остроту. И вот я спрашиваю, джентльмены, не было ли все это попыткой отвлечь внимание от дела Блетчли, чтобы придать ему заурядный характер?

— Вполне возможно, — сказал Чэпмен. — Но могло быть и простое совпадение. Нам остается лишь строить догадки... К сожалению, пока только догадки. Нужны факты, а их все-таки мало.

— Ну, я бы этого не сказал, — возразил Климптон. — У нас уже целый чемодан гипотез, и, должен сказать, они мне нравятся. Если бы я взялся вести судебный процесс в пользу «Золотой богини», у меня в руках были бы уже приличные доводы.

— Так возьмитесь, мистер Климптон, — искренне предложил Рэймонд. — Мы все вам поможем.

— Ну нет, дорогой мой. Я не хочу раньше времени попасть в преисподнюю. Даже если господь бог вручит мне там самую натуральную «Золотую богиню».

Лестер усмехнулся.

— Я не думаю, что кубок уже попал ко всевышнему. Скорее всего он где-то на грешной земле. Весь вопрос в том, где он, где?..

Наступило молчание. Мысли каждого, казалось, были заморожены полной неопределенностью ситуации. Фактов было много, очень много, и в то же время мало. Много для того, чтобы вызвать сомнения и поставить вопросы. Мало для того, чтобы подтвердить сомнения и ответить на вопросы.

Смеркалось. Лестер встал из-за стола и включил свет. Не спеша, он вышел в соседнюю комнату и минуту спустя принес оттуда большой глобус. Поставив его на стол, он внимательно оглядел всех и заговорщическим тоном произнес:

— Хотите знать, джентльмены, эпилог этой фантастической истории? Кубок попадает в эту часть света. — Лестер ткнул пальцем в южноамериканский континент.

Все невольно улыбнулись.

— Смеетесь?.. Извольте. Но, может быть, еще заплачем. — Он быстро подошел к столу, вынул из папки какие-то вырезки и прочел: — «В Рио-де-Жанейро в первых числах августа внезапно распространился слух, что кубок Жюля Римэ находится у какого-то таинственного человека в пригороде Рио, а в Англии якобы остался дубликат кубка». — Лестер взял другую вырезку. — Газета «Журнал де Бразил» напоминает о высказываниях спортивных руководителей Аргентины и Уругвая, которые, будучи огорчены неудачами южноамериканских команд в чемпионате мира и несправедливым, по их мнению, судейством, призывали к выходу из ФИФА и созданию независимой футбольной ассоциации Латинской Америки. При этом вспоминают слова одного из руководителей аргентинского футбола, который воскликнул на стадионе «Уэмбли», когда королева вручала англичанам кубок: «Если бы у нас в Латинской Америке какими-то судьбами оказалась сейчас «Золотая богиня», я не сомневаюсь, что мы завтра же создали бы свою ассоциацию и

развалили всю ФИФА!..» Что вы на это скажете? Кто из вас, джентльмены, возьмется утверждать, что настоящий кубок Жюля Римэ был, есть и останется в Лондоне?

Все молчали. Трудно было что-либо возразить Лестеру.

Климpton вздохнул и сказал с грустной улыбкой: — Мне остается лишь повторить твои слова, Марк, которые я очень люблю: Лондон — слишком большой город, и нет ничего такого, что в нем не могло бы произойти...

вместо эпилога

Читатель, который ждет от автора продолжения рассказа о драматических странствованиях «Золотой богини», будет, наверное, раздосадован, узнав, что никаких дальнейших приключений не произошло.

И дело не в том, что автор устал распутывать клубок таинственных злоключений футбольной богини и поленился следовать за ней дальше по тернистому пути. Позвольте заверить всех гневающихся, что автор изрядно поломал голову над поисками потерянных следов богини Нике. Но однажды он понял, что если дело и дальше будет развиваться в том же духе, то он, а вместе с ним и читатели неизбежно заблудятся в лабиринте необыкновенных гипотез и фантастических головоломок, которые хороши всем, кроме одного: они способны противоречить фактам.

Автор пребывал в состоянии растерянности до тех пор, пока неожиданный случай не вывел его из оцепенения.

...Мартовским утром тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года реактивный лайнер компании «САС» доставил в Москву группу британских туристов, следовавших через Стокгольм в Советский Союз. Среди пассажиров, спускавшихся по трапу, обращал на себя внимание широкоплечий пожилой мужчина с красивой седой шевелюрой. Первым его вопросом к девушке, присланной из «Интуриста», было:

— Не найдется ли у вас приличный отель поблизости от крупного стадиона?

— Есть хорошая гостиница недалеко от Лужников. Но это, понимаете... «Юность».

Англичанин усмехнулся:

— Вы считаете, что юность уже не для меня, даже если она гостиница?..

Вечером он осмотрел весь стадион — большую и малую спортивные арены, Дворец спорта, теннисные корты. Узнав, что в это время года больших игровых соревнований в Москве не проводится, он попросил туристское агентство устроить ему поездку в любой конец страны, где играют в футбол.

— Побывать в России и не увидеть русского футбола было бы неосмотрительно. Я еще надеюсь дожить до того дня, когда ваши ребята встретятся с нами в финале мирового чемпионата.

Через день он был в Тбилиси. Если вы помните, там как раз проходил розыгрыш «Подснежника» — первого футбольного приза сезона, учрежденного «Советским спортом».

В гостинице номер англичанина оказался рядом с комнатой случайно заброшенного командировкой в Тбилиси темпераментного болельщика, который к тому же не прочь был поупражняться в переводах с английского. Эти двое быстро нашли общий язык и матчи «Подснежника» Посещали вместе.

В последний день розыгрыша после окончания финального матча англичанин, глядя на церемонию вручения приза, вспомнил лондонский «Уэмбли» в день победы английской сборной, вспомнил очаровательную богиню победы в руках королевы Елизаветы и внезапно спросил:

— Что думают в России о «Золотой богине»?

— Как вам сказать... Думают, что неплохо было бы отобрать ее у Рамсея и привезти в Москву в августе семидесятого года.

— Ну, в семидесятом вам это еще не удастся. Тем более, что мы решили хранить ее надежно.

— Не так, как в Вестминстере?

— Вы намекаете на похищение богини? — Англичанин грустно усмехнулся. — Волею судьбы я оказался поблизости от этого нечистоплотного дела и в азарте чуть было не смастерил дурной сенсации. Слава богу, все кончилось благополучно, и теперь я могу спокойно вспоминать о случившемся...

И он рассказал историю, которая заканчивалась так же неожиданно, как и начиналась. Нет смысла повторять эту историю, вы уже прочли о ней... Но кто же рассказчик?

— Можете величать меня как угодно. В конце концов, я частное лицо. И от того, кто я: Лестер, Браун или Уинтерботтом, — мало что меняется.

— Мистер... пусть уж будет Лестер, раз мы так начали, скажите, что произошло после того вечера у вас дома, когда вы обсуждали зловещие «Золотой богини»? |

— Я бы сказал, что ничего особенного не произошло. Финал этой прискорбной истории прошел без оваций... Дело было так. . Ц1

К началу декабря мистер Чэпмен собрал большой разоблачительный материал о всех этих отвратительных махинациях вокруг «Золотой богини». Насколько мог, я ему помогал в этом. Вы согласитесь, я думаю, что джентльмен не вправе равнодушно проходить мимо той грязи, которая со всех сторон налипает на спорт, как только к нему прикасаются жадные руки... Так вот Чэпмен собирался к рождеству напечатать свой гневный памфлет в какой-то крупной газете. Он даже мне не говорил, в какой, опасаясь преждевременной огласки. И все же что-то, видимо, просочилось. Скотланд-ярд забеспокоился. Два раза мне звонили оттуда, но я был нездоров и никуда не выходил.

Должен вам напомнить, что как раз в то время Скотланд-ярд собирался переезжать из своего старого здания на набережной Темзы в новый небоскреб на Виктория-стрит. Такое невероятное для Лондона событие должно было проходить спокойно, без лишнего шума, тем более без сенсационных разоблачений. Поэтому делалось все, чтобы хотя бы в этот период не всплывали какие-нибудь громкие дела.

В середине декабря мне опять позвонили, на этот раз из главной инспекции, и попросили как можно скорее навестить их, Я поехал и был, как всегда, любезно встречен.

— Дорогой мистер Лестер, — сказали они мне, — у нас есть сведения, что одна из газет собирается на днях поместить какие-то сомнительные материалы о похищении кубка Жюля Римэ. Хотя всем известно, сколько сил мы приложили, чтобы найти «Золотую богиню», газетам ничего не стоит опять возбудить нездоровый интерес к этому делу. Вы наш старый друг и не раз помогали нам находить истину в спортивных драмах, поэтому...

— Ничем не могу вам помочь, — перебил я. — Истина лежит совсем не в той стороне, где вы ее ищете. Человек, который решил напечатать материалы о похищении богини, сделает, несомненно, доброе дело. Это и вам поможет в поисках истины.

— Значит, вы знаете, кто и где собирается печатать этот материал?

— Возможно.

— И вы хладнокровно согласитесь на такой чудовищный удар по престижу национального спорта?

— Скорее это удар не по спорту, а по властям и полиции. К тому же, мне кажется, это позволит наконец обнаружить настоящую «Золотую богиню».

— А какую богиню вы не считаете настоящей?

— Вы бы, наверное, лучше могли ответить на этот вопрос.

Вот так мы беседовали около часа. Вдруг помощник главного инспектора говорит мне:

— Мистер Лестер, предлагаю вам такое условие. Мы сейчас, буквально в течение получаса, докажем вам подлинность «Золотой богини». А вы, в свою очередь, укажете нам человека, который собирается печатать материалы о происшествиях с этим кубком.

Я подумал, что убедиться в подлинности богини, в том, что она действительно находится в Англии, было бы не так уж плохо. И я согласился. Но не выдать замысел

Чэпмена, а просто предотвратить печатание материалов, которые перестали бы соответствовать истине.

Пять минут спустя мы сели в машину с задернутыми на окнах шторами и матовым стеклом за сиденьем водителя. У полиции есть такие машины. Они используются в тех случаях, когда нужно, чтобы пассажир не видел, куда его везут. Минут через двадцать мы подъехали к какому-то зданию, и меня сразу провели в комнату, где не было ни одного окна и ни одного предмета. Щелкнул затвор, раздвинулись створки, и в квадратной ячейке одной из стен я увидел золотой кубок. Мне разрешили взять его в руки. Не нужно было долго изучать статуэтку, чтобы узнать в ней подлинную «Золотую богиню» со всеми ее старыми и новыми надписями и повреждениями, нанесенными временем и людьми. Ведь я уже не раз держал ее в прошлом — в Италии, Уругвае, Швеции... Я попросил сфотографировать кубок. При мне был сделан один снимок и вручен мне под слово джентльмена нигде не публиковать его. Ведь никто из посторонних не должен допускаться к месту хранения кубка. Это строжайшая инструкция, но тем не менее они позволили нарушить ее в обмен на мое обязательство предотвратить печатание материалов в газетах...

Ну, все что было дальше, мало интересно. Я поехал к Чэпмену, рассказал ему обо всем и показал снимок. Он, как и я, был очень рад подлинности «Золотой богини», но изрядно огорчился, что наши материалы, не увидев света, обречены попасть в корзинку для мусора... Вот, собственно, и все.

Лестер закурил сигару и надолго умолк. История о великом футбольном ограблении шестьдесят шестого года была досказана до конца. К ней нечего было больше добавить.

— Мистер Лестер, вы позволите задать вам вопрос?

— Извольте.

— Не совсем понятно, почему все-таки Чэпмен не мог печатать материалы о похищении богини, даже если и выяснилось в конце концов, что она никуда из Лондона не исчезала?

— Видите ли, у нас в Англии вы можете разоблачать кого угодно: и муниципалитет, и Скотланд-ярд, и премьер-министра. Но печатать ваши разоблачения будут только тогда, когда в них есть какая-нибудь сенсация. А если ее нет, вам останется только взять из дому складной стул, поставить его в Гайд-парке и ораторствовать перед кучкой любопытных. Так и с «Золотой богиней». Если бы, черт побери, богиню действительно стащил какой-нибудь бразилец и сбежал с ней в дебри Амазонки, тогда другое дело! Тогда даже уважаемая «Тайме» купила бы наш материал за бешеную цену. А так... — Лестер безнадежно махнул рукой и умолк.

— Я убежден, — продолжал он минуту спустя, — это дело стоит огласки. Хотя бы уже потому, что нельзя позволить грязным рукам прикасаться к богине победы ни в семидесятом году, ни в семьдесят четвертом — никогда!.. Если бы вам, молодой человек, удалось найти какое-нибудь издание — газету или журнал, которым дороги не столько сенсации, сколько моральные ценности в спорте, вы бы сделали доброе дело, уверяю вас.

— Я думаю, мне удастся найти такой журнал. Лестер недоверчиво прищурил свои глубокие умные глаза и, улыбнувшись, сказал:

— Благослови вас бог, простите, богиня!.. Желаю вашим ребятам завоевать ее симпатии.

послесловие

Занятную и, как принято говорить, легко читающуюся повесть написал не профессиональный писатель, а кандидат технических наук, инженер-конструктор, ныне доцент филиала Машиностроительного института из города Мурома Арсений Пархоменко. Это его первая повесть. Уж мажется, какие могут потребоваться пояснения к этой приключенческой вещице, написанной по следам несколько странного, до конца неясного сенсационного происшествия, еще всем, вероятно, памятного?!

Все бы ничего, не фигурируй тут «Золотая богиня». Будь на ее месте любое бесценное сокровище, любой несметный клад, наши читатели, я уверен, отнеслись бы к такой истории достаточно спокойно. Но с «Золотой богиней» шутки плохи. Она дорога не металлом, из которого отлита, не суммой страховки. Дороже всего — ее крылья. Они означают, что богиня победы всегда готова к перелету. Они, эти крылья, дают право миллионам людей льстить себя надеждой увидеть эту статуэтку в своей столице, в руке питана своей национальной команды. Что говорить, и все мы, поклонники своего родного советского футбола, мечтаем со временем встретить «богиню» на московском аэродроме. Так как же не беспокоиться о ее судьбе!

И вот я уже вижу письмо в редакцию: «Правда ли, что «Золотую богиню» украли и вместо нее теперь другая, поддельная?»

Будет ужасно досадно, если эта повесть даст повод для появления версии такого сорта. Поэтому давайте прежде всего сразу решительно от нее открестимся и заречемся от всякой подозрительности в отношении подлинности «Золотой богини», хранящейся ныне в Лондоне.

Но тогда спросят: а к чему это увлекательное повествование, если все в порядке и ничего фактически не стряслось?

Самый старый футбольный приз — Кубок Англии. Так вот, однажды он исчез. Навсегда, бесследно. Случилось это 72 года назад. Потом родилась легенда, что его переплавили на фальшивые шиллинги. И даже попадаются чудаки-коллекционеры, которые эти монеты покупают за бешеные деньги.

Страсть к футбольным сувенирам приобрела в наши дни огромный размах. Есть серьезные, тихие, приятные люди, именующие себя футболофилами, собирающие значки, программки, фотографии, газетные вырезки, книги, марки, статистические сведения.

Существует и другое племя — к счастью, у нас оно не обитает, — прямо скажем, дикое. Люди этого племени срывают со «звезд» футболки и раздирают их на клочки, деля добычу. Похищают и разрезают мячи, побывавшие в сетке ворот чужой команды. Вырывают куски дерна с поля после «исторической победы». Они вредят и пакостят, но в общем-то по мелочам. А теперь представьте этого же дикаря, но при больших деньгах. О! Он, конечно же, был бы не прочь, чтобы ему ночью неизвестный человек доставил с черного хода саму «Золотую богиню». Он запер бы ее в своем сейфе. Роль скупого рыцаря его бы вполне устроила. Тем более, что это верный товар и всегда найдется выгодный покупатель из того же дикого, бессовестного племени.

Поэтому все, что рассказано в повести «Большое футбольное ограбление», — правда. Правда не одного факта, не буквальная, а правда домысла и предположения. Да, в том мире именно так все и может случиться. Оттого-то и вынуждены англичане держать под замком, подальше от глаз эмблему своей спортивной славы — «Золотую богиню».

Лев ФИЛАТОВ, редактор еженедельника «Футбол»

Стихи

С эстонского

Энн Ветемаа

Права на вождение деревянной лошадки

Господин штурмфюрер,
Двадцать лет, как прошла война,
Но я прискакал к вам в гости
С одним несерьезным вопросом.

Нет,
Не с вопросом об истреблении —
Унижении,
уничтожении,
удушении,
А с ничтожным еовсем вопросом —
О деревянной лошадке.

Дело именно в том, что я уже
путешествовал
На машинах,
судах,
самолетах
И на всамделишной лошади, которая
в данный момент
Хрупают ваши лилии.
Но вы превосходно знаете.
Что существуют страны, куда
Можно добраться
Только на деревянной лошадке...

Во время большой войны,
Которую вы затеяли,
Вместе с домом моим сгорели права
На вождение деревянной лошадки.

Ни к чему говорить о доме.
Я давно получил другой,
Чо нигде не могу получить права
На вождение деревянной лошадки...

Так вот, господин штурмфюрер.
Чтоб уладить наши дела,
Вам придется вернуть мне права
Хотя бы годика на два!

Перевел Леон ТООМ.

Пауль-Эрик Руммо

Как полет паутин

Над озёр лоскутками
легкий лёт паутин.
Брат я белой березы,
алой ягоды сын.
Сын осенней брусники,
мох лесной в головах.
Синь озер отразилась
в моих синих глазах.
Синь небес повторилась,
тех, что держат всерьез

над водою озерной
руки тонких берез.

Кошкина пряжа

Наклоняются березы
к изголовью моему.

По тропинкам, по дорожкам
ночь крадется, словно кошка,
и шуршит по бересте.

Легкий ворох тонкой пряжи
ночью кошка нам навяжет.

Наши сны глаза раскрыли,
чутко вслушиваясь в тьму.

Просыхает, словно слезы,
легкий дождь в листьях березы,
и звезда полезла ввысь.

Ночь уйдет, уйдет прохлада.
Ночь, постой, спешить не надо,
пряжа тонкая, не рвись!

Перевел Светлан СЕМЕНЕНКО.

Яков Козловский

С языка стихов

Мы на конях: я и седой аварец.
Проснулись птицы в утреннем лесу.
Сопровождаю, словно ординарец,
Я старого Гамзата Цадасу.
И лошади под нами резвые
Вдоль берега, а берег крут.
Тропинкой, что узка, как лезвие,
Вершинам кланяясь, идут.
Да возместят незнанье языка мне
Обычай, с которыми знаком,
Напев свирели и резьба на камне,
И все, что встарь написано клинком.
А над ущельем буйствует крушина,
И там, где слышен клекот родника,
Ступает плавно девушка с кувшином.
Которой по колена облака.
Не ведая ни власти, ни опеки.
Мятежны реки так же, как во дни,
Когда гремели вольные абреки
Под небом Дагестана и Чечни.

И снова изгибается дорога.
Похож аул на соты из камней.
Мы спешили под вечер у порога,
Пусть расседлают мальчишки коней.
Нам ужин приготовила горянка.
Горит очаг, и ярко за окном
Мерцает звезд высокая чеканка.
Все улочки притихли перед сном.
Лежу на бурке и пером вожу я.
Свети, луна, до первых петухов!
Вновь с языка стихов перевожу я
Слова и мысли на язык стихов.

Заповедная книга земли

Очертания каменных ликов
Возникают вблизи и вдали,
Я читаю в краю у таджиков
Заповедную книгу земли.

Мне мила и напевность и гордость
Каждой буквы ее и строки.
Воркование розовых горлиц
И пророческий рокот реки.

В главах звездных и замороженных
Над мужами во все времена
Смуглых женщин, в шелка обряженных.
Тайно власть утверждает она.

Бытия открывая страницы.
Слог которых то прост, то высок,
Я воочью могу убедиться,
Что обычаи ценит Восток.

Простодушие глав и лукавство...
Эту книгу я век бы читал!
На коврах азиатские яства
Чуть дымятся под сенью чинар.

Шелест листьев зазывен и вкрадчив,
И в убранстве подлунных овчин
Встал Памир — многоопытный кравчий,
Наполняющий чаши долин.

Рассвет

Ночной порой под небом отческим
Простое слово, как во сне,
Казалось нам почти пророческим,
А женщина — милей вдвойне.
И набегала не украдкой

Слеза над вымыслом письма.
А женщина была загадкою,
Чтобы сходили мы с ума.
Высь над землею свечи плавила
И озаряла алтари,
Где губы жадничали пламенно
И рдели строки изнутри.
Но вот ростки восхода вызрели,
Подсвечивая облака.
И губы высохли и выцвели,
И бледной сделалась строка.
Напрасно всякий раз пытаемся
Мы трезвый умолить рассвет,
Чтоб он сберег ночное таинство,
А не сводил его на нет.
Но вновь под ним он недвусмысленно
Подводит красную черту.
И только то на свете истинно.
Что выживает на свету.

Совершает жизнь круговорот

Тишина. Кварталы сном объаты.
И опять сквозь забытье в ночи
Стонут госпитальные палаты.
Где порой беспомощны врачи.
И, у смерти ими не отбитый.
Сам закрыть не в состоянье век,
Остывает, простыней накрытый,
В коридор свезенный человек.
А вдали над речкой небо звездно,
И на разметавшейся копне
Слышен шепот:
— Хватит, милый! Поздно.
— погоди. Иди еще ко мне.
Жарко обнял и увидел снова
У нее в глазах весь небосвод.
Задыхаясь, замирает слово...
Совершает жизнь круговорот.

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил Шур

СОЛИГОРСКИЕ ВЕЧЕРА

Было в России полвека назад шестьсот восемьдесят городов.

Сейчас их без малого две тысячи, а точнее говоря — 1 874. Цифра эта, однако, зыбкая и переменчивая, она верна для первого января нынешнего года, а сейчас наверняка уже устарела, потому что, извините за затертое сравнение, города у нас растут как грибы.

Они растут в сибирской тайге, как Нефтегорск; на берегах морей и океанов, как дальневосточная Находка; под боком у Москвы, как Дубна, город физиков; в тундре, как

алмазная столица Мирный; в зоне вечной мерзлоты, как Норильск; в самом пекле раскаленных Кзыл-Кумов, где поселились сейчас золотоискатели. Правда, все это города знаменитые, города с мировым именем. А наряду с ними есть и сотни новых городов с коротеньким прошлым и большим будущим, о которых мы почти ничего не знаем, но которыми искренне гордятся их жители, в основном молодежь.

Вот об одном таком городе и пойдет речь в нашем очерке.

Городу меньше десяти лет. Прошлого у него нет; все улицы ведут в будущее. И красиво ведут: вот поле, вот берег Случи, зеленый луг — и край квартала, белый пятиэтажный дом с балконами и телеантеннами, бетон, стекло, асфальт. Продолговатая коробка, почтительно именуемая Дворцом бракосочетания, попросту говоря, танцевальный зал при загсе. И почта с величавым фронтоном, вся в стекле, и техникум имени Мориса Тореза, и в спешной кладке красные скалы исполкома и Дворца культуры — все это вписано в будущее, привязано к завтрашним площадям и микрорайонам. Или новая школа — пять светлых, просторных блоков со стеклянными переходами, три средних — учебные, правый — актовый зал, левый — спортивный комплекс с плавательным бассейном. И площадь перед школой — вся в белых плитах. А там, ближе к горизонту, новые дома удаляются в самый лес...

Город называется Солигорск. Из Минска в Слуцк лесом и полем сто километров, а там, в один разбег машины, еще тридцать. Но Солигорск открывается гораздо раньше — двумя калийными комбинатами, громадами шахтных копров, эстакадами, галереями, складами руды, обогатительными фабриками и теплоцентралями. Гор тут никогда не было, да вот вычерпаны из глубин рудников огромные горы породы — эдакие длинные, горбатые валы, неожиданные для белорусского ландшафта...

Здесь все неожиданно.

Был, например, смотр художественной самодеятельности. Я слышал, объявили: хор медицинских работников города Солигорска. На сцене Дома культуры хор медицинских работников не уместился, жюри согласилось выстроить его в фойе. Это вам как бы фрагмент живой социологии молодого города.

Молодого и молодежного. У меня нет под рукой свежих сведений, но два года назад, точно помню, в городе был всего один пенсионер.

Вот Маша. Ей двадцать три года. Она уже семь лет здесь, с первых дней города, с первых котлованов. Она примерно и есть девушка среднего солигорского возраста. А парни среднего солигорского возраста чуть постарше.

Город молодоженов... Помните, незамужние ткачихи в известном текстильном городке «составляют большинство»? А здесь незамужних мало. И рождаемость огромная. В микрорайонах главенствуют детские сады и ясли в красивых усадьбах. В семь — в начале восьмого утра уйма ребятишек спешит туда вприпрыжку за родителями или восседает на отцовских плечах. Ритуал Солигорска! Потом, часов в пять-шесть вечера, веселая детская рать заполняет дворы. Крики, гвалт, восторги, буря энтузиазма...

Но вернемся к Маше. Для нее семь прошедших лет — это стройка, техникум, обогатительная фабрика. Теперь Маша — аппаратчица, но ее уже не устраивает среднее образование; собирается в Белорусский университет на философское отделение, хотя бы заочно. Я не берусь утверждать, что каждому солигорскому рабочему уже сегодня не вмоготу без университетского диплома, мне претят фальшивые восторги впадающих в детство краснобаев. Но Маша стремится в философы — это факт.

Маша помогла мне произвести частичную перепись солигорского населения. Перепись в масштабе одной комнаты пятого общежития.

Общая численность населения — четыре человека, женщин в том числе — четыре. Мария I кончает техникум; Мария II — образование среднее, работает воспитательницей в детском саду; Мария III — знакомая нам Маша; наконец, Катя — образование среднее,

работает аппаратчицей. Из сведений, обычно не включаемых в программу переписи, я приведу лишь перечень печатных изданий, которые выписывают эти девушки: «Правда», «Комсомольская правда», «Знамя юности», «Советская Белоруссия», «Чырвоная змена» (на белорусском языке), «Политическое самообразование», «Молодой коммунист», «Роман-газета», «Экран», «Огонек», «Смена», «Кругозор».

Здесь, мне кажется, мы подошли вплотную к теме читающего Солигорска. Кстати, сразу же скажу тем, кто в дальних командировках любит приобретать дефицитные книги: на Солигорск не рассчитывайте!..

Специализированных книжных магазинов в городе два. Оборудованы по-столичному, разделены по жанрам, в штате одного из них есть библиограф. А библиотек двадцать. Одна городская, одна детская, остальные на предприятиях. Городская недавно расширилась — и не собирается останавливаться на достигнутом... Публика в читальном зале все больше молодая, чтение учебное и деловое. И беллетристика не обделена вниманием... Но статистики у меня нет — ни библиотечной, ни книготорговой, приходится прикидывать на глазок. Много читают. Все читают!

Даже посредственные и явно плохие сборники стихов расходятся в один день. (Не у прилавка же изучать книгу?! Покупают, а потом разбираются.)

Рождается Солигорск творческий.

Сто сорок интересных картин набралось, когда надумали устроить выставку работ местных художников. Причем картин, заслуживающих профессионального разбора. Приезжали специалисты. Был серьезный, полезный разговор, сохранились две книги отзывов. Вторая выставка тоже имела успех — два месяца посетителей не убывало. На этот раз к живописцам и графикам присоединились резчики и вышивальщицы.

Теперь хлопчут о художественном музее с постоянной экспозицией, ищут помещение...

С помещениями, конечно же, трудно. Хорошо, что в Солигорске капитальная баня не очень-то загружена: при нынешнем обязательном квартирном комфорте ходят в нее главным образом попариться. И вот в одном свободном банном зале и во вполне подходящих глухих кабинках разместилась местная киностудия.

Я смотрел примерно часовой сборник солигорской кинохроники — праздники, трудовые победы, новоселья — обыденная жизнь города как она есть. И с историческим замыслом. Еще бы немножко сценарной выдумки — получился бы очень хороший фильм. И можно было бы снять еще немало других кинолент. Энтузиастов много. Аппаратура есть. Снимайте на здоровье! Профессионализма, правда, пока не хватает. Но будет здесь и руководитель студии. Будет! Не все сразу...

Многое уже в Солигорске есть. И многое ему еще нужно. И делается многое.

В ближайшей округе в годы минувшей войны был центр партизанского края. Километрах в сорока от Солигорска сохранилась среди бывших, уже осушенных болот первая партизанская землянка. Комсомольцы Солигорска решили увековечить ее как главную реликвию местной мемориальной зоны.

Организовали туристский клуб. Собрались в мотопробег тридцать посланцев молодого города, взяли путь на Брест, повезли туда соли горскую информацию...

Захотелось, скажем, послушать... таджикских поэтов. Что ж, приехали с переводчиками таджикские поэты. Встретились. И гости и хозяева были довольны. И таджикские поэтические сборники разошлись моментально.

Захотелось Солигорску оперы — привезли «Травиату» из Минска.

Потом комсомольцы надумали провести фестиваль искусств минских заводов в Солигорске. Приехали минские заводы. В городском отделе культуры хранится отчет: в зале было 600 человек, а мест всего 400. Примерно так же было на вечере таджикской поэзии. Живой интерес. Серьезное внимание к серьезному.

Солигорск не знает тесноты и скученности, кроме одной: тесно в зрительных залах. Не так их пока и много, залов! Все ждут Дворца культуры с залом на тысячу мест, с

механической сценой и искусственными дождем, снегом, громом и молнией. В техникуме есть большой зал — там свое. В техническом училище большой зал — там опять же свое. Спортивный зал «Молодость» подчас превращается в танцевальный, а то и в лекционный. Всегда переполнены красные уголки, клубы отдельных коллективов и старый, пока что главный, Дом культуры, где директором Василий Шестаков — электротехник и актер, книголюб и мастер на все руки.

Мы с одним товарищем как-то составили примерную таблицу «сравнительного энтузиазма» посетителей различного рода собраний. На первом месте безраздельно и прочно стоят лекции о международном положении. На последнем — те комсомольские собрания, которые удручают формальной или надуманной повесткой дня. Как такое собрание, так сразу же — у одного ребенок в яслях, у другого в доме ремонт, у третьего талон в поликлинику. А международник приехал — у всех есть свободный час, зал ломится, не протиснешься.

В чем дело? А вот в чем: политика и борьба, война и мир, судьбы людей — насущнейшие вопросы жизни — это всем и всегда важно. Наполните комсомольские и профсоюзные собрания самым серьезным и насущным — будет и там людям тесно и мыслям просторно.

Из лекций (после международных) на втором месте экономические. Они — дело, в котором каждому хочется разобраться. А другие лекции? Бывает, лектору нужна подмога «зазывал». А есть лекторы, которым только тропический ливень поможет удержать публику в зале. Это если о дизентерии и борьбе с мухами да и о правилах хорошего обхождения тоже. И не только в тематике суть. Суть в культуре лекторов. Вот смотрите.

Город работает круглые сутки. Комбинаты достигли небывалых технических высот. Но вот вечерняя вахта культуры еще не располагает, к сожалению, мастерами высокой эрудиции и таланта. Вечером город иногда погружается в позавчерашний день. Иной раз, чтобы солидно обставить скучное, но обязательное собрание, его глубокомысленно нарекают теоретической конференцией. Я не скажу, правда, что это сплошь и всегда пустое говорение (нет, бывают содержательные, толковые речи), но чаще всего теоретического только и есть, что тезисы и цитаты.

На такой конференции в Доме культуры мне довелось присутствовать. Зал был полон пропагандистов — слушатель сидел искушенный и терпеливый. Каждый оратор, казалось, прежде всего старался ничего не сказать от себя, быть официальным (как дик юр!), говорить как бы от всех, обезличивая авторство. Аудитория — само внимание. Вернее — сама дисциплина. Уважительно молчат слушатели, сочувственно внимают знакомому тексту, привычным формулировкам. Но им тяжело, им хочется скорее на воздух, в шум, в жизнь! Но вот конец речам. Зал едва скрывает чувство облегчения. Чуть было не вырвался одобрительный гул. Самим неловко, но что же поделаешь? Мог быть и живой разговор, могла быть и дискуссия, но это не входило на сей раз в планы. Теоретическая конференция — для чего она? Учебная? Для закрепления материала? Только тем разве и полезна...

А кто они, пропагандисты, сидящие в зале?

Если пройти по рядам, здесь каждый второй, пожалуй, окажется инженером, каждый четвертый — учителем. Дипломы веские. Есть и такие, известные всему городу лекторы, как Валерий Кор зун, преподаватель техникума, Геннадий Шарый, архитектор города, инженеры Ефим Кузьмин — на руднике, Александр Шрубович — на обогатительной фабрике, химик Светлана Меженцева — в лаборатории. Никто из них, правда, специально на пропагандиста не учился. Что получили в вузе, тем и обходятся, остальное добирают из газет и журналов и время от времени посещают семинары — там материал освежается основательней, чем на таких вот конференциях. Одни с годами увлеклись, вошли во вкус дела, другие просто втянулись по необходимости, по обязанности.

Втянуться-то втянулись, но я бывал на многих занятиях и знаю: иной и любит вести кружок и в слушателях души не чает, а препо давать не умеет и знаниями располагает

минимальными, в объеме отрывного календаря. Есть такие — о них постоянно говорят: хороший пропагандист, хороший пропагандист, — а поглядишь: просто хороший технолог или мастер, его уважают как работника, выполняют его задания, старательно отвечают на вопросы, не подводят на итоговых занятиях.

Увы, частенько мы забываем о том, что работа пропагандиста — искусство. Один из пропагандистов признался мне, разгорячась:

— Знаете, у нас хоккеистов готовят куда серьезней и осцовательней, чем пропагандистов. Об оснащении я уж не говорю... А отбирали-то нашего брата как? Грамотный парень, высшее образование — давай!..

Может быть, слишком резко сказано, но правда где-то тут близко: искусству не учат и меткости не требуют, гибкости и тонкости не развивают, а только питают материалом — фактами, сведениями, формулировками, оценками. Было время, я помню, когда в комсомольце (часто и не имеющем институтского диплома) открывался прирожденный пропагандист с даром педагога и страстью полемиста: он способен был увлекать, зажигать, вести бой. И напрасно думать, будто пропагандист наших дней уже может выйти из боя и переключиться на тихую почасовую работу «от сих до сих», а назначать на эту тихую должность можно всякого академически успевающего.

Иной пропагандист не может дать своим слушателям больше того, что они знают сами по прессе, радио и телевидению. Колоссальный рост подписки на газеты и журналы поставил в тяжелое положение некоторых пропагандистов, из тех особенно, кто только пересказывает известное.

И уж, конечно, слабый пропагандист не учит слушателя вести идейный бой. Он сам этот бой вести не умеет...

Солигорск в этом смысле не исключение. Зато иногда выручает комсомольская инициатива. Пусть ее начинания еще в зародыше, но они есть. Раиса Шахраева, например, лаборантка ОТК второго калийного комбината, создала в общежитии дискуссионный клуб «Прометей». Как только Володя Блохин, секретарь райкома комсомола, назвал мне ее, мы сразу же пошли ее искать.

Сезон, жаль, уже кончился, и мне не удалось побывать на заседаниях клуба. А подробно рассказывать о том, как работал «Прометей», Рае не хотелось. «Так, — говорит, — собираемся в домашней обстановке, лекции слушаем, беседы проводим, спорим — все больше по текущей политике или по экономике. Бывали и тематические вечера, например, о женщинах-революционерках, о Карле Марксе. Эти вечера Люба Криво хат готовила, а Валя Кочур и Серафима Валова помогали... Приходит обычно человек шестьдесят, но все такие, кого интересует предстоящий разговор. А у нас главная забота — отыскать такой материал, чтоб непременно каждый услышал что-то новое, чтоб вечер не пропал даром. Ну, конечно, пока хвастаться не будем, а вот уж на будущий год постараемся солидной дело в клубе поставить, правда, Володя?..»

У Раи много комсомольских обязанностей: второй секретарь комитета, председатель месткома. Да вот Вася растет, сын, уже большой хлопец, и он диктует ей свой регламент, и по домашнему хозяйству забот хватает...

Так оно и должно, наверное, быть в жизни идейного человека — загрузка на работе и дома. Досуг — это что? Деятельность! В квартире Шахраевой мы видим следы досуговых занятий ее мужа: остроумная комнатная телевизионная антенна из арматурных прутьев, настольная деревянная лампа, резная, с виду редкостная, антикварная...

Выходим мы с Володей из этой квартиры, занятые своими мыслями об идейной жизни города, располагающего наиболее чистым свободным временем. Чистое свободное время — это мы вот о чем: из солигорского быта выпали такие занятия, как:

дров наколоть,
воды натаскать,
печь истопить,

крышу починить.

Представьте себе, что это такое: во всех домах все удобства — и газ, и ванны, и холодная и горячая вода. Из мужских домашних дел только и осталось, что малыша доставить в ясли и взять его вечером оттуда. Остальное — «чистый» досуг. Очередей в магазинах и тех нет.

А как проводить досуг интересней и с пользой? Конечно, эта проблема не оставляет равнодушным и райком комсомола. Затевают комсомольцы разные викторины, «огоньки», клуб туристов открыли, краеведов объединили...

Нынешний комсомольский вечер иногда приходится — это прямо надо признать! — режиссерски ставить, чтоб он был интересен. Вот, скажем, был такой вечер в феврале, посвященный Советской Армии. Имитировали партизанский костер, бойцы на привале поют песню «Ой, березы и сосны...». Ведущий встречает под эту тихую песню гостей — ветеранов армейских и партизанских. Воины вспоминают минувшие дни. Весь зал поет «Священную войну» и «Бухенвальдский набат». Потом веселая викторина на военные темы, пословицы, шутки, игры, опять песня...

Два-три выдумщика, и вот вам хорошо организованное комсомольское собрание, с которого никто не станет уходить. Интересно!... Даже вечер по обмену комсомольских билетов слегка театрализовали — к торжественной части прибавили литературную композицию. И видите — интересно!..

Но, как правильно рассуждают в комитетах комсомола, нельзя кормить ребят одними домашними спектаклями. Надо время от времени совершать массовые броски в Минск, на столичные вечера. Так и делают, И чем чаще местные автобусы направляются в Минск, тем больше движения и здесь, в Солигорске.

Бывают в Солигорске литературные вечера. Разные вечера. Бывают и такие. Приехали поэты-песенники. В общежитиях выступали, в цехах, на руднике и в Доме культуры, в большом зале. По традиции Солигорска вместе с гостями садятся за стол президиума и местные литературные дарования. Молодая, начинающая поэтесса на правах хозяйки председательствует, а несколько мальчиков из лит объединения сидят рядом, глядя поверх голов. Зажмурившись, мальчики окунаются в славу. Но вот каждому из них дают слово, и ломающиеся юношеские голоса произносят ломающиеся строчки домашних поэтических сочинений, от которых в восторге неначитанные мамы. Это бы все еще ничего, если б зал имел возможность разбирать стихи, судить, критиковать, но залу дано только слушать и хлопать в ладоши, и приезжие популярные поэты тоже каждому стишку — и хорошему и плохому — мягко рукоплещут и улыбаются.

Вот, правда, нахмурился один из гостей, но рядом другой, улыбаясь, похлопывает да похлопывает: хорошо, мол, парень, давай, для начинающего сойдет!..

А считается: был литературный вечер — «яркое свидетельство» и «наглядный пример». А надо бы считать это вот каким мероприятием: «Распространение и внедрение дурных вкусов в области литературного творчества в обстановке всеобщего умиления». Но я знаю, что даже смелый и искренний Василий Шестаков, ставший недавно директором Дома культуры, не решится внести такую формулировку в отчет об этой встрече.

Ну, а есть ли у кого в городе «пустые» вечера? Есть, как же, есть! Не скажу, чтоб эти люди были унылыми, безразличными, равнодушными; и глядят они на мир с интересом, и тают при виде детей, и любят всякие зрелища, но читать им неохота, и знать лень, и внимать тягостно... Увы, есть в молодом городе молодые непьющие прожигатели жизни. Именно так — непьющие! Трезвого безволия более чем достаточно. Слоняется парень по улицам, часами торчит около девичьего общежития, околачивается на танцах, домой приходит за! полночь, голодный и злой.

Володя Блохин не отрицает, что встречаются такие комсомольцы и комсомолки даже среди вполне грамотных и просвещенных. Тут мало вызвать на комитет и «вправить мозги».

Непросто повернуть "такого парня к свету. Но и то верно, что в комсомоле подчас узковат то понимают перспективу роста молодого человека — непременно в административно или инженерно техническом направлении, и все внимание тем, кого прочим в мастера, в сменные, в комсорги, на выдвижение, на повышение. Ну, а если парень со средним образованием не стремится в инженеры, так мы и не следим, как и куда ему расти духовно, культурно, нравственно, общественно.

А на самом деле перспективность у каждого есть.

— Мы гордимся небывалой просвещенностью Солигорска, — говорит Володя. — В самом деле, где еще столько аттестатов? За средний показатель беспокоиться нечего. Но вот эти, в задних рядах, отдельные... Да, отдельные! Ими, отдельными, мы должны тоже заниматься.

А что такое в комсомоле чуткость? Привыкли: чуткость — это помочь хлопцу получить подходящую работу, устроить жилье, выручить из беды, подкинуть денег, простить проступок. Но чуткость комсомольская — это прежде всего глубокое, пронизательное проникновение в чувства и мысли молодого человека.

«Я прочитала недавно книгу, острую и трудную, — рассказывала мне одна девушка из Солигорска, — хотела со старшим товарищем посоветоваться, помыслить вслух, а он меня отредактированными фразами осадил: нечего, мол, думать, и так все понятно... Так е двух словах разделался со всеми проблемами. Давай, мол, дальше, что там у тебя еще?.. Тогда я расплакалась, и он на меня накричал, что я сентиментальная барышня и слезливая интеллигентка».

А в остальном этот дядя вполне чуткий.

Комитету легче, конечно, с ребятами энергичными, «реактивными», которые сами «заводятся» и других «заводят». Такие, например, как плотник Семен Боярин. Скольких увлек он своей страстной любовью к пляскам! Теперь он уже, можно сказать, знаменит и как местный хореограф. Я видел его ансамбль на сцене. И если у пляски есть идея, то она, несомненно, гласит следующее: «В молодом Солигорске столько неумемной энергии, страсти и фантазии, что вы все, сидящие в этом зале с разинутыми ртами, понятия даже не имеете, какие дела мы можем вершить!..»

Это же именно так и есть.

Солигорск — город рабочий. Один только Первый калийный комбинат выдает в сутки более двадцати тысяч тонн руды. Солигорск работает горячо и влюбленно, молодые шахтеры набирают глубину горизонт за горизонтом...

К слову пришлось, тем и закончим: надо и молодому городу набирать глубину.

ИЗ ПРОШЛОГО

По следам одной фотографии

ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

Кто этот крестьянин, снявшийся вместе с В. И. Лениным и поэтом Демьяном Бедным?

...1919 год. Шло заседание VIII съезда нашей партии. Владимир Ильич Ленин выступил с докладом о работе в деревне. Внимательно слушал доклад делегат VIII съезда Федор Дмитриевич Панфилов. Особенно оживлялся он, когда Ильич критиковал тех, кто пытается руководить сельским хозяйством, не вникая в суть дела.

«...К нам присосались кое-где карьеристы, авантюристы, которые назвали коммунистами и надувают нас... у карьеристов нет никаких идей, нет никакой честности. Эти люди, которые стремятся только выслужиться, пускают на местах в ход принуждение и думают, что это хорошо».

Федор Дмитриевич слушал и машинально кивал головой, как бы подтверждая каждое слово Ильича. Он видел, как перед началом заседания Владимир Ильич задушевно беседовал с делегатами из деревни.

Вернувшись со съезда, Федор Дмитриевич часто рассказывал близким друзьям и товарищам о встречах с Владимиром Ильичем.

Биография Федора Дмитриевича Панфилова — живое воплощение истории рабочего движения в России. Он принадлежал к тому славному передовому отряду рабочего класса, о котором В. И. Ленин еще в 1910 году — в некрологе об Иване Васильевиче Бабушкине — писал: «Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное освобождение от всякой эксплуатации!»

Ф. Д. Панфилов родился в 1856 году в бедной крестьянской семье. Девятилетним мальчиком Федор расстался с семьей и поступил учеником на казенный завод в Луганске. Два года работал бесплатно в токарной мастерской. Жил в мрачных рабочих казармах. Рабочий день длился не меньше 12 часов. Через два года Федор начал получать зарплату, но ее едва хватало на харчи.

Безрадостной была молодость Федора. Семь лет тянул он непосильную лямку на заводе. Затем работал на шахте, батрачил у кулаков в своем родном селе Черкасское, снова, после военной службы, поступил на шахту забойщиком, опять вернулся в Луганск, где стал работать на мельнице. Здесь, в Луганске, он вступил в группу партии «Народная воля», созданную на одном из заводов. В 1884 году она была разгромлена, и Федор Дмитриевич, как один из членов этой группы, был арестован. Больше года он просидел в тюрьме, а после освобождения взят под строгий надзор полиции.

С этого времени началась кочевая жизнь Ф. Панфилова. Преследуемый полицией, он переезжает из города в город, не прекращая революционной борьбы. Только через 13 лет Федор Дмитриевич возвращается в родной Донбасс. В 1897 году он становится одним из организаторов социал-демократической группы в Мариуполе. Группа устанавливает связь с екатеринославским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса», руководителем которого был в то время Иван Васильевич Бабушкин.

Во время первой русской революции Ф. Д. Панфилов по поручению Екатеринославской партийной организации вел агитацию среди солдат местного гарнизона. Он распространял листовки и прокламации, участвовал в организации митингов и демонстраций, строил баррикады в рабочем поселке Чечеловка и вместе с другими членами боевой дружины сражался против царских опричников. Федор Дмитриевич был тесно связан с выдающимся деятелем нашей партии Григорием Ивановичем Петровским, руководившим в то время Екатеринославской организацией большевиков.

В 1909 году Федор Дмитриевич был арестован, заключен в тюрьму, а затем на 5 лет сослан в Усть-Сысольский уезд, Вологодской губернии. Из ссылки он вернулся накануне Февральской революции.

Ни тюрьмы, ни ссылки не сломили боевой дух этого замечательного представителя рабочего класса России. Ему перевалило за шестьдесят, а он по-прежнему с неиссякаемой энергией продолжал борьбу. Создав из бывших фронтовиков небольшую большевистски настроенную группу, он вместе с ними выступал на митингах и собраниях, разоблачал антинародную деятельность Временного правительства, разъяснял трудящимся Апрельские тезисы В. И. Ленина, призывал превратить войну империалистическую в войну гражданскую. В местной типографии он отпечатал 500 экземпляров программы РСДРП (б) и распространял ее среди трудящихся города и деревни. Возглавляемая им группа большевиков провела подготовку 1-го съезда Советов Старобельского уезда, Харьковской губернии. Съезд в первый же день взял власть в свои руки.

В 1918 году, когда немцы, оккупировав Украину, подходили к Старобельску, 62-летний Панфилов вступил рядовым бойцом в красногвардейский отряд. Всю гражданскую

войну Федор Дмитриевич не расставался с винтовкой и саблей... В составе делегации Украины он принимал участие в работе VIII съезда партии .

В перерыве между заседаниями съезда Ф. Панфилов и сфотографировался с В. И. Лениным и Демьяном Бедным. В старобельской районной газете «Ленинский клич» несколько лет назад опубликован рассказ самого Панфилова о том, как это произошло:

«Это было в 1919 году. Как делегат, я попал на VIII съезд партии.

Я решил выступить и рассказать съезду о том, что видел в селах, но председатель предложил «подвести черту».

Я встал, поднял руку и говорю:

— Протестую. Как это так? Здесь нас много, делегатов, еще не высказывалось. Мы — делегаты с мест, много повидали и много интересного можем рассказать.

В зале произошел шум. И в это время со сцены выступил Владимир Ильич Ленин и спросил:

— В чем дело? Я повторил.

— Правильный протест! — сказал товарищ Ленин. Проголосовали снова. Я получил слово и рассказал обо всем, что видел, что слышал, где и что делается...

А в перерыве подошел ко мне Демьян Бедный и повел к Владимиру Ильичу.

— Спасибо, — сказал мне товарищ Ленин, — много материала вы нам дали. Пойдемте сфотографируемся.

Пошли. И Демьян Бедный с нами. Сфотографировались мы втроем» 2.

1 Выступления Ф. Д. Панфилова на аграрной секции и на съезде опубликованы в стенографическом отчете VIII съезда партии.

2 Интересная деталь. Против прекращения прений по докладу о работе в деревне выступил на съезде В. И. Ленин. Он говорил, что необходимо выслушать товарищей с мест. Однако большинство делегатов проголосовало за прекращение прений. Тогда выступил Ф. Д. Панфилов и заявил: «Разрешите внести протест против товарищей, которые не дали высказаться ораторам из деревни».

Председательствовавший обратился к съезду за разрешением дать высказаться тов. Панфилову, и слово ему было предоставлено.

После возвращения с VIII съезда Ф. Д. Панфилов назначается политинспектором 8-й дивизии червоного казачества. Он прошел славный боевой путь от Орла до Перекопа, восстанавливая в освобожденных городах и селах Советскую власть. За этот героический поход Панфилов был награжден орденом Боевого Красного Знамени.

Летом 1920 года Федор Дмитриевич вернулся в Старобельск. Ему уже шел шестьдесят пятый год. Не желая уходить на заслуженный отдых, он продолжал вести большую партийную и советскую работу. Только в 1925 году, когда ему было уже под семьдесят, он согласился уйти на пенсию.

Федор Дмитриевич прожил долгую жизнь. Он умер в мае 1940 года и похоронен на площади родного села Черкасского, ставшего ныне рабочим поселком Луганской области. В годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики сровняли его могилу с землей. После изгнания оккупантов на этой же площади в братской могиле были похоронены воины Советской Армии. Ветеран трех революций Федор Дмитриевич Панфилов покоится теперь вместе со своими внуками и правнуками, которые так же, как и он, не щадили своей жизни в борьбе за торжество великого дела Ленина.

И. ГАЛКИН

из истории комсомола

Александр Гладков

РОМАНТИКИ

(«Комсомольская правда» двадцатых годов)

Первый номер «Комсомольской правды» вышел весной 1925 года. Душой газеты сразу стал Тарас Костров, сначала числившийся заместителем ответственного редактора, но вскоре назначенный редактором; человек, о котором все, знавшие его лично или хотя бы понаслышке, вспоминают известными строчками Маяковского: «Простите меня, товарищ Костров, с присущей душевной ширью...» — из стихотворения, называющегося «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».

Тарас Костров носил русую бородку и казался юным газетчиком, составлявшим весь штат редакции, стариком, хотя ему самому было лишь немногим больше тридцати. Но тогда этот возраст представлялся весьма солидным — вспомним у того же Маяковского: «Мне ж, красавица, не двадцать — тридцать с хвостиком».

Я познакомился с Костровым в самом конце двадцатых годов, и мне со скромной высоты моих 17 лет он тоже казался стариком. Но такие уж это были годы: молодежь рано начинала жизнь, сразу ставила себе большие задачи, быстро росла, привыкала к ответственности, взрослела. Многие из начинающих свой журналистский и литературный путь в «Комсомольской правде» двадцатых годов обязаны Тарасу Кострову твердым, хотя и не назойливым, руководством и, главное, ответственностью большого доверия.

В редакции господствовала подлинно товарищеская атмосфера сверху донизу, все сотрудники знали, что они делают одно дело, и, когда осенью вышел сотый номер газеты, вечером в редакции, в Старом Ваганьковском переулке на Воздвиженке, сдвинули столы, убрали чернильницы, папки и пишущие машинки, украсили комнаты цветами и организовали импровизированный праздничный банкет, на который пришли все — от ответственного редактора до уборщицы. Новая молодая газета за несколько месяцев завоевала большую популярность и авторитет, работа давала настоящее удовлетворение, и настроение у юных газетчиков было превосходное.

В этот день в юбилейном, сотом номере был напечатан фельетон Виктора Кина, так и называвшийся: «Сотый». В теплых юмористических тонах в нем рассказывалась история выпуска сотого номера провинциальной молодежной газеты «Красные Молодые Орлы» тиражом в двести экземпляров. Кин пародирует штампы наивной и пылкой комсомольской журналистики того времени, но делает это мягко и ласково.

«Номер открывался громадным лозунгом, который выдумал Петька: «МЫ РАСТЕМ!». Гвоздем номера был Петькин фельетон, носивший длинное, но энергичное название: «Гибель подлых замыслов, или Наш юбилей»... «...Пуанкаре сидел в своем кабинете на шикарном кресле рококо, когда к нему ворвался Ллойд Джордж и простонал, чтобы ему дали воды...» Далее Петька чертовски ловко изобразил, как капиталистические акулы сетовали по поводу растущей мощи Советской России, чему неопровержимым доводом служил сотый номер «Красных Молодых Орлов»... Фельетон заканчивался так: «Сейчас уже нет газеты «Красные Молодые Орлы». Она закрылась при первом дыхании нэпа, и теперь ее последними экземплярами обклеена прихожая в Укомоле. Ушли Пуанкаре и Ллойд Джордж — свидетели прошлых огненных дней. Другая газета, ежедневно выбрасывающая с гудящих ротаций сто тысяч экземпляров, празднует свой сотый номер. И когда взглянешь на бурые, из оберточной бумаги страницы «Красных Молодых Орлов», на сбитый, слепленный, как икра, шрифт, на изуродованные до неузнаваемости портреты Маркса и Ленина и сравнишь с «Комсомольской правдой», то невольно согласишься с Петькой: «Мы растем!»

Несмотря на все преувеличения, впрочем, вполне традиционные для жанра фельетона (кстати, екатеринбургская молодежная газета «На смену», которую Кин редактировал до переезда в Москву, была не в пример серьезнее, умнее, чем вымышленные «Красные Молодые Орлы», — подшивка газеты сохранилась, и в этом можно убедиться), в «Сотом»

Кин как бы дает выдержанный в юмористической тональности, но достоверный очерк истории комсомольской журналистики. Но уже в первый год (Воего существования «Комсомольская правда» ушла далеко вперед и могла позволить себе дружески посмеяться над вчерашним днем своих предшественниц.

Виктор Кин начал работать в редакции за несколько недель до выхода первого номера. И до конца жизни он продолжал считать своей основной профессией профессию журналиста. Впоследствии, уже известным писателем, он стал специальным корреспондентом ТАСС в Италии и во Франции, а когда его настигла смерть, был редактором московской газеты на французском языке «Журналь де Моску»...

На протяжении более полутора лет каждые три-четыре дня на страницах «Комсомольской правды» появлялись короткие, острые, яркие фельетоны Кина. Читатель молодой газеты привык к ним и, развернув номер, уже привычно искал их на обычном месте — внизу на первой полосе. Газета тогда версталась иначе, чем теперь, и фельетон почти всегда шел на первой полосе: передовая, иностранные телеграммы, большая политическая карикатура и обязательно фельетон. Этим как бы подчеркивалось то важное место, которое он занимал в номере. И то, что «Комсомольская правда» так быстро выросла в большую, влиятельную, любимую молодежью газету, и весь ее неповторимый облик тех лет, который мы, ее старые читатели, сейчас, когда число выпущенных номеров приближается к тринадцати тысячам, вспоминаем с нежностью, а иногда и с завистью, — этот рост, этот облик старой «Комсомолки» многим обязаны и Виктору Кину и его молодым товарищам.

В начале 1926 года редакция переехала в Малый Черкасский переулок, с которым, собственно, и связан самый славный период истории газеты, ее героическое десятилетие — вторая половина двадцатых и первая половина тридцатых годов. Это был странный, типично старомосковский, неожиданно тихий уголок посреди шумного центра столицы. Здесь по соседству была и многолюдная во времена нэпа Ильинка с кочующей по тротуарам и дворам оживленной черной биржей валютчиков, поминутно разбегавшейся в страхе облавы и снова сгущавшейся на другом перекрестке, и тесная сеть старых купеческих лабазов между Ильинкой и Никольской, и ГУМ, популярный во всех концах страны звонким девизом «Все для всех», и пестрые развалы букинистов с наружной стороны еще не снесенной древней Китайгородской стены, и Политехнический музей, гордо известный своей аудиторией, прославленной турнирами поэтов и первыми лекциями о теории относительности, и близость хозяйственной Мясницкой с витринами магазинов концессий: электрические лампочки «Осрам», моторы «Сим менс-Шуккерт» и загадочно сияющие на черном бархате импортные шарикоподшипники (отечественных еще не было), и соседство Делового клуба — пристанища первых советских бизнесменов. Здесь, по тесным тротуарам, вышагивал Маяковский между редакцией. Политехническим музеем и своим рабочим кабинетом в Лубянском проезде.

Кто из литературной и журналистской молодежи тех лет не помнит длинный, узкий редакционный коридор на четвертом этаже с деревянным диванчиком посередине и неизбежным кипятильником «Титан» в углу? В этом коридоре я однажды осмелился остановить Маяковского и с отчаянием и пафосом прочитал посвященное ему стихотворение. Он хмуро выслушал до конца, буркнул: «Подождите меня здесь!» — и ушел в одну из комнат. Я ждал его час или больше. Потом он вышел в сопровождении нескольких хохочущих сотрудников редакции (среди них был Иосиф Уткин). Он сам и не улыбался, и можно было догадаться, что все смеялись именно его остроте. Увидев меня, он сказал мне «Ну, пойдете» и «Пока!» остальным и вышел на площадку лестницы. «Проводите меня», — сказал он на лестнице. Я знал, что Маяковский живет почти рядом, но он неожиданно удлинит прогулку, обойдя несколько раз здание Политехнического музея. Его отзыв о моих стихах был не слишком благоприятен, но дружелюбен и наполнил меня щенячьим восторгом — ведь я был один из тех, кто не пропустил с 1926 по 1930 год почти ни одного его выступления, и до остервенения спорил о нем, и защищал его, а это приходилось делать чаще, чем это кажется теперь из исторической дали; Маяковский был популярен и любим

многими, но до общепризнанности было далеко, и спорили о нем с ожесточением повсюду, и даже в самой редакции «Комсомольской правды» у него были недоброжелатели. Это остро выявилось в дни премьеры «Бани», например.

Представим, как в гонорарный день, как говорится, не отходя от кассы, молодые газетчики толпятся в этом коридоре, отдавая краткосрочные долги и сговариваясь о вечернем времяпрепровождении. Некоторые — и таких много — спешат к букинистическим развалам у Китайгородской стены, перебирают там редкие книги, а потом, похвываясь диковинными находками, идут со связками приобретенных томов в расположенный тоже по соседству знаменитый своей дешевизной вегетарианский подвальчик в углу Лубянского пассажа (там, где сейчас «Детский мир») или в не менее прославленную столовую «Веревочка» — вниз по Театральному проезду. Обсуждается вышедший номер и за порцией сосисок продолжается начатый еще в редакции спор обо всем на свете: о спектакле «Рычи, Китай!», о последней остроте Маяковского на очередном диспуте, о новой вылазке оппозиционеров на заводской ячейке в Рогожско-Симоновском районе, о пресловутой проблеме галстука или о том, должны ли девушки снимать с головы косынки при пении «Интернационала». Все одеты просто, как рядовые комсомольские активисты или вузовцы. Проблема галстуков принципиально решена, но практически большинство обходится без них. Это время кепок и косовороток, рубашек-апашек. Еще не появились фуражки-тельмановки и рубашки-юнгштурмовки, но уже входили в моду свитера, называвшиеся джемперами, и изредка мелькали застежки-имолнии» импортного происхождения. Девушки носили косынки и большие кепки с забранным назад верхом. Фотоаппараты «Лейка» казались чудом техники: их было в Москве наперечет — всего несколько штук. Фоторепортеры пробавлялись старомодным «Кодаком». Также предмет гордости составляло обладание автоматической ручкой. В спектаклях из западного быта автоматическая ручка, трк же как и сигара, была опознавательным знаком мультимиллионеров. Широкие зрительские массы были убеждены, что эти ручки существуют только затем, чтобы подписывать чеки.

Москва середины двадцатых годов. Нэп в разгаре. Витрины Петровки и Столешникова демонстрируют последние парижские моды. В традиционном послеобеденном променаде можно увидеть эти моды на живых образцах. Бесшумно летят извозчики-лихачи на дутых шинах. Вечерами они вереницами стоят у ресторанов. Вывески магазинов и кафе подчеркивают деловую и духовную преемственность с прошлым: молочные носят имена Чичкина и Бландова, сушеные фрукты — Прохорова, пивные — Корнеева и Горша нова, кафе — Филиппова и Сиу. Тощие клячи тащат по городу закрытые грузовые фургоны. На них имя: «Яков Рацер». Это продажа угля по телефонным заказам. Иногда частники прикрываются видимостью артели или кооператива, и популярная аптека на Никольской называется «Аптека общества бывших сотрудников Феррейна». Потом исчезает и этот фиговый листок, но еще долго москвичи будут называть аптеку именем Феррейна, от которого осталось только одно это имя, и привычка сохранит его почти до наших дней, как и легендарное имя купца Елисеева.

Но есть и другая Москва — Москва Госплана и наркоматов, Москва заводских окраин, рабкоров, комсомольских клубов, Москва Маяковского и Мейерхольда, Университета имени Сун Ят-сена и Сельскохозяйственной выставки. Эти две Москвы — нэповская, с ее обманчивым блеском, и советская, коммунистически-комсомольская — даже во внешнем облике города существуют рядом, почти несмешивающимися слоями, как жидкости с разным удельным весом. И, пожалуй, это самая яркая и бросающаяся в глаза особенность Москвы двадцатых годов. Торопливая, как бы сама не верящая в свою долговечность, показная роскошь нэпа и демократический аскетизм советской Москвы. Аскетизм этот несколько демонстративен: он связан уже не столько с материальным уровнем жизни, резко поднявшимся после укрепления советского рубля, сколько с желанием противопоставить что-то всему «буржуйскому»; он полемичен, вызывающ и доходит до крайностей. Меховщик Михайлов выставляет в своем магазине на углу Столешникова и

Большой Дмитровки соболя и норки, а в комсомоле спорят о том, имеет ли право комсомолец носить галстук.

С одной стороны — фламандское изобилие прилавков в Охотном ряду; свистки «уйди-уйди» у еще не снесенной Иверской; беспризорные в асфальтовых котлах; куплетисты Громов и Милич, поющие на мотив «Ламца-дрица» об абортах, алиментах и Мейерхольде; казино с величественными крупье, похожими на членов палаты лордов; пивные с полами, посыпанными опилками, с моченым горохом и солеными сухарями на столиках; на территории бывшей Сельскохозяйственной, выставки чемпионаты борцов с участием Поддубного, Башкирова, Шемякина; гулянье с самоварами напрокат на Воробьевых горах; цыгане в «Праге»; каламбуры митрополита Введенского; американские кинобоевики в кинотеатре на Малой Дмитровке; бесконечные рекламы курсов «Полиглот» и врачей, принимающих на дому; церковный звон, еще легко пробивающийся сквозь уличный шум, состоявший из пронзительных трамвайных звонков, цокота лошадиных копыт, разнообразных голосов автомобильных сирен и диких воплей разносчиков...

С другой стороны — полные достоинства совслужащие; «моссельпромщицы» на углах с синими лотками и в кепи с длинными козырьками; первые радиоконцерты с неизбежным гусяром Северским, почти каждый вечер певшим «В лесу, говорят, в бору, говорят»; фотомонтажи Родченко и фильмы Льва Кулешова; пионеры с кружками, собирающие медяки в пользу английских горняков; командиры в буденовках и с огромными красными диагональными нашивками на шинелях; «Синяя Блуза» в Доме Союзов; стриженные рабфаковки в кепках; дискуссионные листки в «Правде»; кожаная тужурка Артемия Халатова; Луначарский, с интеллигентским грассированием выступающий со вступительным словом к прыжкам чубатого клоуна Виталия Лазаренко (старшего); рыжий бек Федор Селин на стадионе в Сокольниках; рифмованные рекламы папирос на крышах трамваев; обнесенный забором пустырь на Тверской, на углу Газетного, где строится будущий Центральный телеграф, китайские студенты, играющие в волейбол во дворе Университета имени Сун Ятсена на углу Волхонки и Большого Знаменского...

Газетная дискуссия о галстукке принимает вдруг широкий и весьма пылкий характер. Театр Пролеткульта ставит новую пьесу Анатолия Глебова, так и называющуюся: «Галстук». В кассах билетов на нее не достать: все спектакли заранее проданы для комсомольских культпоходов. Споры в антрактах в фойе и на плохо освещенных Чистых прудах, когда зрители расходятся по домам. Проблему галстукки «заостряют», «углубляют», «ставят ребром», связывают с проблемами быта, семьи, любви. В своей стихотворной публицистике этой темы касается Маяковский, и на страницах новой молодежной газеты «Комсомольская правда» сам редактор Тарас Костров посвящает ей значительную часть большой статьи «О культуре, мещанстве и воспитании молодежи». Дело тут, конечно, не в галстукке, как таковой: это был лишь удобный пример, так сказать, пример-символ. Проблема не так проста, как это может показаться сейчас: подумаешь, в самом деле — галстук... Но дело в том, что убежденные противники галстукки как «буржуйского» украшения противопоставляли тому, что они считали пустым модничаньем, показную небрежность в одежде, часто граничившую с неряшливостью, бытовой распущенностью и общей расхлябанностью в поведении, которым пора было дать бой. И бой был дан. Спор о галстукке оказался только разведкой. Дружная армия фельетонистов «Комсомольской правды» во главе с Виктором Кином — И. Малеев, В. Дмитриев, С. Карташев, И. Лин и другие; публицисты — Т. Костров, В. Кузьмин, В. Слепков — всеми родами газетного оружия открыли кампанию за воспитание комсомольца нового типа, с галстукком или без галстукки, но которому были бы по плечу огромные задачи социалистического переустройства страны.

Проблемы эти отнюдь не были надуманными. Начавшись спором о галстукке, на страницах газеты развернулась целая кампания борьбы за новый стиль в труде и быту. Шла она и внутри редакции. Старые работники «Комсомолки» любят вспоминать, как составил тайный заговор против самого редактора Тараса Кострова, ходившего в бессменной

потрепанной тужурке. В заговор вовлекли кассира, и однажды Кострову не было выдано на руки жалование: на его же деньги редактору купили в магазине б. Цинделя на Кузнецком мосту новый костюм. Костров был смущен и обескуражен, но смирился.

Перелистываешь старые комплекты газет, и с их пожелтых страниц (это вовсе не привычный и достаточно штампованный эпитет — газетная бумага была скверная и действительно пожелтела от времени) встает образ уже далекого и на исторической дистанции кажущегося особенно романтическим времени...

Реза-хан, свергнув шаха, стал правителем Персии. Так в те годы именовался нынешний Иран. Франция вела бои в Марокко с восставшими рифами. В каждом номере газет мелькало имя вождя рифов, неуловимого Абд-аль-Керима. Восстание в Сирии. Это были первые авангардные сражения будущих освободительных антиколониальных войн. Забастовки и демонстрации в Шанхае и Кантоне. В Америке тянется процесс Сакко и Ванцетти. Тайна этого процесса уже разгадана всем миром, но американские судьи самолюбивы, упрямы и мстительны, и двое невинных итальянских эмигрантов сядут на электрический стул. Всеобщая забастовка в Англии. Разгул белого террора в Румынии и Болгарии. Смерть Фрунзе. Предательское убийство дипкурьера Нетте, о котором вскоре Владимир Маяковский напишет стихи. XIV съезд партии. 7-й съезд РЛКСМ. Столетие декабристского мятежа. Празднование 200-летия Академии наук. Самоубийство Есенина. Амундсен летит на дирижабле на Северный полюс. В Москву прибыли шахматные чемпионы Ласкер и Капабланка для участия в международном турнире...

Из мира науки: первая радиопередача с аэроплана, споры об омоложении — «Воронов или Штейнах?», теория относительности...

Главный инженер фирмы «Симменс-Буаньон» приехал в Москву для переговоров о строительстве метрополитена по линии Каланчевская площадь — Арбат. Открытие уже 7-й по счету автобусной линии между Краснопресненской заставой и бойнями. Реввоенсовет утвердил Мейерхольда в звании почетного красноармейца. В Нью-Йорке идет погрузка 10 тысяч тракторов, купленных СССР. Топливные затруднения. В связи с призывом в армию в Московской области запрещена продажа водки. Эпидемия бешенства собак. Искусано 30 человек.

Заметное место занимают в газетах судебные отчеты. Будущий знаменитый спецкор, неистовый репортер-путешественник Михаил Розенфельд дает подробные отчеты о деле провокаторши Серебряковой. Дело Коренькова. Дело провокатора Крута. Чубаровское дело. Дела о растратах и хулиганстве.

В кинопрокате — засилье заграничных кинобоевиков, и появление каждого нового советского фильма встречается как победа. Сейчас нетрудно видеть, как не сразу устанавливался истинный масштаб оценок: и «Броненосец «Потемкин» — победа, и «Абрек-За ур» — тоже победа.

Отдела спорта еще нет. Он называется: «Физическая культура». Слово «спорт» употребляется только вместе с эпитетом «буржуазный». Статья наркомздрава Н. Семашко «К спорам о футболе». Спор идет о том, вреден ли футбол для рабочей молодежи. Кончается статья такой фразой: «Лаун-теннис должен стать не буржуазной, а комсомольской игрой».

Специальные отделы: «Жизнь деревенской молодежи» и «Детское коммунистическое движение». Не сразу, а постепенно находится форма сменных тематических полос. Но главенствует в газете фельетон.

Фельетонистам «Комсомольской правды» удалось выработать естественную и живую манеру речи, в которой они, почти не меняя своей обычной интонации, могли разговаривать и об открытии съезда, и о событиях в Болгарии, и о досадном происшествии в городке Сердобске. Поэтому они не ограничивают себя узким кругом тем — они пишут обо всем.

Но и в тех случаях, когда фельетон посвящался какому-нибудь торжественному событию или знаменательной дате, то и тогда в нем умели избегать заздравных фанфар и высокопарного красноречия.

В те годы в нашей стране ежегодно отмечался День Парижской коммуны — это была славная революционная традиция, кстати, неизвестно почему забытая. 18 марта 1926 года на первой полосе, как обычно, внизу фельетон В. Кина «Коммунарам». В нем не более ста строк (Кин почти всегда писал кратко), и заканчивается он так: «Несмотря на разделяющие нас полвека, даже сейчас Парижская коммуна кажется такой близкой нашему времени, что невольно представляешь себе Варлена и Делеклюза одетыми в кожаные куртки и обмотки защитного цвета, с наганом за поясом, а Луизу Мишель в красной косынке на стриженных волосах». Вместо риторики автор нашел точный, пластичный образ. Именно в эти дни в помещении Большого театра шел 7-й съезд РЛКСМ, и, пожалуй, большая часть делегатов была из числа молодых участников гражданской войны. Некоторые еще не расстались с кожаными тужурками, а девушки-делегатки все были в красных косынках на стриженных, как тогда было принято, волосах, и поэтическая фантазия Кина не была произвольной: они и в самом деле ощущали Делеклюза и Луизу Мишель живыми товарищами по борьбе.

Даже и в праздничном номере газеты, посвященном открытию съезда, в своем фельетоне — он так и называется «В Большом» — Кин остается самим собой. Фельетон начинается с веселого рассказа о том, как измученные распорядители не хотели пропустить Кина на съезд, и скорее юмористического, чем торжественного описания переполненного зала, и кончается такими трезвыми словами: «Работа — это всегда работа. Работа — это будни, и те, кто принес сегодня в позолоченные стены Большого театра пыль исхоженных дорог со всех концов советской земли, хорошо знают об этом. Работать всегда тяжело, потому что работы много, очень много. На работе не полагается ни приветствий, ни флагов, ни оркестров, там есть только бесконечная вереница новых и новых дел...»

Главная и основная тема публицистики Кина — борьба с тем, что мы нынче называем показухой; борьба с формой, лишенной содержания; с казенщиной, подмявшей жизнь; с мертвым параграфом, заслонившим живое слово.

Трудно переоценить значение этих выступлений для того времени. Но фельетоны Кина не были одиноки в газете. Об этом же говорилось и в интересных, острых статьях Владимира Кузьмина «Письма о новом быте», в проблемных, дискуссионных статьях В. Слепкова «О комсомольском жаргоне» и «Искусство говорить», в обобщающих статьях Т. Кострова о культуре быта. Газета из номера в номер вела борьбу за очищение языка молодежи от жаргона, выступала против бравадирования грубостью, против неверного и демагогического употребления термина «мещанство», говорила о живучих предрассудках, о завоевании подлинной, а не внешней культуры. Газета боролась за неугасимость огня революционных традиций и ежедневно, в каждом номере, напоминала, что борьба советского комсомола — это только часть революционной борьбы трудящихся всего мира. Великая тема интернационального братства революционеров не сходит с полос газеты. Многие фельетоны посвящены международной тематике.

Но лучшие фельетоны именно В. Кина — это все-таки те, которые можно назвать лирико-романтическими. Именно в них уже ощущается индивидуальная манера Кина-прозаика, которую не спутаешь ни с кем. Не будет преувеличением сказать, что романист Кин впервые нашел себя не в одиноких опытах за письменным столом, а здесь, в ежедневной текучей и пестрой газетной работе. Фельетон «Годовщина» — это настоящий эмбрион романа «По ту сторону», а его герой — комсомолец-дальневосточник Виталий Боневур, погибший, спасая от белых пишущую Машинку райбюро комсомола, — родной брат будущих героев Кина — Безайса и Матвеева, да и самого автора.

А незаконченный роман В. Кина о журналистах — это роман о «Комсомольской правде» двадцатых годов и о молодой советской Москве. Блуждая с начинающим репортером Безайсом, мы попадаем, например, на строительство нового здания телеграфа на улице Горького (тогда она еще называлась Тверской), к которому мы теперь привыкли так, словно он стоял здесь вечно. Это роман-репортаж, но репортаж лирический, а может, романтический. Вот о чем думает Безайс, идя на пресс-конференцию приехавшей из Англии профсоюзной делегации: «Англичане ехали сушей и морем, их задерживали на каждой

границе, сыщики незаметно щелкали крошечными аппаратами и писали секретные донесения. Наконец они приехали, но еще не завершился круг вещей — должен еще прийти газетчик и сказать свое последнее слово, сделать из обыденного факта новость и взволновать ею сотни тысяч людей. И его посетило видение — дух газеты. И не было у него сияния, крыльев, радужных одежд и лаврового венка. Тренированный, ловкий — ни одного лишнего жеста! — поспевающий всюду и знающий все репортер. Он был стремителен, жаден и прекрасен в своем неутомимом беге, он творил песню города, схватывал зеркальным фотоаппаратом лирику мостовых, эпос каменных этажей...»

Перейдя в конце 1926 года в «Правду», Виктор Кии вскоре начал работу над романом «По ту сторону». Это было начало большой незаконченной прозаической эпопеи о молодом человеке 20 — 30-х годов. Годы, проведенные в редакции «Комсомольской правды», были сюжетной основой второго романа. А потом? Может быть, потом Кин написал бы о своем инкоровском опыте, о работе молодого советского журналиста в Европе? Планов было много, но они не осуществились.

Это был обычный для тех лет путь — через «Комсомольскую правду» — в «Правду». Вслед за Кином его проделали Яков Ильин, Юрий Жуков, Борис Галин, Сергей Диковский и другие. Для многих из них работа в газете стала дорогой в большую литературу. На весь мир прославился (вместе со своим соавтором И. Ильфом) Евгений Петров. Талантливый роман «Дружба» написал Виктор Дмитриев. Я недавно перечитал его — он несправедливо забыт, и его стоило бы переиздать. Это увлекательная и правдивая история двух молодых изобретателей в противоречивые годы нэпа с точно описанным временем и настроениями молодежи. Интересными рассказами дебютировал в «толстых журналах» конца 20-х годов очеркист «Комсомольской правды» Игорь Малеев. Стал драматургом Сергей Карташев. Романистом редкого у нас приключенческого жанра стал Михаил Розенфельд, неутомимый «король репортеров», прошедший длинный путь от трехстрочных хроникерских заметок до больших романов и превосходных военных репортажей. Любопытный, вездесущий и неутомимый, он множество раз попадал в сложные «переплеты», выходил сухим из воды, из всевозможных опасных приключений. Над ним иногда подшучивали, но все любили его рассказы. Он был одним из самых популярных людей газетной Москвы. Когда пришло печальное известие о его гибели на одном из фронтов Великой Отечественной войны, этому долго не хотелось верить.

Позже к отряду прозаиков, вскормленных «Комсомольской правдой», присоединились Яков Ильин, Сергей Диковский, Сергей Крушинский, Юрий Ко рольков и другие. Об Якове Ильине недавно хорошо рассказал его многолетний товарищ Борис Галин. Незаслуженно редко вспоминается необычайно одаренный Сергей Диковский. Приходит на память разговор в начале сороковых годов с Л. М. Леоновым. Он прямо называл Сергея Диковского надеждой советской литературы. Диковский был неутомимым путешественником, объехавшим в журналистских странствиях полстраны. Он погиб в боях 9-й армии Финского фронта в 1939 году.

Все они писали правду о своем замечательном поколении. Они не занимались искусственной рецептурой создания «положительного героя» — они нашли его образ в жизни и в самих себе. Большинство их произведений автобиографично не потому, что они повторяют события жизни автора, а потому, что они рассказывают историю его поколения. Никто больше их не презирал слащавое украшательство в литературе, поддельный, раскрашенный романтизм, мещанскую красоту. Но из того, что существуют суррогаты и поддельные, наигранные чувства, вовсе не значит, что в жизни нет настоящей романтики, поэзии, красоты подвига. И Виктор Кин, и Сергей Диковский, и Яков Ильин были подлинными, прирожденными романтиками. Поэтому-то они и отвергали с таким презрением все декоративные аксессуары и суррогаты.

Годы «Комсомольской правды» были для всех них прекрасной школой — школой политического опыта, школой жизни и школой литературы.

Трибуна «Юности»

Л. Айзерман

ВСЕГДА ЛИ В ЖИЗНИ ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГАМ?

(Читая сочинения)

«В жизни всегда есть место подвигам. Ты согласен с этим утверждением?»

Передо мной 372 классных сочинения московских десятиклассников на эту тему.

Юноша обдумывает житье. Прислушаемся к его размышлениям.

Впрочем, во всем ли можно верить этим сочинениям? Увы, основания для некоторого недоверия к школьному сочинению есть. Но среди писавших — два класса, которые я веду три года; я хорошо знаю их и верю им. Остальные — ученики знакомых мне учителей, и эти учителя тоже верят подавляющему большинству своих ребят; за каждым сочинением, как и я, видят человека, которого знают не первый юд.

И все-таки это школьные сочинения, и я не берусь утверждать, что каждое из них абсолютно точно раскрывает мысли и чувства писавшего: ведь даже десятиклассники не всегда умеют хорошо выразить на бумаге свои мысли и чувства. Однако в целом, на мой взгляд, получилась картина достоверная.

Юноша обдумывает житье. Прислушаемся к его размышлениям. И не только прислушаемся. Давайте поспорим, подискутируем...

Я считаю себя тоже равноправным участником этого разговора. Может быть, я покажусь в нем подчас и резким или, не исключено, в чем-то патетическим: все это потому, что тема, затронутая школьниками, меня глубоко волнует.

1

По-разному понимают подвиг авторы сочинений. В ученических работах — столкновение позиций, борьба мнений. Но в двух вопросах — полное единомыслие.

Высшая мера подвига, самый бесспорный образец его — подвиг Великой Отечественной войны. Это не дискутируется.

И второе: подлинный подвиг бескорыстен. Эта мысль — одна из главных в большинстве работ. Пусть не везде об этом говорится впрямую, но нет ни одной работы, где утверждалось бы обратное.

«Назначение каждого подвига — утверждение человеческого разума и высоких идеалов».

«Мне кажется, что подвиг заключается в том, чтобы в нужный момент собрать все свои внутренние силы, забыть свои личные интересы во имя интересов окружающих тебя людей, суметь взять себя в руки и делать нужное и важное дело, исполнение которого принесет, возможно, счастье, радость другим, спасет их от опасности, спасет им жизнь или просто принесет им какую-то пользу».

«По-моему, Матросов закрыл грудью пулемет, не думая, что его будут помнить. Талалихин пошел на таран не из-за славы, он хотел не пропустить фашистов на Москву...»

Это утверждение подвига, окрыленного большой идеей, приводит авторов работ к отрицанию подвига, лишённого абсолютной бескорыстности:

«Герой не может, не должен извлекать пользы для себя из всего совершенного им».

«Если человек делает что-то ради себя даже в самых трудных обстоятельствах — это не подвиг».

Несколько человек, говоря о лжеподвиге, ссылаются на описание Аустерлицкого сражения в «Войне и мире». Во время этого сражения, в самый критический момент его,

Андрей Болконский, схватив знамя, бросается вперед, не слыша свиста пуль, очевидно, направленных в него. Но делает он это во имя славы, во имя своего Тулона.

Больше того, авторы сочинений вообще не признают подвига ради подвига:

«Что же такое подвиг? Это то, что совершает человек, не думал, что он совершает подвиг, а думая о результате сделанного».

А отсюда и следующий шаг:

«Нужно ли искать подвиг? Я думаю, нет. Подвиг должен совершаться по велению сердца. А если человек, увидев бедствие, думает о том, что он сейчас совершит подвиг, то это уже нехорошо».

«Человек, который ищет подвига, этим самым уменьшает его цену».

Написавшие это отрицают рассудочный, нарочито-преднамеренный подвиг; в искании такого подвига они видят искание славы или какой-либо иной платы за подвиг. Я согласен с ними. Мне по душе этот нравственный максимализм их суждений.

И все-таки разве ложно, неприемлемо само по себе стремление к героическому делу, яркой жизни, большому подвигу?

2

«В жизни всегда есть место подвигам. Ты согласен с этим утверждением?»

«Нет», — ответили семь человек. «Да», — сказали остальные.

Тут-то и заспорили все вместе. И вот о чем. Какой подвиг можно в мирное время совершить? Конечно, вынести человека из огня, спасти утопающего или обнаружить опасного преступника — это подвиги мирного времени. Ну, а если нет пожара или никто не тонет и не совершает преступлений, что тогда?!

В самом деле, сегодня, в наше время, в чем подвиг? Это центральная проблема всех сочинений. Как же ее решают?

«Работая честно, человек делает свой вклад в общее дело. Этим он совершает подвиг».

«Я думаю, что для того, чтобы совершить подвиг, не надо каких-то особых условий; каждый человек на своем рабочем месте совершает подвиг, если отдает всего себя своему любимому делу и если это дело приносит пользу людям...»

«О большинстве подвигов не написаны книги, о большинстве подвигов не пишут даже в газетах. Они — в элементарном исполнении повседневных обязанностей. В наше время подвиг и состоит в том, чтобы просто делать то, что тебе положено».

«Сделай что-нибудь хорошее, не думай, что о тебе скажут со стороны, и можно сказать, что ты совершил маленький подвиг».

«Если человек живет не только для себя, а помогает чем-то и другим, то это тоже в какой-то степени подвиг».

Я не случайно привел так много цитат: это взгляд половины писавших сочинения. Что ж, попробуем разобраться в нем. Чем он вызван?

Ребята совершенно справедливо считают, что сфера подвига не ограничивается днями войны или стихийных бедствий.

Характерно, что профессия врача, точнее, врача-хирурга, чаще всего упоминается в сочинениях, когда речь идет о подвиге мирных будней. Она названа в 61 сочинении. Высокая гуманность и вместе с тем внешняя будничность дела — вот что, видимо, побуждает десятиклассников выделить профессию врача. Они ищут поэзию в прозе, героику в буднях, романтику в повседневности. Но правильные исходные позиции, к сожалению, далеко не всегда приводят к правильным выводам, особенно если выводы делает молодой человек, мыслящий подчас категорически, бескомпромиссно.

«Когда сейчас говорят о подвиге, — читаем мы в одном из сочинений, — на ум сразу приходят имена Лазо, Космодемьянской, молодогвардейцев, космонавтов. Да, они герои. Абсолютно верно. Их подвиг заключается в стопроцентной самоотдаче, в служении своим

идеалам, в самопожертвовании... Ну, а в нашей жизни? Врач, рабочий, инженер, юрист, колхозник, преподаватель могут в своей работе совершить подвиг? Было бы просто слишком узко сводить подвиг лишь к самопожертвованию, к действиям, непосредственно связанным с риском для жизни. Просто есть разные подвиги: подвиги самопожертвования (подвиги-вспышки) и подвиги труда, хотя это — очень грубое деление... Человек добросовестно и честно относится к своей работе. Он не делает ничего сверхчеловеческого, а просто работает на совесть. В таком случае его работа будет лучше других, он выделяется. Герой? Подвиг? Не слишком ли «громко» все получается? Подвиги, герои? Да, есть немножко. Мне бы хотелось хорошую, честную работу назвать не трудовым подвигом, а просто нормой, нормой для каждого. Уж слишком само слово «подвиг» значительное. Будет такое время, когда такая работа будет действительно нормой. Сейчас же мы еще не можем назвать нормой абсолютно для каждого честную, добросовестную работу... Так должен работать каждый, это долг каждого, но делают так не все. Итан, я приравниваю честное, добросовестное, отношение к порученному заданию, работу с душой, самоотдачу в труде к тому, что у нас обычно называют трудовым подвигом...»

Девушка, написавшая это, бесспорно, права в своем стремлении утвердить героику будничного труда. Но, думается мне, возвышая подвиг будней, она вместе с тем, по существу, опускает, принижает его, сводя просто к добросовестному исполнению порученного задания.

Ее мысль развивает, усугубляя, автор другого сочинения:

«Героическое стало обыденным. Мы перестали замечать грань между героическим и простым...»

И получается у него, что подвиг — это и любая добросовестная работа, и элементарная порядочность, и любовь к своему делу, и забота не только о собственной шкуре... Но неужели делать «что-нибудь хорошее», «помогать чем-то другим», нести людям «что-то хорошее, доброе, полезное» — это уже подвиг?

Ведь в конце концов сходить для соседки за хлебом — значит тоже чем-то помочь человеку; подарить девушке цветы — значит сделать что-то хорошее, доброе. Или это тоже подвиги? Кое-кто из сторонников такого мнения в конечном счете приходит к подобным выводам:

«Часто мы видим, как старый человек боится перейти улицу. Мимо него спешат, как обычно, люди, но среди этих спешащих людей находится человек, который помогает ему перейти улицу...»

«Подвиг ученика — хорошо учиться. Подвиг преступника в какой-то мере (по-моему) — не делать преступлений и стать честным тружеником. И моим подвигом будет то, чтобы стать образованным, культурным человеком».

Не скрою, меня тревожат такие выводы. Ведь за ними — фактически обесценивание самого понятия подвига, снижение нравственных требований к себе и окружающим. Именно в этом, на мой взгляд, и кроется вторая причина заземленного понимания подвига, поэтизация, а иной раз и героизация обыденщины — да, обыденщины, а не будней. Напомню, что примерно так, к сожалению, считает половина авторов сочинений.

«Я думаю, что отдать кровь больному в 1966 году — это не меньше, чем вести за собой в атаку поту в 1941-м».

«Принято считать, что подвиг — это что-то героическое, необычное, сразу бросающееся в глаза. Я с этим не согласна. Если человек закрывает своей грудью амбразуру вражеского дота, то это подвиг. Ну, а если учитель всю свою жизнь отдал детям — это, по-моему, тоже подвиг. Матросов отдал свою жизнь для спасения своих товарищей. Учитель отдал свою жизнь для того, чтобы вырастить людей, человек...»

«...Каждому времени — свое. Сейчас, работая честно, с душой, весь отдаваясь любимому делу, человек совершает подвиг».

Я согласен: у каждого времени свои подвиги. Согласен: в будничной трудовой жизни есть место подвигу. Согласен: есть подвиги неброские, внешне неприметные. Но я не могу

согласиться с тем, что мой повседневный учительский труд равен героическому подвигу Матросова (хотя, как вы понимаете, мне такой подход весьма лестен), или с тем, что работать честно и молчать под пыткой на допросе — равнозначно. Конечно, сфера подвигов не ограничивается военным временем. Она и в мирной жизни. Но не надо занижать мирный подвиг. Давайте и к нему подходить с высокой мерой Великой Отечественной!

3

Но вот что утверждают другие ребята: «Иной раз можно прочесть: «Трудовой подвиг учителя Сундукова». Сундуков проработал в школе № 2 40 лет. Нет, это не подвиг, это работа, а работать должен каждый человек».

«Конечно, это прекрасно, если человек честно трудится, и надо писать о таких людях, говорить о них по радио, поощрять их. Но я не согласна с тем, что люди, выполняющие план на 200 процентов, совершают подвиг».

Подвиг всегда связан с самопожертвованием: жертвуешь своей жизнью, счастьем, благополучием во имя людей, во имя идеала».

«Подвиг — это поступок человека ради других людей, который связан с опасностью для жизни и с отречением от многих земных благ».

Как видим, ребята спорят не с тем, есть ли место подвигу в обычной, будничной жизни, а с тем, что подвиг опускается до уровня будней, теряя, в частности, и свою романтичность. Ведь подвиг — это все-таки всегда взлет над буднями, он связан с преодолением тяжелых препятствий, со способностью жертвовать своим и собой.

Как раз в этой связи интересно обратиться к тем сочинениям, где на поставленный вопрос дан отрицательный ответ:

«Подвиг — это действие (дело, деяние) какого-либо человека, совершенное им бескорыстно, в условиях, опасных для него, в условиях, когда это действие могло привести к каким-либо результатам, полезным или жизненно необходимым для окружающих его людей. Такие условия являются исключительными, обычно они возникают в ходе или результате каких-то необычных, ненормальных событий (как-то: война, пожар, наводнение и т. п.). Например, образец подвига — подвиг Данко. Совершил бы Данко подвиг, если бы он так и оставался «вольным землепашцем» и его бы никто не загонял в «леса дремучие»? Мне думается, нет. Для того, чтобы учиться, работать у станка, пахать землю, ПОДВИГ не нужен. В повседневное дело можно ВЛОЖИТЬ душу, СЕРДЦЕ (тогда оно становится «трудовым подвигом»), но для этого не надо вырывать из груди сердце. Если в повседневной, нормальной жизни есть место необычным, ненормальным событиям, то есть место и подвигам. Это не значит, что все в мире, кроме героев, посредственности. Есть много других замечательных людей. Когда кто-нибудь совершил «трудовой подвиг», то он, безусловно, делает замечательное дело, но не подвиг...»

Что ж, последний вывод вполне справедлив, хотя и запальчив. И все-таки вряд ли можно согласиться с автором сочинения в том, что наша повседневная жизнь и, в частности, труд не имеют отношения к подвигу. У станка, за прилавком, на скотном дворе совершались и совершаются настоящие, в самом высоком смысле этого слова, подвиги — и потому, что сама работа эта подчас связана с «условиями вредными или даже смертельно опасными», и потому (это очень важно!), что труд продавца, доярки, токаря не сводится лишь к производственным процессам. Он включает в себя и сферу человеческих, гражданских, общественных отношений. Эти отношения налагают на человека любой профессии особые обязанности.

Об этом нельзя забывать.

4

Только в двенадцати сочинениях сказано о подвиге, совершенном во имя научных убеждений. Причем в девяти работах, написанных в разных школах, приведен один и тот же пример: Джордано Бруно. До обидного мало!.. И это после драматических событий, имевших место в нашей науке о генетике, — событий, в которых раскрылись высокая убежденность, гражданская честность ученых! Впрочем, откуда же знать об этом современному молодому человеку, когда даже в дни юбилея академика Дубинина писалось о его научных открытиях, но мало было сказано о подвиге этого ученого, который не склонил головы и не пошел на поклон к своим противникам? Вот мы и читаем в одном из сочинений: «Теперь за научные исследования не наказывают, ученых больше не называют еретиками, и продвижение науки вперед перестало быть таким подвигом, каким оно было ранее...» Вот и ищут ребята примеры в прошлых столетиях, не ведая, что происходило совсем недавно.

Только у десяти ребят, размышляющих о сегодняшнем подвиге, я прочитал:

«Подвиги бывают не только на войне, на пожаре, при испытании нового самолета. По-моему, подвиг — это и отстаивать свои убеждения, идти против тех, кто вразрез расходится с твоими взглядами, хотя они вчера были твоими лучшими друзьями. У меня есть дядя. Он сельский учитель. Многие его считают чудачком. И это за то, что он смело отстаивает свои взгляды... Но дядя знает, что он прав...»

«Я думаю, что подвиг — это поступок, целью которого является устранение зла, насилия или несправедливости. Человек может совершить подвиг только тогда, когда он совершенно уверен в правоте того, за что он собирается бороться. И когда появляется такая уверенность, человек с твердой волей, способный побороть страх за свою жизнь, забывает, что у него есть жена и дети. Мысль о том, что нужно устранить зло или несправедливость, затмевает все другие мысли».

«Самый большой подвиг, по-моему, состоит в том, чтобы всегда оставаться верным своим убеждениям, своей мечте, уметь отстаивать эти убеждения, бороться за эту мечту».

«Подвиг — это не только умение смело и отважно встретить смерть и умереть за Родину; подвиг — это когда ты не совершаешь никаких сделок со своей совестью, когда ты можешь сказать, что вся твоя жизнь была чистой и правильной».

Как это верно и глубоко!.. Конечно, это и есть тот подвиг, которому всегда есть место в жизни каждого человека; подвиг, который необходим нам, как хлеб и воздух.

Но так написали лишь 10 ребят из 372.

И меня, школьного учителя, бесконечно тревожит вопрос: почему же десятиклассники — через полгода они вступают в самостоятельную жизнь! — не понимают всего значения и всего величия подвига гражданского, во имя защиты идеи? Может быть, потому, что мы сами, взрослые, ничтожно мало о нем говорим?

Вот недавно появилась составленная Сергеем Михалковым и Константином Симоновым из газетных статей и заметок книга «Спасибо вам, люди!». Как написано в предисловии, она посвящена героям нашего времени, их прекрасным подвигам, новым смельчакам. Летчик-испытатель рискует жизнью, но не покидает самолет, у которого отказал двигатель. Моряки спасают терпящее бедствие иностранное судно. «-Колхозник задерживает преступника. Рабочие укрощают пожар на нефтяной скважине. Больше десяти километров идет по ледяной воде врач, чтобы помочь роженице...

Прекрасные люди, прекрасная книга!..

Если составить вот так же, из газетных статей и заметок, под тем же названием «Спасибо вам, люди!» книгу о тех, кто защищает свои научные убеждения, борется с несправедливостью, отстаивает правду, то есть книгу о подвиге во имя истины, правды, коммунистических идеалов! Разве это не будет рассказ о героях нашего времени? Такой книги пока нет. Но как она необходима всем нам — и молодежи особенно!..

Есть у Новеллы Матвеевой стихотворение о пожарном, которому «хотелось ночью красно-розовой кого-нибудь из пламени спасти». Броситься в огонь пожарному этому так и не довелось: «В том краю как раз пожаров не было, там жил предусмотрительный народ». Так и не сбылись его мечты о подвиге.

А между тем горело очень многое,
Но этого никто не замечал...

Почему я привел здесь эти строчки? Чтобы подчеркнуть очень важную для всех нас истину: не для того ли учим и воспитываем мы ребят в школе (и не только в школе), чтобы научить их видеть, когда горит дорогое и близкое нам, видеть, даже если огонь пожара незримый?

Да, увидеть, почувствовать и броситься в огонь...

5

«Допустим, человека попросили войти в горящий дом и вынести оттуда что-нибудь или кого-нибудь. Допустим, он сходил и принес это. Это подвиг? Нет. Разве Александра Матросова кто-нибудь просил закрыть грудью амбразуру дота? Конечно, нет. Подвиг, совершенный по чьей-либо просьбе, — это не подвиг. Подвиг — это что-то хорошее, совершенное бескорыстно, по собственной инициативе».

«Я слышал, что есть «сознательные» подвиги. Не верю в это. В подвиге выявляется не разум, а сердце».

«И хотя воспитывать в людях способность к подвигу, и героическому важно, но в конечном счете подвиг совершается все-таки по велению души, сердца, а не разума».

«Подвиг совершается не по приказу, а по велению сердца...»

Прислушаемся к этим рассуждениям. В них чистые, высокие мысли и чувства: боязнь фальши, какой бы то ни было расчетливости, убежденность в подлинной духовной ценности лишь того, что рождено искренним, неподдельным движением сердца. И это прекрасно.

Вместе с тем в полемической запальчивости ребята доводят свою мысль до предела и даже, случается, преступают этот предел.

Я не стану сейчас подробно рассматривать утверждение, что подвиг, совершенный по приказу, — это уже не подвиг. Напомню лишь, что 28 панфиловцев получили приказ защищать свой рубеж. Думается, этот простой пример опровергает неправильную мысль... Мне хочется сказать о другом: о противопоставлении сердца разуму, порыва души — сознанию, подвига — долгу.

«Подвиг совершается по велению сердца», — читаем в одном из сочинений. Бесспорно. Добавим лишь: но умного, сознательного сердца. Помните у Маяковского: «Голосует сердце, я писать обязан по мандату долга». Голос сердца и требование долга для поэта неразделимы. Или у Фучика: «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества». С пониманием подвига как до конца исполненного долга мы встречаемся и на страницах ученических сочинений:

«Каждый ли человек может совершить подвиг? По-моему, да. Какой бы человек ни был черствый, эгоистичный, равнодушный, в нем все-таки живут чисто человеческие, прекрасные чувства. Пусть они запрятаны далеко, но в нужный момент они проявят себя».

«И если человек в обыденной жизни может быть слабым, — когда он совершает подвиг, он уже не слабый, он человек с большой буквы».

С таким вот мнением решительно спорит большинство ребят:

«Никогда человек себялюбивый, корыстный, завистливый не способен совершить настоящий подвиг».

«Человек не совершит подвига сразу, если он к нему не подготовлен всей предшествующей жизнью».

«Только настоящий человек, который и в обычной жизни был человеком, может совершить подвиг».

«Подвиг может совершить всякий человек, который понимает, что такое совесть, честь и долг».

«На подвиг, по-моему, способны люди, обладающие духовной красотой, имеющие твердый характер и закаленную силу воли, чувство долга перед Родиной и всем своим народом, люди хорошо воспитанные».

И последнее.

Подвиг — это ярко вспыхнувший и погасший факел, указавший людям путь, а мне по душе простая и честная работа, на которой держится наш мир, — простая электрическая лампочка. А подвиг... Может, тебе повезет, и ты сам сможешь «войти в горячее здание и вынести детей». Но мир держится на лампочках. Слава лампочкам!»

Так закапчивается одно из сочинений. Конечно, я тоже с большим уважением отношусь к простой и честной работе. Ведь я учитель, а труд учителя и есть простая честная работа, И все-таки мне по душе другая философия:

Безумство храбрых — вот мудрость жизни!..

6

«...На место старой учебы, старой зубрежки, старой муштры, — говорил, обращаясь к делегатам третьего съезда комсомола, В. И. Ленин, — мы должны поставить умение взять себе всю сумму человеческих знаний, и взять так, чтобы коммунизм не был у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано...»

Не повторение заученного, а лично выношенное — вот что отличает самые интересные сочинения, авторы которых глубоко и серьезно ищут истину, добиваются до правды, спорят с теми позициями, с которыми они не согласны. И в этом мне видится знаменательная примета нашего времени: только продуманное и принятое сердцем становится внутренним убеждением.

Разумеется, можно соглашаться или не соглашаться с тем, что написали ребята, но вдумчивость, искреннее и серьезное желание их разобраться в поставленной проблеме и найти ответ не могут не подкупить.

Однако есть основания для беспокойства — это развязный тон авторов нескольких десятков сочинений.

Когда я читаю о том, что «обезьяна, которая встала на задние ноги и взяла в теперь уже свободную руку камень, чтобы добыть себе пищу, совершила подвиг, потому что она первая поняла то, что таило в себе это новое положение, она впервые почувствовала себя человеком», или трескотню о хлеборобе, якобы собравшем миллионы тонн хлеба, или о том, что «Карл Маркс, основоположник научного коммунизма, не щадя своего здоровья, не считаясь с личными интересами, собирает, систематизирует и создает великое учение. Тяжелым трудом он подорвал свое здоровье», — когда я читаю все это, мне становится больно за то святое, что «с легкостью в мыслях необыкновенной» оскорблено здесь бойкой болтовней. Беспокоит меня и вот что.

Лишь в одиннадцати сочинениях вы можете прочесть: «Мне рассказал один человек», «Мой дядя...», «Мой брат видел», «Я знаю один случай», — то есть лишь в одиннадцати сочинениях десятиклассники апеллируют не к книге, не к газете, не к радиопередаче, а к жизненному опыту, своему собственному или опыту тех людей, которых они лично знают. А между* тем обращение к такому опыту не только делает размышление более глубоким и обоснованным, но и расширяет диапазон раздумий.

«Я слышала, что есть подвиг ради любви. Но какой любви? Если это любовь к Родине, тогда, несомненно, можно совершить подвиг. Но можно ли совершить подвиг ради любви к одному человеку? Я этого не знаю, может, потому, что мне не приходилось самой с этим сталкиваться. Я, правда, не могу себе представить, какой подвиг можно совершить из-за любви к одному человеку. Может, когда-нибудь мне придется испытать это. Но сейчас я этого не представляю, я слишком мало прожила».

Как бы отвечая этой девушке, другая рассказывает:

«Я напишу об одной женщине, которая всю свою жизнь посвятила своей семье. В молодости все говорили, что она будет замечательной актрисой, но она встретила человека, которого очень сильно полюбила. Этот человек потерял веру в свои силы после неудачных опытов. Она помогла, заставила этого человека поверить в себя. Сейчас этот человек довольно-таки известен в научном мире. А эта женщина отдала ему свою жизнь, свое будущее. Может быть, подумают, что она мещанка, которая живет только для своей семьи. А вот, по-моему, это подвиг, подвиг — пожертвовать собой, своим будущим ради любимого человека».

Мне кажется, последний пример чрезвычайно интересен. Но не буду сейчас обсуждать его: он заслуживает отдельного разговора. Привел же я его для того, чтобы показать, как нужно и важно всматриваться в то, что рядом, задумываться над тем, мимо чего нередко проходят иные люди.

Мы часто и справедливо говорим, что главная задача школы и вообще воспитания — научить человека думать, мыслить. Юноша обдумывает житье в самом широком смысле этого слова. Это, конечно, очень хорошо. И помочь ему должен каждый из нас, воспитателей, в меру своих сил и возможностей. И чем глубже будет молодежь осмысливать каждодневное, рядом стоящее, тем больше будет ее сознательная готовность к подвигу, которому всегда найдется место в жизни.

НАУКА И ТЕХНИКА

Виктор Тростников

ФАКЕЛ ДЕМОКРИТА

Случайный знакомый, человек, далекий от точных наук и техники, задал мне вопрос из коварной серии, которую называют «детской»:

— Что такое физика?

Первым моим импульсом было пояснить значение греческого слова «физис» (так сильна над нами власть примелькавшихся абзацев учебников) и от древнего корня перебросить мост к описанию целей и средств современного изучения природы. Но, подумав, я пришел к выводу, что в наше время многие люди воспринимают слово «физика» не как название науки, а скорее как краткое обозначение определенного образа мыслей и даже, может быть, образа жизни.

Академик Л. А. Арцимович недавно осветил одну из сторон трудного вопроса о сущности физики. Он писал о том, что физика стала одним из определяющих факторов развития общества, мощной по капиталовложениям и отдаче отраслью индустрии. К этому вряд ли можно что-либо добавить. Но существует еще один весьма интересный аспект вопроса, который можно сформулировать так:

— Кто такие физики?

Не «что они делают?», а «что они за люди?».

Вспомним, как обычно изображает физика художественная литература или кинематография: трезвый аналитический ум, тонкая ирония, слегка пренебрежительное отношение к представителям гуманитарных профессий, а главное, ясность, категоричность и окончательность суждений, то есть абсолютная неподверженность сомнениям, так свойственным «лирикам». В самом деле, может ли сомневаться в чем-либо человек, который точными движениями препарирует природу и хладнокровно следит за родовыми муками и смертельной агонией элементарных частиц?

Вероятно, существуют на свете безмятежные и безапелляционно всезнающие физики, которые необходимую всякому живому человеку эмоциональную отдушину находят лишь в язвительном остроумии. Но мне лично они попадались лишь на экранах. Из тех друзей-физиков, с которыми меня сводила судьба, большинство были впечатлительными,

обладавшими художественным темпераментом, легкоранимыми. Все они принадлежали к категории людей, о которых очень приятно вспоминать, но очень трудно писать. Тут нет типичного образа, тут все индивидуально, неповторимо, особенно. И только когда встретишь уж очень много таких людей, начинает вырисовываться что-то общее им всем... Может, это и есть физика?

Передо мной лежит письмо друга, с которым мы учились в университете и который сейчас живет далеко от Москвы, в большом научном центре. Внешне он очень похож на тот стандартный образ физика, который создан кинематографом: носит квадратные очки, стрижется бобриком, спортсмен, остроумен, ездит на международные конференции и т. д. Он пожелал остаться анонимным — поэтому назовем его условно Сергеем В., — но не возражал, если я опубликую отрывки из его письма, которые позволят в какой-то степени судить о типичном умонастроении типичного молодого физика наших дней:

«Через шестнадцать дней мне стукнет тридцать. По распространенному мнению, в этом возрасте пора подводить первые итоги жизни. Пора так пора...

Десять лет назад, когда мы были студентами, мы знали физику ненамного хуже, чем сейчас, но относились к ней чудовищно неправильно. Мы были сбиты с толку в самой основе. Кое-что нам недоговаривали, но еще больше мы, по своей восторженности, не воспринимали. А было и такое, чего в те годы никто не знал.

Десять лет назад не только мы, наивные студенты, но и многие седые ученые были убеждены, что природа преисполнена гармонии. Небесные тела неукоснительно движутся по замечательным кривым, предначертанным разумом великого Ньютона (не хватает только музыки сфер); неделимые частицы — электроны, протоны и нейтроны — мудро складываются в атомы, тайну строения которых разгадал великий Резерфорд; оболочки атомов, подчиняясь законам великого Паули, формируют химические элементы; переходы оболочек с одного энергетического уровня на другой приводят к излучению квантов, предсказанных великим Планком, и все это погружено в пространство-время великого Эйнштейна.

Как приятно жить в мире, главной чертой которого является простота и математическая ясность! Какое счастье быть человеком — человек равноценен миру, ибо постигает своей мыслью сокровеннейшие его основания! Есть, правда, еще некоторые не до конца понятные явления (вроде бета-распада, еще кое-чего, но стоило ли обращать внимание на такие мелочи!), однако в этом и состоит прелесть науки — новому поколению предстоит ни с чем не сравнимая радость дальнейших открытий. Дерзайте же, молодые, идите в лоно физики — царицы наук, вкушайте сладчайшие плоды древа познания материи!

Мы гордились своим фанатизмом и презирали нефизиков. Опьяненные восторгом ожидания, мы пришли в лаборатории. Мы работали как черти, забывая о девушках, друзьях, турпоходах и даже о еде. Как же — ведь вот-вот будет разгадана самая последняя и сокровенная тайна, и нужно не прозевать этот исключительный по своей важности миг...

Через шестнадцать дней мне стукнет тридцать. Я закоренелый, матерый физик. С таким же стопроцентным физиком я могу в течение любого количества часов говорить на языке, который для непосвященного будет звучать как абсолютная абракадабра. Я курю трубку и имею хобби — стихи. Их я знаю не хуже иных искусствоведов. Но я знаю также то, чего не знают искусствоведы, чего не знают счастливые искусствоведы: что природа — тупой и жестокий зверь, начисто лишенный всякой логики и всякого сострадания к микроскопической своей частичке, гордо зовущей себя человеком.

Если бы на первом курсе университета мне сказали, что пространство само по себе отличает правое от левого; что, собирая частицы в целое, мы получим совсем не то, из чего возникли эти частицы; что есть две частицы, которые не имеют ни массы, ни заряда и ничего вообще, но тем не менее отличаются друг от друга; что имеются другие две частицы, которые ничем не отличаются друг от друга, но одна из них почему-то в двести раз тяжелее другой; что частиц, ни из каких других не состоящих, имеется больше, чем элементов в таблице Менделеева, и все попытки свести это сводящее с ума разнообразие в какую-то

систему упираются в глухую стену; что есть законы природы, которые выполняются всегда, а есть и такие, которые выполняются иногда; что элементарная, ни из чего не состоящая неделимая частица имеет рыхлую атмосферу и что-то еще внутри; что пустота с невероятной плотностью набита электронами, — я бы решил, что меня искушает Мефистофель, и воскликнул бы: «Сгинь, нечистый!»

Нет, брат, Мефистофель здесь ни при чем. Просто природе наплевать, являются ли ее свойства удобопонимаемыми для людей. Просто мы обманывали себя и выдавали желаемое за действительное. Просто пришел час расплаты за нашу самоуверенность и за слишком высокую оценку своего разума...»

Некоторые впечатления врезаются в память на всю жизнь. Так запомнилась мне одна напряженная ночь в зале ускорителя. Я считал на электрическом арифмометре, а напротив меня возился с пузырьковой камерой высокий светловолосый человек в синем халате. Назову его Семеном Михайловичем. Его худое выразительное лицо, прорезанное продольными морщинами, выражало крайнюю сосредоточенность и напряжение: ему то и дело приходилось выполнять три операции — прижимать левой рукой щуп тестера к одному из зажимов внешней панели, дотягиваться правой рукой с другим щупом до провода, находящегося в самой гуще переплетений камеры, и внимательно следить за показателями шкалы прибора.

Наконец проверка закончилась, Семен Михайлович откинулся на спинку стула, вытер со лба пот. Посидев несколько секунд неподвижно, он встал и кивком головы пригласил меня к выходу.

Луна освещала посеребренные снегом далекие леса и белую ленту широкой реки. Было такое безмолвие, какое бывает только зимой и только при луне. Невольно вспомнилось время, когда еловые лапы еще покачивались и на том месте, где сейчас расположился гигантский электромагнит.

...Двести заводов вносили свой вклад в создание «машин». Академик, первым выдвинувший идею колоссального инструмента для разгона мельчайших частиц материи, почти не уходил с площадки. Тысячи тонн веса и точность в микроны, невероятное количество коммуникаций, сложнейшие радиотехнические и электротехнические схемы, а главное, никем в мире не апробированные новые принципы действия установки. Специалистов по такому ускорителю не было и не могло быть — все были учениками, даже покойный академик.

Но мы построили уникальный ускоритель, обойдя изумленных американцев. А имя академика стало самым популярным на очередной конференции в Женеве. Имя Семена Михайловича, конечно, на этой конференции и в статьях журналистов не называлось. Но академик, когда бы и с кем бы ни говорил о коллективе создателей ускорителя, всегда упоминал своего лучшего наладчика приборов, которого уважал больше, чем многих своих ученых коллег.

— Откуда только берутся в народе такие таланты? — любил он повторять. — Ведь радиотехника возникла совсем недавно, и получить генетическим путем какие-то к ней пристрастия человек не может. Значит, у Семена Михайловича прирожденная способность разбираться в сложных штуках вообще, и тысячу лет назад он знал бы повадки каждого зверя в лесу так же тонко, как знает повадки запутаннейших схем. Вот это и есть божий дар, талант, — вспоминайте об этом, граждане теоретики, когда вас слишком уж начинают превозносить.

Почувствовав холод, мы вернулись в главный зал. Вот он, исполин, распростерся перед нами ребристым кольцом. Если бы не гудение насосов, стояла бы полная тишина, а ведь раз в несколько секунд по мишеням ударяет раскрутившаяся в вакуумной камере молния фантастического напряжения. И высекает из обычных частиц — протонов и нейтронов — совсем другие: загадочные, разжигающие любопытство, путающие карты.

Говорят, что каждое новое поколение заново открывает для себя мировые законы. Эта мысль представляет собой разновидность другой, более известной: ничто не ново под луной.

Чтобы прочно усвоить какую-то истину, и не только рассудком, а всем существом, нужно убедиться в ней на собственном опыте. Но на одних книгах многому не научишься; окончательным арбитром может стать только реальная жизнь. И каждое следующее поколение с восторгом вылавливает из этой жизни то, что много лет тому назад уже вылавливали другие люди с таким же восторгом. Но если повторяют своих предшественников отдельные представители рода человеческого, это еще не значит, что движутся кругами и коллективные знания.

Постепенно в человечестве накапливаются и такие сведения, которые не являются возрождением полузабытых или совсем забытых и даже не имеют никаких аналогов в прошлом. Они определяют поступательное движение нашего познания. Этих сведений очень мало, они добываются так же непредвиденно и редко, как крупные жемчужины. Они формируют наш взгляд на окружающее, создают необратимые изменения в образе человеческого мышления и посредством этого направляют то, что называем культурой и цивилизацией.

Две тысячи лет тому назад из океана неведомого была извлечена бесценная жемчужина — представление об атомистическом строении материи. До сих пор она является гордостью сокровищницы науки, ядром основного фонда наших знаний о природе. Но еще ценнее метод лова, открытый античными мыслителями. Да, именно метод. Это утверждение противоречит иногда встречающимся высказываниям о том, что атомизм Демокрита и Эпикура был гениальной догадкой, и все же оно правильно. Древние ученые пришли к мысли о наличии неделимых частиц материи — атомов — в результате логических рассуждений. Они пытались доказать существование атомов, хотя и не в том самом смысле, который вкладывается в понятие доказательства сегодня. Они обосновали свою точку зрения не экспериментом, а чисто логическими рассуждениями. Это прекрасно видно из строк поэмы Лукреция «О природе вещей».

В самом начале своего изложения Лукреций формулирует принцип, который можно считать первым намеком на завоевавший сейчас огромный авторитет в науке закон сохранения материи:

«Из ничего, словом, должно признать, ничто не родится...».

и:

«Надо добавить еще: на тела основные природа Все разлагает опять и в ничто ничего не приводит».

Очевиден для Лукреция также принцип причинности — закономерная связь последовательных явлений. С теми или иными оговорками признаем этот принцип и мы, дети двадцатого века.

Это мировоззренческий базис, на котором строится дальнейшая аргументация. А вот доводы Лукреция непосредственно в пользу атомизма.

Довод первый. Форм, воспринимаемых нашими чувствами, хоть и много, но не бесконечно много, и формы постоянно возрождаются в том же виде. Это может быть только в том случае, если они построены из нескольких типов основных частиц (атомов), сочетающихся в различных комбинациях.

«Но, несомненно, предел раздробленью известный положен

Так как мы видим, что вещь возрождается каждая снова...»

и:

«Можно скорее признать, что имеется множество общих Тел у различных вещей, — как в словах одинаковых знаков».

Довод второй. При допущении бесконечного дробления часть тела будет совершенно эквивалентна самому телу, что в конечном счете противоречит принципу познаваемости

материи. Говоря современным языком, в части должно содержаться меньше информации, чем в целом, а это возможно только в мире, построенном из атомов.

«Если не будет, затем, ничего наименьшего, будет Из бесконечных частей состоять и мельчайшее тело... Чем отличишь ты тогда наименьшую вещь от вселенной? Ровно, поверь мне, ничем...»

Вы убедились, как по-современному рассуждали титаны античной мысли? Воскресни сейчас Демокрит, он наверняка нашел бы общий язык с современным физиком. Известие о том, что предсказанные им чисто умозрительно неделимые частицы (которые, правда, называются уже не атомами, но имеют тот же смысл, что и его атомы) обнаружены экспериментально, Демокрит, вероятно, встретил бы спокойно: «Иначе и не могло быть!». Что же касается свойств этих частиц, то тут наш физик мог бы порассказать многое такое, о чем мудрец из Абдеры догадаться в то время никак не мог, несмотря на всю мощь своего разума.

Нам с Семеном Михайловичем не хотелось уходить домой, хотя уже давно было пора. Как гипнотизирующие глаза, притягивали нас загорающиеся время от времени красные огни надписи «цикл». Красный свет означал, что очередная порция протонов совершает свой безумный вихревой бег, готовясь атаковать ядра.

Семен Михайлович признался мне, что уже много лет — с самого начала работы ускорителя, — видя сигнал «цикл», он пытается представить себе эти невидимые протоны. Человеческий мозг не способен создать зрительную картину, в которой какие-либо тела за три секунды проделывали бы в двухсотметровом кольце путь, равный одной трети расстояния до Луны. И все же приборист, по-видимому, очень четко ощущал ускоряемые протоны некими живыми существами, в чьем недолгом, но славном веке концентрируется все: труд монтажников и наладчиков, заботы проектировщиков, бессонные ночи дежурных и бесконечные надежды физиков.

На водохранилище, выше плотины, целыми днями сидят у своих лунок рыбаки. Страшно становится за рыбу, когда вообразишь, сколько препятствий в виде крючков с наживкой возникает в такой день на пути ее, бедняги. Но еще больше препятствий и ловушек ставят физики на пути вторичных частиц, вылетающих из мишени ускорителя.

Кто впервые попадает в экспериментальный зал, в ужасе хватается за голову: какой хаос, какое невероятное нагромождение ящиков, трубок, магнитов и прочей аппаратуры! Но на самом деле в зале нет ни малейшего беспорядка — каждый счетчик и каждая камера стоят строго на нужном месте, через которое проходит траектория вылетающих из мишени частиц. Приборы терпеливо ждут, не попадет ли что-то интересное. Но улов бывает значительно беднее, чем на рыбалке.

Где-то рядом с нами, будто бы в порах пространства, прячется другой мир. Он отличается от нашего мира, хотя и подчиняется универсальным законам природы. «Тот» мир ничем себя не проявляет; притаившись, он молчит, пока не ударишь по нему с чудовищной силой. Чем? Стреляй хоть из самой мощной противотанковой пушки в закаленную стальную плиту так, чтобы металл разбрызгивался испаряющимися каплями, — спрятанный мир даже не почувствует, так далеко и прочно он задвинут в глубину пространства.

Пробудить его могут только ускорители, создающие разряды, в миллионы раз превосходящие по напряжению оружие Зевса — молнию. Поэтому, несмотря на огромную их стоимость, ускорители сооружают во многих странах мира. Регистрационные приборы, стоящие на пучке ускорителя, — окна в тайну материи. Таких окон в мире совсем немного. Значительная их часть находится здесь, в этом помещении. И десятки наших ребят глядят в них во все глаза своих дежурных инструментов.

Там, где сейчас возвышается большая пузырьковая камера, еще недавно стояли счетчики Сергея В. Мой университетский друг утверждал, что в природе должен наблюдаться распад такого типа, который никому еще не удавалось зарегистрировать. С трудом убедил он ученый совет дать ему на длительное время место на пучке ускорителя. А

потом два года не вылезал из лаборатории. И нашел-таки свой редкий распад! За это открытие ему присвоили степень доктора наук. Но за него же он заплатил своим семейным очагом — жена ушла от него и теперь живет далеко отсюда. Кто из них виноват в этом, судить трудно: В. не любит рассказывать о своих личных делах, тем более жаловаться на кого-то. Внешне он воспринял все спокойно, как-то даже иронически. Но, когда имеешь дело с физиком, никогда не торопись делать выводы. У физиков трудно понять, где правда, а где шутка.

Сергей вообще мало говорит: это его свойство хорошо всем известно. Поэтому большой неожиданностью было его недавнее выступление на общеинститутском семинаре, в котором он коснулся вопросов почти философских. Он сказал, что в физике делаются открытия двух родов: такие, которые улучшают положение науки, и такие, которые, наоборот, наносят ученым чувствительные удары. Первые — это, как правило, изобретения человеческого ума, организационные открытия, довольно хитроумные, но не всегда достаточно обоснованные теоретические построения. Вторые — неожиданные экспериментальные факты. И в последнее время открытия второго рода все больше и больше начинают превалировать над первыми. Поэтому в физике соотношение между известным и понятным меняется не в пользу последнего...

Но вернемся к воображаемой беседе современного физика с Демокритом. «Глубокоуважаемый коллега, сказал бы физик, нам удалось подтвердить существование предсказанных Вами неделимых частиц. Их открыто к сегодняшнему дню около полутора сотен. Это, конечно, больше, чем Вы могли предположить. Законы микромира оказались в основном совсем не похожими на те, которые действуют в мире привычных для нас больших вещей, и в открытии этой несхожести заключается один из важнейших результатов нашей науки.

Самое поразительное в поведении микрочастиц — их способность превращаться друг в друга, подобно тому, как куколка превращается в бабочку. Но это сравнение не вполне точно. Возникновение бабочки из куколки предопределено и неизбежно. Во взаимных же превращениях частиц в значительной степени господствует случай. Ученым трудно было привыкнуть к мысли, что в микроцарстве нет той строгой определенности поведения, которая свойственна падающему камню, движущемуся по эллипсу небесному телу, нагреваемой стальной болванке, что к элементарным частицам применимо лишь понятие вероятности того или иного акта. Оказалось, что для материи не обязательна строжайшая предопределенность всякого явления, каковую пропагандировал через две тысячи лет после Вас великий математик Лаплас, и что почти пророческой была ирония поэта Тютчева, который несколько позже писал:

«С горы скатившись, камень
лег в долине. —
Как он упал? Никто не знает
ныне —
Сорвался ль он с вершины
с а м собой,
Или низвергнут мыслящей
рукой?
Столетье за столетьем
пронеслося:
Никто еще не разрешил
вопроса!».

Теперь мы знаем, что по поводу некоторых событий микромира мы можем высказаться даже определенной Тютчева и утверждать, что их предысторию восстановить

принципиально невозможно, ибо, например, одна и та же частица могла возникнуть в результате и одного и другого процесса. Но это вовсе не приводит к невозможности предсказывать поведение больших тел. Дело в том, что если мы знаем вероятность тех или иных микропроцессов, то по так называемому закону больших чисел мы можем делать заключения о движении коллективов частиц с огромной долей определенности — почти наверняка. Так что нас смущает отнюдь не статистический характер законов природы, а кое-что другое. Мы готовы принять любую логику микроявлений, лишь бы эта логика имела внутреннюю ясность и простоту.

Почти не удивляет нас и то, что элементарные частицы могут превращаться друг в друга. Это такой факт, который в Ваше время нельзя было предугадать. В результате превращения одна частица исчезает, а на ее месте появляются несколько других. Но это совершенно не означает, что первоначальная частица состояла из вторичных — она ведь была элементарной, то есть не состояла из других. Внутри нее не были спрятаны продукты ее распада. Ничего подобного не наблюдается в нашем обиходе. Если мы видим, что из рукава фокусника вылетает голубь, то мы совершенно уверены: птица существовала и раньше и была где-то (скорее всего, в одежде фокусника) спрятана. Но элементарные частицы отказываются подчиняться такой «неопровержимой» аргументации.

Если бы мы попробовали навязать царству частиц свои представления о возможном и невозможном, то мы сразу же потерпели бы поражение на всех фронтах познания. Не фантазия или каприз, а суровая необходимость заставила нас зарубить на носу, что в чужой монастырь нельзя входить со своим уставом. Огромное количество фактов научило современных ученых относиться с достаточным почтением даже к тем особенностям материи, которые на первый взгляд кажутся совершенно дикими. Что же мы получили за свою терпимость?

Довольно много. Нельзя сказать, что элементарные частицы только тем и занимаются, что сбивают нас с толку и бросают вызов всем понятиям нашего здравого смысла. Даже те, кто называет царство микрочастиц безумным царством, признают, что в его безумии есть определенная система.

Основная точка опоры < физики такова: каждая частица способна превращаться не в любые другие, а в строго определенные, и притом при строго определенных условиях. Это означает, что существуют объективные законы превращений, которые и являются пока главным ключом к пониманию материи на ее предельно малых рубежах.

Кропотливо изучая взаимные превращения микрочастиц, ученые установили, что во всех случаях неизбежно выполняется закон сохранения энергии, который категорически запрещает неподвижной частице распасться на такие продукты, общая масса которых превосходила бы ее собственную массу. Если же совокупность дочерних частиц легче распадающейся, то разница масс вызовет стремительный разлет продуктов. Наконец, если две частицы сталкиваются и их скорости гасятся, то «исчезнувшая» энергия движения может овеществиться в рожденной на месте столкновения новой частице.

Но это не единственное правило, регулирующее превращения. Если указать наобум какую-нибудь тяжелую частицу и две значительно более легких, то распад первой на вторые скорее всего окажется невозможным, хотя закон сохранения энергии такому распаду не препятствует. Дело в том, что для превращения одних частиц в другие необходимо выполнение еще некоторых условий. Каждая из элементарных частиц обладает электрическим зарядом, который может быть равен нулю, плюс единице или минус единице, двум или минус двум. И мы выяснили, что в природе господствует также закон сохранения электрического заряда: суммарный электрический заряд любой системы частиц при всех превращениях остается постоянным.

Выполнение этих законов классической физики в царстве малых частиц означает, что есть нечто универсальное, распространяющееся на всю материю в целом. Но анализ поведения микрочастиц показал, что их взаимные превращения подчинены и некоторым

специфическим дополнительным закономерностям — несколько неожиданным, но совершенно четким.

Оказывается, что множество элементарных частиц разбивается на пять больших групп: мезоны, лептоны, антилептоны, барионы и антибарионы. Частицу света, называемую фотоном, по этой классификации удобно отнести к мезонам, хотя в других случаях ее выделяют особо.

Опять-таки не встречается никаких исключений из следующей закономерности: какие бы цепи превращений ни происходили с некоторой совокупностью частиц, разность между числом лептонов и антилептонов и между числом барионов и антибарионов всегда остается одной и той же. Если у нас имелось, например, десять лептонов, то какие бы столкновения частиц ни происходили, их или останется десять, или станет одиннадцать, но появится один антилептон, или станет двенадцать и возникнут два антилептона и т. д. Таким образом, можно сказать, что частицы каждой группы, кроме мезонов, снабжены некоей меткой — неуничтожимой, нестираемой и нейтрализуемой только «антиметкой» — меткой антигруппы. Группы и антигруппы построены совершенно симметрично, каждой частице соответствует своя античастица с такой же массой, но с противоположным электрическим зарядом. Античастицы есть почти у всех мезонов, но неуничтожаемых «меток группы» у мезонов нет, поэтому такие частицы могут рождаться в любом количестве, лишь бы это не противоречило законам сохранения энергии и заряда.

У фотона античастицы нет.

Симметричная структура микромира — факт волнующий и возбуждающий воображение. Очевидна эстетическая его сторона. Но, по-видимому, не меньшее значение имеет его глубокая научная сущность. Парность «жителей» микромира упорно предсказывал, начиная с 1928 года, английский физик Пол Дирак. При этом он руководствовался в основном интуицией. И интуиция не подвела! Уже в 1932 году был обнаружен антиэлектрон — позитрон, а в 1955 году дираковская симметрия перестала вызывать скепсис самых недоверчивых — был открыт антипротон.

Поскольку античастица противоположна частице по всем признакам, рождение родственной пары не противоречит никаким правилам — была бы только энергия. Но последнюю всегда можно добыть из движения, заставив столкнуться две достаточно быстрые частицы. При малой скорости движения этих частиц энергия невелика, и ее хватает на рождение лишь легкой пары. При огромной скорости столкновения могут возникнуть уже тяжелые пары. Протон почти в две тысячи раз тяжелее электрона, поэтому между двумя открытиями, о которых только что было сказано, прошло более двадцати лет — физики создавали ускорители, дающие достаточную энергию пучка.

Что происходит, когда частица встречается со своей античастицей? Их заряды и «метки» взаимно уничтожаются, поэтому конечным продуктом являются нейтральные во всех отношениях частицы — фотоны или нейтрино. В таком процессе вещество как бы полностью переходит в излучение. Это называется аннигиляцией.

Симметрия мира, установленная в лабораторных экспериментах, толкает нас на то, чтобы поставить захватывающий дух вопрос: а может ли случиться, что в каких-то областях вселенной сконцентрированы частицы, противоположные тем, которые составляют окружающее нас вещество? Если атомы наших элементов построены из протонов, нейтронов и электронов, то нельзя ли предположить, что в какой-то галактике вещество складывается из антипротонов, антинейтронов и позитронов?

Разрешить эту грандиозную по своему мировоззренческому значению проблему в самые ближайшие годы, вероятно, не удастся. Природа тщательно скрывает метку частиц, из которых построены небесные тела. Она позволяет этим телам излучать в основном фотоны, а по фотонам ничего сказать нельзя: они совпадают с антифотонами. Правда, в последнее время появились реальные надежды разоблачить те из галактик, которые окажутся антигалактиками. Помочь этому может частица, называемая нейтрино. Она не имеет электрического заряда, но принадлежит к лептонам, поэтому имеет пару — антинейтрино.

Если бы мы узнали, что приходит к нам от небесных объектов — нейтрино или антинейтрино, — основной вопрос космологии был бы решен. Но нейтрино (как, разумеется, и антинейтрино) очень трудно уловимо, и интереснейший эксперимент сможет быть осуществлен лишь тогда, когда мы сделаем свою лабораторную технику в миллионы раз более чувствительной.

Итак, закон сохранения энергии. Закон сохранения электрического заряда. Закон сохранения групповой метки. Симметрия микромира. Парность частиц. Итак, знание масс частиц, законов их превращений. И знание многого другого, о чем я не рассказал Вам, глубокоуважаемый коллега, за недостатком времени. Не достаточно ли всего этого для того, чтобы Вы признали: за прошедшие две тысячи лет в познании первоначал материи сделаны некоторые шаги вперед?

Впрочем, подождите отвечать. Вам я должен сказать все — как на исповеди. Я должен сознаться, что мы сами не удовлетворены своими знаниями. Ценой огромного труда и мучительных размышлений мы накопили ценнейший материал о микромире. И все же есть нечто важное, может быть, самое важное, чего мы не понимаем: почему элементарные частицы имеют именно такие «неправильные» массы и другие характеристики, и почему элементарных частиц так неестественно много?

Вот теперь судите нас, основатель атомизма, и ответьте, в хорошие ли руки попал факел Вашего великого открытия».

Странное место — научный городок. Такой же странный, наверное, как микромир, вызвавший его к жизни. По сути дела, это не городок, а настоящий город. По красивым мощеным улицам ходят люди — на первый взгляд обыкновенные прохожие.

Но каждый из них (каждый!) знает закон Ома. И другие законы: Кирхгофа, Ампера, Ламберта, Мозли — да мало ли чьи! И все, абсолютно все, озабочены, например, таким вопросом: есть ли кварки?

Если будете в этом городке, можете проделать эксперимент. Подойдите к любому взрослому прохожему и спросите его: есть ли кварки? Он не отшатнется от вас, как от зачумленного, не сделает большие глаза, не позовет милиционера.

Скорее всего он обыденным тоном ответит: «Я думаю, есть» — или «Я думаю, нету». Возможны и модификации: «Лучше бы, чтобы их не было», «Хотелось бы, чтобы они были» и т. д. В самом худшем случае прохожий многозначительно рассмеется: кварки, мол, — уже пройденный этап теории. Но даже этот скептик со вниманием следит за сообщениями о поисках кварков.

В мистической песне Джеймса Джойса слово «кварк» означало что-то вроде «карканья» или «кваканья». В работах Гелл-Манна, одного из ведущих физиков-теоретиков нашего времени, это слово стало синонимом праматерии. Кварк современной физики представляется некоторой аналогией тому, чем был атом древнегреческой натурфилософии. Если кварки существуют, значит, частицы, называемые сейчас элементарными, не элементарны, а состоят из кварков, которых может быть всего шесть — три «прямых» кварка и три антикварка.

Если кварки существуют, то их электрические заряды кратны не заряду электрона, а одной трети от него, а массы их в десятки раз превосходят массу протона. Гипотеза кварков с завидным изяществом объясняет очень многие наблюдаемые факты, в частности то, почему элементарные частицы именно таковы, как они есть. Правда, в этом объяснении остается один досадный пробел: оно не охватывает лептонов. Это в глазах многих физиков сильно подрывает авторитет кварков. Но что касается мезонов и барионов, называемых вместе адронами, то для их «обоснования» кварки очень удобны.

Демокрит в свое время говорил, что мир устроен так, как если бы атомы были. Теперь некоторые ученые утверждают, что мир устроен так, как если бы существовали кварки. Но, может быть, физики найдут и еще какую-то праматерию, объясняющую все элементарные частицы, а не только адроны. Трудность заключается в том, что эту праматерию нужно

найти «на кончике пера», как Лавуазье нашел планету Нептун, ибо она не хочет себя проявлять непосредственно. Впрочем, невозможно предсказать, что сделает огромный коллективный разум, заполнивший целый город, что изобретут знающие множество законов остроумные люди. Ясно одно: в воздухе пахнет грозой и скоро проскочит какая-то искра. Пусть будет гром, пусть что-то рухнет и что-то сгорит — искра осветит все то, что сейчас мнится, угадывается, но не хочет показаться полностью.

Слишком много накопилось всяких «почти». Групповая метка есть почти у всех частиц, кроме мезонов. Античастицы есть почти у всех частиц, кроме некоторых мезонов и фотона. Кварки объясняют почти все, кроме лептонов. Каждое теоретическое построение описывает с большой точностью очень многие явления микромира, но ни одно из них не описывает всего микромира. Подходя к величественному зданию материи с разных сторон, физики видят разные пропорции, восхищаются этими пропорциями и хотят распространить понравившуюся им картину на всю постройку в целом. Но суть проблемы состоит в том, чтобы из множества плоских проекций составить в своем воображении объемное, стереометрическое представление.

В воздухе пахнет грозой. Физиков постоянно раздражают явные закономерности таблицы частиц, которые не удается пока соединить в одно целое, но не удается и не замечать. Такое положение и вдохновляет и приводит в отчаяние. Оно создает у ученых необычайно сильное эмоциональное напряжение, которое, не находя разрядки, буквально изматывает. Исследователей постоянно преследует кошмарное чувство, будто природа упорно хочет сказать им что-то колоссально важное, но они никак не могут понять ее язык.

Перед тем как начать говорить, ребенок мучается своей немотой, он мычит, сердится, его распирает от избытка невысказанной информации.

И вдруг уста его разверзаются, и он изливает все вздохом — много и счастливо. Кризис молчания разрешается человеческой речью.

Природа не ребенок. Она старше и мудрее нас. И кризис заключается не в ее немоте, а в нашей глухоте. Но есть все признаки того, что кризис этот дошел до кульминационной точки. Дальше так продолжаться не может. Мы должны схватить что-то совсем небольшое, какой-то один штрих, и вся картина материи обретет неожиданную ясность и гармонию.

«Как же мы могли не замечать этого раньше!» — воскликнем мы, жадно слушая ставший понятным рассказ материи о первоначалах вещей...

Из окна лаборатории, в которой работает Сергей, видна широкая река. Она еще скрыта подо льдом, но на ту сторону уже никто не переходит: боятся. В любой момент может начаться ледоход. В такие дни особенно тянет смотреть и смотреть на покрытую жухлым снегом коварную поверхность реки. И Сергей подчинился этому странному инстинкту. Долго он глядел в окно молча, потом сказал мне:

— Когда-то на эту реку пришли наши предки. Для них все здесь было ново. Но они освоились. Потом на них обрушились татаро-монголы, и это тоже было впервые. Но они научились вести с Ордой дипломатические переговоры, а когда пришло время — и бить Орду. А потом многое еще было впервые — например, революция. И всему мы научились, хотя спрашивать совета было не у кого. И вот на берегу этой реки построен целый город физиков. Мы бьемся над разгадкой микромира: то подходим к нему с осторожностью и терпением, то трясем его за душу. Все это делаем мы тоже впервые, и никто в мире не может нам подсказать правильных путей. Так неужели мы не научимся понимать поведение частиц, если такие же, как мы, люди научились когда-то всему, что делали впервые?

Я с нескрываемым интересом смотрел на друга. Никогда я не слышал от него таких патетических слов.

— А как ты сам отвечаешь на этот свой вопрос? — спросил я.

— Научимся, — убежденно сказал Сергей.

Я вскочил со стула, изображая крайнее негодование.

— Так что же ты болтал на семинаре в таком случае? Рисовался? Ты ведь утверждал, что физика все больше и больше запутывается и все мы идем в тупик!

— Я и сейчас это утверждаю, — ответил Сергей.

В одном я согласен с киносценаристами: физики — народ ехидный. Никогда не поймешь, когда они говорят серьезно, а когда шутят, а если шутят, то над кем — над собой или над вами!

СРЕДИ КНИГ

*

История знает автора одной книги и одной песни, одной картины и одной скульптуры, но бывает еще, когда писатель или поэт через всю жизнь пронесет одну тему, она не только определяет его творчество, она как бы делает его своим летописцем. Так вышло и у А. Безыменского, навсегда революцией, комсомолом «мобилизованного и призванного».

Что бы ни писал Александр Ильич, он остается комсомольским поэтом. Поэтому он один из самых популярных авторов среди молодежи. Его стихи воспитывают, но разве не должен быть примером для подрастающего поколения поэтов и сам факт такой работы над стихом, бесконечные поиски точной краски из своей поэтической палитры: «Трагедийная ночь» (изд-во «Советский писатель») — поэма, которую А. Безыменский писал почти тридцать лет.

Поэма о «годе борьбы у Днепровской плотины» переросла в поэму о характере советского человека; посвященная одному событию, она стала частицей летописи нашего времени.

«Июнь — октябрь, 1930. Кичкас, Днепропетровск» — этими словами, которые сейчас тоже воспринимаются, как свидетельство горячего дыхания времени, подтвердил автор свою принадлежность к строителям первых пятилеток, но прошло немало лет и «связь времен» заставила А. Безыменского вновь взяться за перо, дополнить и в чем-то продолжить поэму.

Поэму о времени, близком нашим отцам и волнующе - интересном для нас, молодых.

Л. СТОРОЖАКОВА

*

Недавно к нашим читателям вновь пришел «Дневник Кости Рябцева» (изд-во «Художественная литература») — книга почти забытая. Чем же она будет интересна сегодняшнему молодому читателю, для которого и двадцатые годы и тогдашняя школа с Дальтон-планом и пионерскими «форпостами» — история, можно сказать, уже далекая и не всегда понятная? Прежде всего своим героем — Костей Рябцевым.

Н. Огневу (Михаилу Григорьевичу Розанову), автору «Дневника», удалось не совсем обычное чудо: он сумел написать книгу о подростке. Не о себе самом — сам-то писатель родился в 1888 году, печататься начал еще до революции, — не о своем детстве и отрочестве. Книга Н. Огнева — искренняя, без малейшей фальши, подлинная исповедь ровесника революции. Он очень серьезен, Костя: свои еще детские поступки, свое отношение и к взрослым и к школьным товарищам он определяет революцией, классовым сознанием. «Я спросил у девчат ее социальное происхождение и узнал, что она дочь наборщика. Жалко, что она не буржуйка, а то бы я ей показал». Он, как и всякий мальчишка в его возрасте, еще очень наивен, многие его поступки вызывают снисходительную улыбку взрослых. Но вот для ребят это дела вполне серьезные: и взаимоотношения с учителями и товарищами и «вечные вопросы» о любви и дружбе.

Кстати сказать, Костя вовсе не пай-мальчик из хрестоматии. Жизнь с ее интимной стороны он познает довольно рано, и это обстоятельство и «непричесанные» мысли Кости вызвали в свое время много нареканий: как можно писать о таком, это же неприлично! Недаром сам Костя колеблется, стоит ли идти на откровенный разговор с любимым педагогом: «Неловко как-то. Скажет: «Объясняли вам на естественной, а вам все мало?» Да и не могу же я ему рассказывать все г о».

Действительно, неловко, но ведь неловко и оставлять без ответа вопросы, которые жизнь все равно поставит перед каждым мальчишкой и девчонкой. И в этом отношении книга Н. Огнева — чуть ли не единственная у нас — окажется, будем надеяться, полезной и юному читателю и его воспитателям.

В. НОТКИН

*

Эта книга сначала удивляет тебя, а потом радует чистотой тона. Ее нельзя «глотать» по строчке, по страничке где-нибудь на крикливых платформах или троллейбусных остановках, как нельзя насладиться музыкой из транзистора в сырых, весенних лесах твоей юности.

После книги «Звено» Станислав Куняев довольно долго молчал как поэт, но молчание это было незаметным, потому что в читательских и литературных кругах привыкли к тому, что он активно и талантливо работает в области перевода.

И вдруг — «Метель заходит в город» (изд-во «Советский писатель»), духовная, пластичная, цельная книга.

Откуда все эти напевные анапесты, задушевная тревога и постоянная напряженность мысли под внешней расслабленностью и рассеянным скольжением взгляда по реальным граням любимой жизни, ее деревьям, равнинным рекам, дорогим лицам, редким журавлиным стаям и медленным облакам?

Первоисточник всего этого — сам Станислав Куняев, его слова, его характер, его привязанности и пристрастия. Не тот молодой Куняев, которого увлекала резкая точность формулы («добро должно быть с кулаками»), а тот, который умеет щадить «беззащитную странность», тот Куняев, у которого в стихах главенствует мысль, увлеченная чувством, или чувство, окрыленное мыслью:

Живем мы недолго, —
давайте любить
и радовать дружбой
друг друга.
Нам незачем больше
сердца холодить,
и так уж за окнами
вьюга.
Давайте друг другу
долги возвращать,
щадить беззащитную
странность,
давайте спокойной
душою прощать
талантливость и
бесталанность.
Ведь каждый
когда-нибудь в небо
глядел,

валялся в больничных
палатах.
Что делать? Земля —
наш прекрасный удел,
ищи среди пас
виноватых.
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

*

Книга И. Виноградова «В ответе у времени» (изд-во «Советский писатель») посвящена исследованию «деревенского» очерка 50-х годов и принадлежит перу критика. Читается она с интересом. Рассказ о проблемах, поставленных и разрешаемых В. Овечкиным, Г. Трое польским, В. Тендряковым, Е. Дорошем, строится так, что постепенно открывается глубокая и продуманная точка зрения самого автора на эти проблемы. По своему заданию и жанру работа И. Виноградова скорее не критика, а социологическое исследование, оперирующее фактами литературы как данными жизни, как свидетельствами статистики.

Я не ставлю задачей вводить читателя в круг многих вопросов, волнующих автора. Довольно сказать, что они на самой стремнине важнейших наших общественных интересов. Замечу только, что одна из характерных, главных примет этого труда — в умении проследить и установить «эквиваленты» для явлений социальной психологии, морали и экономики. Закономерности здесь обнаруживаются очень ярко, когда автор рассуждает, например, о «чувстве хозяина» у крестьянина: «Это не какая-то тощая психологическая абстракция, и возникновение этого чувства — вполне конкретная, экономическая прежде всего, проблема. Чувство не возникает на пустом месте, и чтобы ощущать себя хозяином своего колхоза, артельного добра, нужно им быть... Вот она, разгадка немощи отстающих колхозов...»

Деятельность партии после мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 года, замечает автор далее, как раз и направлена на то, чтобы энергично стимулировать «личный» интерес колхозника к общеартельному делу.

«Смысл». «программность», «проблемность» — вот что занимает И. Виноградова в очерках «деревенщиков» - пятидесятников. Не следует, правда, забывать о том, что только художественность (как и научность) гарантирует объективность всякого «смысла» и всякой «программности». Автор не ставил перед собой задачи говорить об очерке как художественном произведении. Тем не менее он не раз высказывает свои особые симпатии к пластическому таланту Е. До роша, умеет показать, как художественная недостаточность в иных вещах «деревенщиков» сплетается с несовершенством определенных их «выводов». Более подробное исследование на эту тему, надо надеяться, еще предстоит, равно как предстоит еще развиваться нашему очерку. А пока что И. Виноградову удалось сделать чрезвычайно важное дело: показать, что публицистическое наследие «деревенщиков» есть серьезный вклад в развитие нашей общественной мысли.

Л. АНТОПОЛЬСКИЙ

*

У каждого времени есть свои неповторимые минуты, мысли и судьбы. Когда смотришь полузабытые журналы, роешься в старых газетах, к тебе приходит особое ощущение истории. Все, о чем ты слышал раньше, фактически знал, превращается в частицу твоего собственного душевного мира.

Так бывает, когда вчитываешься в страницы воспоминаний, и они оживают перед тобой.

Л. Кудреватых («Мои современники», изд-во «Советский писатель») глубоко и тонко владеет жанром литературного портрета, поэтому оживают, как бы на пленке человеческой памяти, интереснейшие люди — Валерий Чкалов, Демьян Бедный, Иван Кожедуб...

Видишь их не только в работе, но и дома, с друзьями, нороче говоря, без всякого «хрестоматийного глянца» знакомишься с героями нашего, советского времени, о которых нам часто рассказывали отцы.

Глубокая заинтересованность, теплота и литературное мастерство делают воспоминания Л. Кудреватых не только документом эпохи, но и художественным произведением.

Л. ТОМИНА

*

Знаете ли вы, что среди неандертальцев 55% умерло, не дожив до двадцатипятилетнего возраста, и что только 5% могли бы справить сорокалетний юбилей, если бы такие даты в то время отмечались людьми?

...Известно ли вам, что уже древние египтяне разработали рациональную «методику» этапов больших сооружений: возведение пирамид они начинали с создания «рабочих поселков»?

...А могли бы вы предполагать, что почти все основные виды современных знаков были известны уже в неолите, то есть примерно в пятом-четвертом тысячелетиях до нашей эры?

Вот такими самыми разнообразными, с различных точек зрения любопытными, увлекательными, поучительными фактами и сведениями насыщена книга А. С. Амальрика и А. Л. Монгайта «В поисках исчезнувших цивилизаций» (изд-во «Наука»), насыщена до предела, но не чрезмерно; факты всегда связаны здесь с мыслью, они наталкивают на полезные размышления, подводят к важным выводам. Книга о далеком прошлом, об археологии современна, обращена к сегодняшнему читателю.

То, к чему люди привыкли, на что они сейчас вовсе не обращают уже внимания, археология освещает неожиданным светом. И мы получаем возможность лучше понять, что буквально все в жизни давалось человечеству не вдруг, не сразу, а постепенно, трудом и преодолением разнообразнейших препятствий, что История (с большой буквы!) запечатлевается не в одних лишь битвах и законах, но и в вещах, вроде бы самых простых и примелькавшихся.

Археология гигантски расширила сумму наших знаний о прошлом, она углубила и углубляет горизонт интересов современного человека. Она учит уважать трудовой опыт, культуру, нравственное наследство поколений, живших задолго до нас. Без такого уважения нет и движения вперед, нет прогресса.

Множество загадок уже разгадано археологией. Но о многих других она, как всякая истинная наука, честно говорит: «Этого мы еще не знаем».

Мы еще не знаем, например, точного назначения рабочего рубила первобытного человека... До сих пор неясно, когда и где был впервые использован металл... По-прежнему хранит свои тайны древнейшая пиктографическая письменность Индии... Словом, мир человеческого прошлого так же неисчерпаем для науки, как и мир природы. В ненавязчивом, «подспудном» доказательстве того, что всякая, даже самая точная наука указывает лишь «степень неточности» наших знаний, существующих на данный момент, в проходящей сквозь весь рассказ мысли о том, что дорога научных поисков бесконечна, я вижу серьезное нравственное, воспитательное, особенно для молодого читателя, значение этой книги.

Ю. СУРОВЦЕВ

Василий Аксенов

ПРОСТАК В МИРЕ ДЖАЗА, ИЛИ БАЛЛАДА О ТРИДЦАТИ БЕГЕМОТАХ

Первого из тридцати бегемотов я увидел еще в аэропорту Внуково. Он был в зеленой брезентовой попоне, и его несли к самолету два смуглых внушительных молодых человека.

Через полтора часа бегемот вместе с нами выгрузился из «ТУ-124» на прохладном Таллинском аэродроме, по которому быстро пробежали тени легких балтийских туч.

Я влез в микроавтобус, где уже сидели молодые люди из Московской кинохроники со своей аппаратурой. Потом в открытых дверцах появился бегемот. Бакинский квартет во главе с Рафиком Бабаевым хлопотал вокруг него. Наконец устроились. Бегемот лежал у нас на коленях, смиренный и смущенный своей неуклюжестью, очень милый, и басист Альберт Ходжа-Багиров, посмотрев на своего питомца, хмыкнул и развел руками: уж вы, мол, не обижайтесь на мое чудовище.

В течение четырех дней тридцать лакированных бегемотов, си речь контрабасов, гудели и рокотали в доме «Братства черноголовых» и в спорт-халле «Калев».

Итак, я снова в Таллине, снова вдыхаю его особый сланцево-кондитерский запах, покупаю газеты, которые пахнут совсем не так, как в наших краях, захожу в знакомое кафе, пробираюсь к стойке...

— Здравствуйте, Эва Ивановна! Какие новости?

Эва Ивановна долго рассказывает, кто женился, кто развелся, кто получил квартиру, а кто по-прежнему «очень неорганизованный товарищ».

Однажды ночью, гуляя по Старому городу, мы спорили, кто самая красивая женщина в Таллине. Претенденток было немало, и спор затянулся. Небо было синим, глубоким, с еле различимой тонкой зеленой структурой. Улица Виру завершалась уходящим в небо торцом Ратуши. Мы подняли головы и прекратили спор.

— Самая красивая женщина в Таллине — это Башня Ратуши.

Да-а, в городе многое изменилось. Например, мой давно уже оплаканный герой из романа «Пора, мой друг, пора» Кянукук вовсе не погиб. Очень хорошо одетый, с застывшей улыбкой, он медленно гуляет в кулуарах. На груди у него жетон с надписью: «Диспетчер фестиваля». Бегло говорит на трех языках — русском, эстонском и английском. Растут люди!

Нина Большакова не верит, что это и есть Кянукук. А вы поговорите, Нина, с товарищем. Поговорила. Да, теперь я вижу, что это он и есть. Ну, уж а улицу-то Лабораториум вы придумали, говорит усомнившаяся Нина. А вот, давайте, Нина, прогуляемся! Да, говорит Нина, действительно улица Лабораториум. Вот ведь город какой: ничего не надо придумывать, все под рукой. Какое, раздолье для беллетриста!

На башни улицы Лабораториум реставраторы навели новенькие островерхие крыши. Новенькая розовая черепица на темных, засиженных голубыми камнях.

На углу улиц Пикк и Ратаскае ву открылась закусовая «Десять минут», в которой можно подзакусить минут за двадцать.

Семь лет назад я влюбился в Таллин, был бурный роман в дождях, теперь я ловлю себя на какой-то странной фамильярности по отношению к этому городу, шучу вот, ухмыляюсь: годы...

Теперь я аккредитован. На воротнике у меня желтый значок с изображением трубы, клавиши которой напоминают башни улицы Лабораториум, а также ленточка с надписью «Пресса». Я аккредитован при Пресс-центре традиционного Таллинского джаз-фестиваля, посвященного пятидесятилетию Октябрьской революции. Благостно чувство аккредитованное™, ощущение солидности и прочности, принадлежности и тэ пэ.

ИНФОРМАЦИЯ. В этом году на фестиваль приехало тридцать джазовых ансамблей. Здесь среди прочих — знаменитый Ленинградский диксиленд Королева — Усыскина, Ленинградский ансамбль пантомимы Григория Гуревича с аккомпанирующей группой Юрия Вихарева; квартет Евгения Малышева из Калининна, квартет «Медикус» из Львова; москвичи — квартет «Кресчендо», квартет КМ, трио Германа Лукьянова, биг-бэнд Олега Лундстрема, трио Бориса Рычкова; ансамбль молодых ученых из Новосибирска под управлением Владимира Виттиха, четверо солдат из Риги — квартет «Звездочка», таллинское трио Райво Таммика, тбилиское трио Мустафа-Заде; мастаки оружейники-самоварщики из древней Тулы — квартет Анатолия Кролла; знаменитые варшавяне — квартет Збигнева Намысловского; застенчивые шведы из Гевле — квинтет Курта Иернберга, элегантные шведы из Стокгольма — септет Арне Домнеруса; развеселые финны — квартет Эрика Линдстрема и, наконец, всемирно известные американцы — квартет Чарльза Ллойда...

Тридцать ансамблей с тридцатью лакированными бегемотами. Больше никакими цифрами я не располагаю. Знаю только, что съехалось множество фотографов, корреспондентов, наших и иностранных, радио, кино, телевидение, и великое множество любителей и знатоков джаза, среди которых был даже известный комментатор Уиллис Коновер, голос которого уже в течение двенадцати лет заставляет вздрагивать джазменов всего мира.

Да, вот еще цифра: спортзал «Калев» вмещает четыре тысячи зрителей, и все четыре дня фестиваля он был полон.

Звучат вступительные фанфары. Председатель жюри Уно Найсоо объявляет фестиваль открытым. На сцене букет Ленинградского диксиленда. Впереди трубач Королев, кларнетист Усыскин, тромбонист Левин. Из-за них выглядывает рыжий банджист Ершов, над ними покачивается сузафон Мирошниченко, где-то в глубине запрятан ударник Скрыпник.

ИИИ — раз-два-три---повело!

Ах, знаете ли вы, как прекрасен диксиленд, веселое пыхтение первых на земле автомобилей, белозубый гигант, вращающий тросточку, белый в синюю полоску пиджак, сиреневые брюки, Свит-стрит, забитая приплясывающими чернокожими людьми, стрекозиный полет фанерных аэропланов, мультипликационное движение смешных человечков начала века?!

— Айскрим, вы не забыли, как вкусно мороженое, как освежает стакан холодного пива, как очаровательны женщины юга? Жизнь так проста, пестра и прекрасна, и чего вы еще от нее хотите?

Четыре тысячи улыбок взлетают над залом, восемь тысяч ног отбивают такт. Поразительно перевоплощение шести интеллигентных ленинградских мальчиков в неудержимых луизианцев.

Из-под локтя Мирошниченко выскакивает маленький и бравый, как оловянный солдатик, трубач Королев...

Сегодня утром по дороге из Пресс-центра в «Палас» я потерял предмет своей гордости — желтый значок с трубой и ленточку прессы. Чувство оставлен ности, кянукуковщина охватили меня. Кто я теперь такой в мире джаза? Теперь от моей аккредитованности осталась только дырка на воротнике: я просто голый человек на голой земле. Ведь было же тебе сказано, олух царя небесного: береги значок, второго не дадим.

Пошатываясь, я побрел назад от «Паласа» к «Дому черноголовых». Не знаю уж на что рассчитывая, глядя под ноги, я прошел улицу Харью, вышел на Ратушную площадь и посередине ее среди множества мотоциклов и машин увидел на брусчатке свой заветный значок с ленточкой.

И вот теперь я сижу вместе с музыкантами, рядом с Сашей Медведевым, который, конечно, не взял бы меня с собой, не найди я значка, знакомлюсь с пианистом Борисом Рычковым, с певицей Гюли Чохели, которую называют «советской Эллой», с саксофонистом Игорем Лундстремом, с бородачом-теоретиком Алешей Баташевым, пантомимисткой Ниной Большаковой... пытаюсь втереться в доверие, прикинуться знатоком.

На эстраде трио флюгельгорниста Германа Лукьянова. О Лукьянове сейчас много говорят. Он является предметом споров. Некоторые считают его «Вознесенским русского джаза». Может быть, скорее Хлебников? Фольклорный джаз? Фри-джаз? Сочетание того и другого? Может быть, еще какой-нибудь термин? Терминологический соблазн понятен, но не так-то легко втиснуть талант в какую-либо классификацию.

Пока что исполняется оригинальная композиция «Третий день лета». И это, конечно, именно третий день лета, не второй и не четвертый. Первые два дня прошли с жарой и ливнями, наступил третий день, очень ветреный, в легком, порывистом кружении облаков и назойливого тополиного пуха, тот день, когда некто в синем костюме, внешне спокойный, в неясном смятении, прошел по поселку, заглядывая на веранды, кого-то разыскивая, не находя, продолжая поиски, удивляясь, пока не побежал с набитым ветром ртом, и день кончился.

Позднее, уже на Московском джазовом фестивале, Лукьянов вновь исполнил эту пьесу, и оказалось, что она называется не «Третий день лета», а «Третий день ветер». Я просто тогда в Таллине не расслышал названия и вот попал впросак, нафантазировал литературщины.

Что такое джаз?

Еще в школе мы узнали: это музыка толстых. В «Калеве» среди четырех тысяч зрителей тоже попадались толстые люди. Одному очень хорошему писателю не нравился джаз. Другому, великому писателю, не нравился Шекспир. Третий, хороший писатель, сам играл в джазе басистом.

В 1952 году ныне знаменитому пианисту Борису Рычкову понадобился саксофон. Игра на саксофоне в то время считалась хулиганством. В продаже саксофонов не было. Однажды уже потерявший надежду Борис шел по одному из арбатских переулков и ВДРУ услышал крамольные звуки. В бельэтаже среди антикварного хлама старик чех осторожно играл польку-бабочку. С огромным удовольствием и за малую цену старик уступил саксофон счастливому Борису.

Тульский квартет Анатолия Кролла играет трехчастную композицию своего руководителя. Первая часть — «Откровение», вторая — «Баллада», третья — «Движение». Впереди худощавый, с маленькой бородкой тенор-саксофонист Александр Пищиков. Его инструмент издает резкие, хриплые, мучительные звуки. Манера Колтрейна? Да, манера Колтрейна, но откровение Пищикова.

По сути дела, любую джазовую пьесу в исполнении настоящего артиста можно назвать откровением.

Конец квадрата .Пищиков "из- мучен. Отходит в сторону, с сочувствием смотрит на вступившего Кролла.

Очередь басиста Сергея Мартынова. Мартынов сначала как бы прислушивается к тому, что творится внутри его контрабаса. Так, так, это понятно, а что же еще, что ты еще

можешь?????? Еще, еще, еще!!!!!! Больше, больше, больше!!!!!! А если смычком? Ну, еще, еще, больше, умоляю, умоляю... Ему всего мало, и он начинает петь, вторит контрабасу голосом.

Пищиков, склонив голову, с сочувствием смотрит на мучающегося товарища.

Вся ритм-секция приходит на помощь Мартынову. Обвал, шквал, надвигающийся распад... решительный момент. Пищиков быстро выходит вперед.

От диксиленда к какому-то еще не осознанному трагизму.

Итак, откровение. Самовыражение? Свободный творческий акт? Прорыв? Может быть, только попытка прорыва.

Дважды два — четыре, дважды два — четыре, дважды два — четыре, дважды два...

А может быть, три, а может быть, пять, а может быть, восемь, а может быть, один миллион сто семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять?

А может быть, автомобильная катастрофа, в которой погиб мой друг, а может быть, деревня под напалмом, а может быть, грязное слово в лицо моей девушке, а может быть, предательство?

А может быть, эвкалипты под луной, а может быть, охота, а может быть, веселая пирушка, а может быть, лестница в небо? А может быть, «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя»? А может быть, хищник, а может быть, жертва, а может быть, Эверест?

А может быть, лоб, два лба, семь губ, одно дыхание? А может быть, кашалот с розовой пастью, а может быть, Орфей? А может быть, бобэоби, виээми, гзигзигзео, а может быть, лауноги, пиннопи нео, филиожар? А может быть, лог дром бра затеял, ушел, . почему-то кол тол та в м е ш ж ф й у п ь к ё я э у ц с го ?

Нет, нет, все очень просто: дважды два — четыре.

1 Квадрат — определенное количество тактов, в пределах которых музыкант может импровизировать на заданную тему.

А вдруг -все-таки не четыре,- а генерал под ручку с дамой перед трюмо?

Увы, дважды два — четыре, дважды два — четыре, дважды два — ЧЕТЫРЕ!
Таыешнгбжэ...

Утром мы мирно завтракали в кафе, как все нормальные люди, брали сосиску, бутерброд с килькой, чай, но после завтрака мы отправлялись на «школу джаза».

Должен сказать, что джазист — существо совершенно неутомимое, одержимое. Джазовый артист может играть круглые сутки подряд с небольшими перерывами для приема пищи. Вот у кого надо учиться преданности своему искусству! Если у вас вдруг появится желание уморить какого-нибудь джазового артиста, кормите его на убой, хольте его, лелейте, но не давайте играть: зачахнет. Чарльз Ллойд, например, которому пришлось играть только в последний день фестиваля, первые три дня очень маялся. В зеленоватых его глазах мерцала вековая негритянская печаль. Зато, когда вышел на эстраду, узнать его было нельзя. Да и все они, эти странные артисты, пока не играют, так что-то ходят, что-то между прочим жуют, вежливо слушают. «Да, что вы говорите! Смотрите, как интересно! Надо же, а мы и не знали!» А глаза в это время где-то блуждают.

Однажды мы обедали вместе с Гюли Чохели, и она призналась:

— Терпеть я не могу всех этих обедов, ужинов, завтраков!

— А что же вы любите, Гюли?

— Петь.

— А еще что?

— Кактусы.

«Школа джаза» в сводчатых залах «Дома черноголовых». Эстрадой завладели фотографы. Лежа на полу, сидя на корточках, стоя на стульях, они направляют свои тубусы на квартет Збигнева Намыс ловского, работающий в невероятной тесноте. В зале тоже тесно: он заполнен до отказа ударниками, басистами, саксофонистами, трубачами, кларнетистами, москвичами, шведами, сибиряками, эстонцами, литовцами, армянами, финнами...

Хрупкий, с круглыми совиными глазами Намысловский солирует уже двадцать минут. У рояля сгорбился похожий на князя Мышкина Адам Матышкович. Крепко держит ритм ударник Чеслав Бартковский по прозвищу «Маленький», Блестит очками серьезный, как молодой профессор, басист Роман Дылонг — «Гучьо».

Намысловскому тесно в рамках квадрата. Он изгибается, на лице его мучение, он словно хочет что-то соскрести, содрать, сорвать какой-то последний ненавистный ему покров.

Снова это ощущение попытки прорыва, мучительной тяги к какому-то неведомому совершенству.

Я беседую с кандидатом математических наук, а может быть, физических наук, словом, каких-то очень серьезных наук Владимиром Виттихом, руководителем Новосибирского ансамбля.

— Скажи, пожалуйста, что ты думаешь об эксперименте в джазе, о фри-джазе, например? Вот я не могу слушать Орнетта Кол мена...

Виттих ухмыляется в бороду.

— А для меня это очень интересно...

Услышав этот разговор, возле нас остановился темпераментный, словоохотливый пианист Николай Капустин.

— Понимаешь ли, Вася, когда-то и «бибоп» казался диким и невероятным, а теперь, должно быть, даже ты... прости, может быть, я ошибаюсь...

Я смущенно кашляю, в кулак.

— Да-да, даже я... Конечно, эксперимент необходим, но вряд ли он доступен простому любителю, немусыканту...

— Эксперимент всегда обращен внутрь — ив литературе, и в пластике, и в музыке.

— Джаз для джазистов? Поэзия для поэтов? Скульптура для скульпторов? Вы могли бы играть в темной, пустой комнате?

— Это философский вопрос, об этом на ходу не скажешь. Темная, пустая комната — это идеал, но артисту джаза нужны слушатели и зрители.

— А если они его не понимают?

— Но он их зовет...

Прошлой осенью мы сидели с моим приятелем Абэ Кобо в подвальчике токийского джаз-клуба «Сэто». Подняв свой крепкий писательский палец, Абэ Кобо сказал:

— Писатель должен есть много джаза, часто и много, большие сочные ломти настоящего джаза!

Каждое утро с десяти до часа я толкался на «школе джаза», притворялся музыкантом — то ударником, то трубачом, — обнаглел даже до того, что начал задавать специальные вопросы, ну, скажем:

— Алло, Бу, у вас какой номер мундштука?

Кончает композицию стокгольмский квартет Яна Йоханссона. Любезный хозяин «школы» Райво Таммик пытается перекричать восторженный гвалт и свист:

— Ребята, задавайте вопросы!

— Какие еще вопросы? — снисходительно пожимает плечами восходящая звезда саксофонист Роман Кунсман. — Мы и сами все знаем. Пусть лучше еще раз сыграют.

Однако вопросы все-таки задаются:

— Алло, Бу, у вас какой номер мунштука?

И вот в этой утренней толкучке я снова теряю свой спасательный значочек, и снова чувство одиночества и непричастности охватывает меня. Представляю, с каким презрением отвернется от меня музыковед Александр Медведев и все мои новые знакомые, включая Нину Большакову. В отчаянии подхожу к трубачам, собравшимся вокруг рыжего Бу Бро берга, плетусь к ударникам, столпившимся вокруг Бартковского, и тут вижу на полу моего дорогого с сиреневой ленточкой. Как его не раздавили сапоги ударников? Мистика, да и только!

Форум джаза. Разгорались страсти. Высказываются самые разные точки зрения, Бушуют авангардисты.

— Товарищи, не будем себя обманывать. Мы называем наши темы «Жар-птица», «Иван-царевич» и делаем вид, что создаем свой особый, национальный, ни на что не похожий джаз. Это фикция!

— Основа джаза — импровизация, а ее не назовешь никак, ей не нужна никакая литература. Джаз — это интернациональное искусство.

— Извините, товарищ, ваша формула — подобие кастрации. Все мастера обогащали джаз за счет фольклора. Вспомните «бос са-нову», вспомните арабские темы. Русский фольклор пока еще только тронут нами, а какие уже дал результаты! «Господин Великий Новгород» Товмасына, «Ночь на Плещеевом озере» Громина, «Иванушка-дурачок» Лукьянова...

В начале пятидесятых годов в Казани обосновался оркестр репатриантов из Шанхая, известный сейчас всем оркестр Олега Лунд стрема, «короля свинга восточных стран», как его называли в шанхайском сеттльменте. Я тогда учился на первом курсе медицинского института, был прилежным студентом и на танцы не ходил, так как не мог освоить сложнейших падепатинеров, вальс-гавотов и миньонов, которые танцевала в те времена передовая молодежь. Но вот по городу пошли слухи о таинственных, сказочно-романтических «шанхайцах»...

Форум джаза. Ораторствует элегантный теоретик средних лет.

— ...почему преобладает драматизм, почему возникает какой-то надрыв, вымороченный трагизм, меланхолия? Мы забываем о том, что джаз — это прежде всего веселое, озорное искусство. А разве мы не можем играть насмешливый, иронический джаз? Возьмите «ЧП» Бориса Фрумкина или композиции виброфониста Гарина — это блестящие озорные пьесы...

Встает ленинградец с маленькой бородкой а-ля Телониус Монк, столь модной сейчас среди джазистов.

— Вот мы говорим о том, можно ли играть русский джаз. Фольклор вовсе не обязателен для того, чтобы играть по-русски. Просто нужно быть русским в душе, глубоко чувствовать дух России, и тогда будет русский джаз. Вы спрашиваете, почему драматизм, надрыв, меланхолия? Потому что русский джаз идет от Достоевского.

Оркестр «шанхайцев» тогда распадался. Да и разве можно было себе представить существование настоящего свингового оркестра в те годы, когда даже танго кодировалось наименованием «танец медленного темпа»! Лундстремовцы группами играли на танцах в Доме офицера, в кинотеатрах и ресторанах, а мы ходили их слушать, потому что они иногда играли не только падепатинеры. Вся моя юность была слегка озарена этими «шанхайцами», как огнями далекого ночного мира.

— А где сейчас Модин, Деринг, Бондарь, Баранович? — спрашиваю я Олега Леонидовича.

— Этот там-то, этот там-то, — отвечает он, — а Баранович умер.

— Как?

— Очень просто. Жора Баранович умер.

Ну что ж, он умер, и сейчас его нет на сцене, но я и мои товарищи никогда не забудем, как он вставал в синем табачном тумане дрянного ресторанчика, розовощекий и здоровый, и играл «Сан-луи блюз» на своей золотой трубе.

Форум джаза. Выступает московский композитор.

— ...и я должен прямо сказать, товарищи, некоторые наши молодые музыканты еще не умеют как следует играть блюз, а уже тянутся в авангард...

Голос из зала:

— Так что же, прикажете мне возвращаться назад к Чарли Паркеру? Этого не будет!

— А вы откуда, товарищ авангардист?

— Я из Тюмени!

Однажды, кажется, единственный раз за все мои казанские студенческие годы, они собрались вместе, и ослепительные каскады, обвалы свинга потрясли тогда юношеское воображение. Появились подражатели. Кажется, в пятьдесят втором году при Доме ученых возник молодежный оркестр, в котором играли будущий астроном саксофонист Эрик Дибай, будущий математик пианист Юрий Яковлев, будущий педагог басист Юрий Елкин... Их называли «малые шанхайцы». Разумеется, исполнялись в основном танцевальные вещи, но по тогдашним временам и это было чудом. Приезжие москвичи хватались за головы: в Казани существовал джаз!

И вот сейчас оркестр Олега Лундстрема на сцене Таллинского джаз-фестиваля: девятнадцать человек в шикарных концертных костюмах с буквами ОЛ на груди. Из прежних, чуть ли не легендарных «шанхайцев» в оркестре осталось всего пять человек. Рядом с ними, уже тронутыми сединой, сидит молодежь: Роман Кунсман, Николай Капустин, Станислав Григорьев, Аркадий Шабашов... Исполняется композиция Кунсмана «Луч тьмы». Это очень неожиданное, своеобразное произведение, но еще более неожидан солирующий сейчас автор, маленький краснотупый человек с бородкой таинственного лесовика. Он еще себя покажет!

Олег Леонидович сейчас седоват, солиден, но для меня он по-прежнему остался тем же таинственным и молодым «шанхайцем».

О, если бы ты знал, Абэ, сколько я за эти четыре дня съел джаза! Каждое утро три часа «школы», каждый вечер четырехчасовые концерты, заключительный ночной «джем сейшн», а впереди еще был Московский фестиваль. Как бы не получилось демьяновой ухи.

Иногда мне кажется, что я сплю. Вот сейчас открою глаза, а на сцене некто с косым пузом лупит кулаком по пюпитрам.

— Опять развели шумовую музыку?! Геть отсюда!

Оркестр сменяет оркестр, и среди них нет двух похожих. Добродушный гигант Борис Рынков за роялем становится лириком. Зал, уже привыкший к хриплым колт рейновским воплям саксофонов и труб, привыкший кричать и свистеть, тихо слушает его блистательные импровизации на тему «Ой, туманы мои растуманы», на тему Диззи Гиллеспи, на собственные темы.

К трио Рычкова присоединяется вокалистка Гюли Чохели, которая любит пение и кактусы. Сдержанная страсть «Грузинского романса» Н. Дугашвили, затем неистовость сложнейшей партии «Мистер Паганини» композитора Сэма Козлова.

Неожиданный шумный успех хабаровского квинтета, Уиллис Коно вер даже разводит руками: «Ну-с, батеньки, вот уж не ожидал, что и в Хабаровске у вас есть такой джаз».

Ленинградский ансамбль пантомимы: Григорий Гуревич, Нинель Егельская, Надежда Пугачева, Нина Большакова, Георгий Гоц. Аккомпанирующая группа пианиста Вихарева.

Это зрелище совсем уж неожиданное — не балет и не пантомима в чистом виде. Движения человеческого тела становятся символом звуков. То координированные, то разрозненные движения трех тоненьких женских фигур — зеленой, лиловой и черной и двух атлетических мужских фигур — белой и синей, синхронная импровизация тела и инструмента рождает какое-то неясное, тревожное, щемящее чувство.

Наконец, на эстраде Чарльз Ллойд — квартет, негр и три мулата. Ллойд, высокий, невероятно, до условности, тонкий, с огромной шапкой курчавых волос, делающей его больше похожим на индуса, чем на негра. Саксофон его рыдает, хохочет, визжит, умоляет, требует, издевается, тело его изгибается, дергается, подпрыгивает, и это, конечно, не эпатаж и не игра на публику, это какое-то уже запредельное самовыражение, когда отпускаются все тормоза, сдираются все покровы: смотрите, вот я каков!

Кончается двадцатиминутное соло. Ллойд, согнувшись, даже не пытаясь вытереть пот, прячется в глубине сцены, смущенно блестит оттуда золотыми очками.

Ритм-секция бросается в атаку, словно дикая кавалерия. Пианист — настоящий виртуоз, но клавиш ему мало, он играет прямо на струнах рояля, бьет в бубен. Ударник разбрасывает медные колокольчики, скребет щетками. Снова надвигается распад, развал, но Ллойд подбегает к микрофону, высоко закинув голову, вздергивает узду, усмиряет, — и вдруг становится мягким, лиричным, покаянно-нежным...

Они играют час пять минут и покидают эстраду совершенно измочаленные, под неистовый шквал аплодисментов.

На улице их окружают американские корреспонденты. Эй-Би-Си с квадратной голливудской челюстью: «Что вы чувствуете сейчас?» Ллойд, тяжело дыша: «Хэ пинис. Счастье.»

Кончается фестиваль. Уже отшумел заключительный банкет, на котором лауреатам вручали дипломы. Остался позади «джем сейшн», во время которого на сцене одновременно скапливалось от десяти до двадцати музыкантов. Разлетаются самолеты, уходят поезда. Ранним-ранним утром исчез из города Ленинградский ансамбль пантомимы.

На Выйду-вяляк ко мне подходит здоровенный парень.

— Я вижу, вы джазист, — говорит он, кивая на мой значок. — Махнемся значками. Я вам свой, боксерский, а вы мне свой, джазовый.

— Нет, никогда, — твердо говорю я.

— Понимаешь, я ведь боксер... Рука его тяжело давит мое плечо.

— Все равно не отдам, хоть убей, — говорю я.

Парень вдруг улыбается.

— Ну, гуляй.

Вхожу в гостиницу, поднимаюсь по лестнице. В холле третьего этажа на диване сидит белобрысый тромбонист, разговаривает со своим тромбоном, грозит ему пальцем в раструб.

— Ты думаешь, я не... А я тебе скажу, что ты... Больно много о себе воображаешь!.. Тоже мне тип!..

Стою у окна. Дождь. По мокрой улице к агентству Аэрофлота проносят смиренных зачехленных бегемотов.

Я снова хочу в страну джаза.

Май 1967. Таллин.

ТЕАТР

Игорь Золотусекий

ПОЭТ И ТЕАТР

Тесный зал покачивало с боку на бок, как корабль в непогоду. Опоздавших пускали с черного хода: двери парадного были намертво задрены. Гардеробщицы ворчали: «И чего это вы?»

В зале стояли. Темный выем его, не дыша, вглядывался в сцену, на черном заднике которой белела трагически удлинённая, искажённая не то болью, не то смехом Маска. Сцену круто разрезала поднятая на мостки парабола. Черное и белое. Белая Маска, белая парабола на черном фоне, и актеры в черном и белом: черные джемперы, черные брюки и юбки, белые рубашки. Только свет играет на огромной Маске, и она то мертво синее, то вспыхивает жарко-алым, то бледно и недвижно белеет, и из впадин ее глаз стекают не слезы, а кровь...

...Стихи А. Вознесенского. Спектакль называется «Парабола». Режиссер Р. Гринберг. Художник Э. Неизвестный. Играют артисты Ивановского народного молодежного театра драмы и комедии.

И играют отлично! Я впервые вижу их. Я и не знал раньше, что есть такой театр — театр умный, талантливый, театр, стоящий того, что он ставит.

Только сейчас я понял: Вознесенского надо играть. Это поэт сцены, поэт, пишущий для актера. Вознесенский, прочитанный наедине, «не тот» Вознесенский. Он спрятан в строке, как огонь в спичке. Спичка должна чиркнуть о коробок — Вознесенскому нужно столкновение.

Ему нужно действие, сценическое пространство — и люди на нем. Ему надо, чтоб они сошлись в ударных местах его стиха — и вспыхнул огонь.

«Разыгранный» Вознесенский не только оживший Вознесенский. Это и Вознесенский, ставший понятным. Неясное становится ясным, он раскрывается, как код, к которому подобрали ключ.

Я не знаю, кто составлял монтаж, но «Парабола» точно названа спектаклем-исповедью. Это точно и по отношению к Вознесенскому и по отношению к стихам, из которых смонтирован текст.

Это не серия чтений, не концертные номера — это организм, из которого не вырвать ни куска. Это исповедь одного человека, разыгранная в лицах.

Стихи соединены ловко и умно: они просятся одно за другим, они напрашиваются. Их соседство противоестественно неизбежно, они и притягивают и отталкивают друг друга.

После «Лобной баллады» следует «Елка», после «Итальянского гаража» — «Римские праздники», а «Неустроенный диалог» взрывается «Свадьбой». И Маска смотрит на все это, то смеясь, то плача.

Монтаж завершается «Озой», где синтезирован «весь» Вознесенский. «Оза» смешивает исповедь с проповедью, вакхического Вознесенского с уязвленным — Вознесенским, чувствующим, что его «ахиллесово сердце» подвешено на тонкой нити.

Актеры не только играют. Они понимают своего автора. Их интонации, ударения расставлены без ошибки, их жесты совпадают с ритмом. Они думают, играя, и это тут же передается в зал, который не всхлопывает где попало, а взрывается только на мысли, на высшей точке мысли.

Намеки, иносказания, ирония Вознесенского — все выходит из текста, но выходит вовремя, без преувеличения, без насилия. Ирония не торчит, как острие, как преднамеренность.

Прекрасно разыграна «Оза». Очень хороши «Лобная баллада», «Биостанция», «Школьное», «Монолог Мерлин Монро». И неожидан «Реквием», посвященный Э. Неизвестному. Этот, как мне казалось, не лучший стих Вознесенского стал вровень с лучшими. Его поняли!

Режиссер понял в этом спектакле поэта. Именно эти две силы, соединившись, дали целое в «Параболе». Именно их взаимопонимание решило дело.

Музыка хороша. Она партнер текста. Сопровождение на фортепьяно — то грустное, то бравурное, то пародирующее марионеточное, как в немых фильмах М. Линдера, — нигде не диссонирует с игрой.

А играют искренне, свободно, не картинно, не театрально. Актеры молоды и играют близкое себе. И я чувствую: им приятно это играть.

Смутили меня мелочи.

Первое: актеры неожиданно превращаются в гимнастов. Они переодеваются в черное трико и подпрыгивают на сцене. Нелепо это и в «Лобной балладе» и в следующей за ней «Елке». Неужто Вознесенский плох в цивильном? Неужто отвлечения его нуждаются в этом цирке?

Прыжки в трико под текст «Озы» смешны.

Второе: символы в «Монологе Мерлин Монро». Символические «глаза» и «уши», «носы», «ступни» и «головы» напоминают детский маскарад у елки — и это не страшно, а комично. Актеры прыгают, неловко пятятся и похожи на детских «волков» и «зайцев».

Вот и все.

ДЕБЮТЫ

Жанна Владимировская:

«Мера бескомпромиссности»

В мае, накануне отъезда на гастроли, Московский драматический театр имени Станиславского выпустил новый спектакль. Главную роль в трагедии Жана Ануя «Медея» сыграла Жанна Владимировская.

Я встретила с Жанной после генеральной репетиции.

— Жанна, как представляете вы свою Медею? Медея в традиционном понимании — жертва страстей, трагически виновная, и традиционный конфликт весь основан как бы на качании весов: виновна или подлежит оправданию? Медея в трагедии Ануя — нечто совсем иное, не правда ли?

— Да, если привычная трактовка образа Медеи сводит его — впрочем, упрощая Еврипида, — к мотиву ревности и оскорбленного достоинства, то у Ануя речь вообще не о том. Его пьеса, как, пожалуй, и вся его драматургия, посвящена проблеме, самой центральной для человека нашего времени: проблеме выбора места в жизни, проблеме «да» и «нет», «принять или не принять», — и Медея в противоположность ненавистному ей «отродью Авеля, отродью праведных, отродью богатых», в противоположность бездумному и примиренному «да» говорит решительное «нет» успокоенности, всеприматию жизни без страданий. В Медее поразительный накал страстей мысли — можно так сказать: «страсть мысли»? — потребность постигать и постичь, хотя бы трагическим путем, путем, который ведет к гибели. Не поступки Медеи, а мера ее страданий становится укором всем оставшимся жить. Поэтому здесь не может быть вопроса об «оправдании» или «виновности». В этой трагедии заключена, по-моему, та эмоциональность, которая крайней рассудочности и упорядоченности XX века противопоставляет не «страсть в ключья», а очищенный, светлый трагизм. Концентрировать противоречия и доводить их до гармонии — это как раз то важное свойство драматургии Ануя, которое делает его для меня очень близким, «моим» драматургом. Если бы я могла поговорить с Ануем, я спросила бы его, знает ли он Пушкина, знает ли он гениальную строку: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»? Роль Медеи и сама пьеса дороги для меня еще тем, что они требуют от нас, от всех участников спектакля, той же меры самоотдачи, самосгорания, бескомпромиссности, какая есть в трагедии и в трагическом характере Медеи. .

— Жанна, это ваш первый сезон и первая большая роль в театре. Не расскажете ли вы немного о том, что этому предшествовало?

— Прежде, когда я еще училась в Киевском политехническом институте, я играла там в студенческом театре. Потом я поступила на актерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. В институте мне повезло: была возможность много работать со студентами режиссерского факультета. Благодаря этому я переиграла массу ролей в отрывках. Конечно, самым большим событием Для меня была роль Вассы Железновой, которую я сыграла прошлой весной в выпускном спектакле. Мне кажется, что, занимаясь в творческом вузе, самое главное — это не стать ученицей, не лишиться потребности творить. Вместо того чтобы учить работать, у нас иногда упорно внушают мысль о том, как трудно творить, поселяя страх перед творчеством, а творчество должно быть радостью.

— Я хочу задать, наверно, банальный, но от этого не менее важный вопрос: каковы ваши образцы в актерском искусстве, в творчестве?

— Самое главное в актере и, вероятно, во всяком художнике — это умение и жажда отдавать. В Ленинграде я всегда восхищалась Сергеем Юрским, который кажется мне высочайшим образцом отношения к искусству всерьез. Дело в том, что фикция, особенно в наше время, в искусстве невозможна, и понятие большого актера обязательно соединяется с понятием большой личности. Таковы для меня величайшие трагические актрисы нашего времени — Мария Казарес, Аспасия Папатаnasiу, Джульетта Мази на. В число таких актрис, конечно, входит и Эдит Пи аф. Такой же пример способности раскрываться, не щадить себя — Марина Цветаева, вечер стихов которой я хотела бы когда-нибудь подготовить.

— А чего еще хотели бы вы и в этом прекрасном «когда-нибудь» и в более конкретных планах?

— Если более конкретно, то я прежде всего очень довольна, что попала после института в театр Станиславского: я стремилась сюда, хотела работать у Бориса Александровича Львова-Анохина. Я очень хотела бы теперь сыграть какую-нибудь трагикомическую роль типа Шарлотты в «Вишневом саде». Вообще мне хочется играть разное: с одной стороны, что-нибудь глубоко психологическое, с другой же — граничащее с эксцентрической пантомимой. А вообще больше всего на сцене мне нравится молчать. В детстве я мечтала о сцене, потому что мне казалось, что на сцене можно летать. А теперь мне нравится молчать. Я хотела бы сыграть глубокую и выразительную роль, где было бы мало текста.

Жанна молчит, потом, поколебавшись, добавляет:

— А больше всего я мечтала бы дойти до такого уровня, чтобы читать — вслух — Пушкина. Но это почти недостижимо.

Интервью взяла Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ.

Николай Кузьменко:

«Почему обо мне?»

Мы встретились в «преисподней» химического факультета МГУ. Иначе и не назовешь пронизанный десятками труб подвал под цокольным этажом. Только здесь, под землей, на специальном фундаменте, могут нормально работать особо чувствительные установки и приборы, для которых даже легкая вибрация равнозначна ташкентскому землетрясению.

Я говорю моему собеседнику, что вот, дескать, хочу написать о нем для «Юности», для раздела «Дебюты». Он вежливо выслушивает, согласно кивая головой, и спрашивает:

— Почему обо мне?

К этому вопросу я готов.

— Вашу фамилию мне назвали в Научно-студенческом совете. Называли и другие: Виктор Топольев, Наташа Чеснокова, Михаил Конь, Владимир Беренцвейг, Михаил Проценко. О каждом говорили одинаково уважительно, так что на вашей кандидатуре я остановился в какой-то степени случайно.

Но второй вопрос был как раз тот, которого я в душе несколько побаивался.

— А что такое дебют применительно к науке? Должен признаться, что полной ясности по этому поводу у меня не было ни в тот момент, когда я получал редакционное задание, ни, пожалуй, теперь. Боюсь, что не было единого мнения на сей счет и у моих коллег.

В самом деле, скажем, у актеров все очень четко. Такой-то (или такая-то) такого-то числа такого-то года впервые исполнил (исполнила) партию Ленского (Одетты-Одиллии). А в науке?

Прежде всего на ум приходит: открытие! Однако здравствует много крупных ученых, внесших немалый вклад в свою отрасль знания, но никаких открытий с патентной точки зрения не сделавших!

Тогда, может быть, считать за дебют какой-то чисто формальный акт признания — скажем, защиту диссертации или выход первой статьи? (Это называется первым трудом.) *

Тоже не годится. Присуждение ученой степени, к сожалению, не всегда венчает подлинно творческий успех. А статья обычно (особенно если принадлежит перу молодого) выходит через много времени после фактического завершения исследования.

Короче говоря, в редакции состоялся небольшой спор. Никто не возражал против того, чтобы написать о хорошей научной работе, выполненной студентом. Но многие сомневались, что ее можно подвести под рубрику «Дебюты». Все же решили попробовать!

И вот я в МГУ, на химфаке. Беседу с пятикурсником и пытаюсь по дурной привычке некоторых журналистов найти в нем что-то особенное. Не получается. К тому же дебютант несколько смущен. Он недвусмысленно дает понять, что наше внимание к его особе по крайней мере преждевременно.

— Учился хорошо, — все же рассказывает он, — почти все экзамены сдавал на пятерки, в университете так учатся тысячи. Интересовался всеми предметами в равной степени — значит, ни одним в особенности. Почему? Потому что я студент. У меня слишком много обязанностей и возможностей. Я должен слушать лекции, посещать семинары, сдавать экзамены и зачеты, делать лабораторные работы по учебному плану. Какая из этого вихря дисциплин та самая, единственная, невозможно распознать сразу.

Студент имеет право работать в любой лаборатории по собственному выбору и вкусу, но вкуса ни к чему у него как раз и нет, и, значит, выбор формальный. Обычно идут не туда, где может раскрыться призвание, а где, скажем, работает интересный преподаватель. Слишком часто потом наступает разочарование. Дело, интересное для влюбленного в него человека, не может захватить равнодушного.

— Я сменил четыре лаборатории, — продолжает мой собеседник, — пока наконец не попал в ту, где меня по-настоящему захватило. Только тогда, уже на четвертом курсе, я понял, что такое подлинное удовлетворение и как беспечно я обворовывал самого себя раньше.

— В конце концов рано или поздно все определяются...

— Плохо, что слишком многие слишком поздно. Выходят из университета, имея самое смутное представление о том, что их ожидает. Квалифицированные химики, конечно, нужны всюду. Это утешает. Но ведь нужно чего-то хотеть и самому!

Наш дебютант — Николай Кузьменко — решил «осесть» в лаборатории молекулярной спектроскопии. Он долго боялся идти сюда: думал, что не потянет.

Молекулярная спектроскопия в МГУ — это научная школа профессора Владимира Михайловича Татевского. У этой школы добрая известность. Сюда не заходят просто так. Сюда приходят работать только очень серьезно.

Руководители Николая — старший научный сотрудник Юрий Яковлевич Кузяков и аспирантка Людмила Алексеевна Кузнецова, — не мудрствуя лукаво, отнеслись к своему крестнику по-деловому в буквальном смысле этого слова: они приняли студента в настоящее дело, которым занимались и сами. И разбудили в школяре не то чтобы интерес к науке (химией он интересовался всегда, иначе не поступал бы в университет), но и сознательную любовь.

Давно подмечено, что двенадцатилетние мальчишки способны долгими часами и месяцами мастерить транзисторные приемники, и те же самые мальчишки с тоской еле высиживают сорок пять минут урока труда, где занимаются куда более простой работой: изготовлением ручек для молотков. Потому что прекрасно знают: эти молотки решительно никому не нужны, а приемник рано или поздно начинает совершенно восхитительно трещать и ворчать.

В лаборатории, куда пришел Николай, занимаются спектроскопией двухатомных молекул. Конкретнее — спектроскопией галогенидов четвертой группы. Эти соединения в природе не существуют, но они образуются при некоторых высокотемпературных реакциях (порядка нескольких тысяч градусов). И очень важно знать термодинамические свойства этих соединений и не только для удовлетворения чисто научной любознательности, но и для совершенно конкретной инженерной практики.

Эти исследования ведутся с помощью новейших спектрографов, обладающих высокой разрешающей способностью. А это уже не ручки для молотков вытачивать, или, в переводе на масштаб студента МГУ, не очередную «лабораторку» сдать. Это настоящая работа, включенная в настоящий план.

Кузьменко проработал в лаборатории год. И как следует, не для пятерки. В качестве полноправного члена небольшого научного коллектива он провел спектральное исследование бромида кремния. Это уже собственное, пусть не громко, но своим голосом произнесенное слово. Которому есть цена.

...Если очень нужно, я могу привязать эту заметку к рубрике «Дебюты» и по формальному признаку: 24 апреля на факультете проходила научно-студенческая конференция. И весьма компетентное жюри удостоило работу Николая Кузьменко (в числе нескольких других, в том числе — это важно — не только пятикурсных) премии.

Но не нужно, по-моему, абсолютизировать эту дату и этот факт. Исследовать бромид кремния в конце концов мог и кто-нибудь другой. Что действительно важно: Николай Кузьменко приходит в химию химиком, а не просто человеком, окончившим химфак.

Может быть, такой приход и следует считать дебютом в науке?

Теодор ГЛАДКОВ

P. S. Я совсем забыл, что сейчас очень модно, когда пишешь о людях науки, подчеркивать многообразие их интересов. Поэтому спешу сообщить, пока не кончилась страница, что в лаборатории молекулярной спектроскопии, кроме спектрографа, я видел на рабочем месте Николая Кузьменко портрет Есенина, томик Грина и шахматные часы. Настоящий джентльменский набор для репортера. Но я убежден, что позволить себе так называемое многообразие интересов может только однолюб.

НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

Иван Купцов

ПАЛИТРА ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ

Существует мнение, что художник создает мир заново по законам прекрасного. Его фантазия оживает в мечтаниях зрителя. Творчество одного получает поддержку в

сотворчестве другого. А иные полагают, что искусство лишь транспортирует в неизменном виде земную красоту, а зрителю остается только выразить свои восторги.

Пожалуй, обе точки зрения могла бы сблизить мысль, что переживания человека тогда близки окружающим, когда они сами полны волнения и не утратили еще способности изменяться, не закоснели. В искусстве, в живописи существующее и возможное взаимосвязаны. В этой связи — и секрет, и обаяние, и таинство, и прелесть образа. Чем сложнее и естественнее она, тем дольше мы стоим у полотен Рембрандта и Александра Иванова, Врубеля и Матисса. И, приходя в музей опять, находим нечто новое и в картине и в себе.

Когда молодые художники начинают творчество, то давние истины, как бы впервые, неповторимо обнаруживаются. По-разному ощущают жизнь москвичи Н. Благоволин, М. Смирнов, ленинградец Б. Власов (выставка работ которых была недавно организована в редакции «Юности»), но в их искусстве совпадает анализ увиденного, наблюденного и новое создание мира по законам прекрасного. И мне передается беспокойство их душ, умение чувствовать гармонию не как застывшие нотные знаки, а как звучащую мелодию.

Пейзажи Смирнова романтичны и эмоциональны. Их колорит воздушен и нежен в моментах тишины и раздолья природы, насыщен и весом в ее яростных, напряженных состояниях. Так, мелодия русской песни таит в своем широком половодье возможности для необычайного подъема страстей, которые при этом не испепеляются, не исчезают, а вновь уходят в глубь величавых и протяжных звуков.

В пейзажах «Под вечер», «Синяя сказка», «Лирика», «Бурный день» художник ищет свой путь, продолжая богатейшие традиции иптимпой, романтической живописи-исповеди, начатой еще Саврасовым, Левитаном, Нестеровым, продолженной всеми последующими поколениями наших пейзажистов от Рыло ва до Щипицына.

В красках Смирнова есть и настроение и размышление. Но от этого «психологизма» они не утрачивают декоративности. Именно через явственную, «широкую» гармонию цветов, через их звонкие созвучия и передается одухотворенность природы, внутренне насыщенный, богатый мир человеческой личности.

На последних выставках можно было заметить несколько пристрастий, группирующих вокруг себя, будем надеяться, вдумчивых и серьезных приверженцев. Одни молодые художники стремятся использовать традиции лубка, народного «примитива», не чураясь и его сегодняшних примеров. Другие стараются выразить в пантеистических образах разумность и красоту природы, величие человека, нашедшего гармонию с ней. Как и Смирнов, Благоволин близок ко второй тенденции. Но его своеобразие в том, что художник довольно конкретно, даже буднично воспринимает пантеизм. Его герои — доподлинные земные люди, рыбаки. Возможно, кто-то подметит близость стиля Благоволина к работам литовских гравюров или вспомнит стародавние примеры национальной традиции, но искренность и напевность, с которыми художник воссоздает своих героев, обращают на себя внимание. Таковы линогравюры «Астраханская рыбачка», «Первенец», «Мать и невеста», «Поцелуй4», «Невесты и женихи».

В большой линогравюре «Петр Первый» Благоволин использует приемы иконописи, размещая вокруг главного персонажа сцены-эпизоды его «жития». Но хотелось бы отметить, что ставшее уже модным обращение к древней русской живописи само по себе не приносит результатов, способных удовлетворить профессиональный, взыскательный вкус. Однообразие рисунка, ритмов, скудность линейной выразительности снижают впечатление от работы.

Более техничны линогравюры Благоволина, навеянные мотивами эпоса гражданской войны. «Атака», «После боя» — вещи, достойные быть иллюстрациями к песням той поры.

С ленинградцем Б. Власовым мне как-то пришлось бродить по переулкам Арбата. В Москве художник сажился на пароход, чтобы совершить поездку по Оке, Волге, Каспийскому морю в творческой группе акварелистов. Наши художественные симпатии сошлись, и мне было поэтому особенно интересно сравнить свои прошлогодние впечатления

от плавания по Енисею с работами Власова, бывшего там той же осенью. Я еще раз убедился, что искусство способно, говоря, казалось бы, о давно и хорошо известном, открыть для тебя мир заново, поэтически. Но для этого надо почувствовать сложную, то напряженную, то серебристо-светлую форму цветных и черно-белых вещей Власова. Он прежде всего рисовальщик, мастер пространственных решений. Характер линий в его рисунке, соответствия между предметами выразительны, а цвет не повторяет палитру природы, а моделирует ее. Таковы и «Туру ханск», и «Дом и мотоцикл», и «Кухня», «Столик», «Женщина у окна».

В рисунках «Девушки-геологи», «Пляж», «Двое с гитарой», «Обнаженная» едва ли уже не сам характер прикосновения угля к листу бумаги передает благородное, возвышенное, и не музейное, а живое, «уличное» чувство художника.

Власовский портрет девушки представился мне красивым более по внешности, нежели по художественной сути. Его палевые, белесые краски, пожалуй, слишком анемичны и вычурны.

Жаль, что ленинградец — отличный книжный график — недостаточно представлен в иллюстрациях. Впрочем, его рисунки к прозе А. Битова отчасти искупают этот недочет экспозиции.

Изображение, чтобы судить о нем в полную меру, необходимо, конечно, видеть. Но зрительство требует подготовки и определенных усилий воображения и интеллекта. Работы трех художников располагают к этому, и мне хотелось бы, чтобы читатель «понял» их.

Поэт А. Аронов писал недавно в газетной статье, как девочка, прочтя в строчке стихов два слова — «умный» и «озорной», — решила, что стихи и сами по себе умные и озорные. «Значит, — продолжил свою мысль Аронов, — если поэт употребил слово «доброта» — его стихи добрые, если «высота» — высокие, а если «мужество» — мужественные... для читателя очень важно научиться отличать декларацию, название от присутствия качества: стихи только говорят о доброте или они сами добрые...»

Мне кажется, что работы Благоволина, Смирнова, и Власова обладают присутствием качества.

СПОРТ

Анна Дмитриева

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КОРТ

У пятикратной чемпионки страны по теннису Анны Дмитриевой был хороший повод, чтобы оставить спорт, — рождение ребенка. Но...

О том, как и почему она вернулась на корт, Анна Дмитриева и рассказывает в своих записках.

«Не пора ли бросить?» Я часто думала об этом, быть может, слишком часто в последнее время. Успех пришел ко мне рано, и давно победы мои на соревнованиях в стране перестали удивлять и тренеров и любителей тенниса, да и мне они не приносили уже прежнего удовлетворения. Наверное, потому, что мечтала я о большем. А там, на турнирах заграничных, с большим трудом мне доставались лишь маленькие победы, а больших так и не было. Сначала от меня их ждали, потом уже требовали, я волновалась, мне казалось, что делаю все, что могу.

Проиграв подачу, я уже чувствовала себя виноватой. Комплекс вины нарастал от турнира к турниру, и мне казалось, что я хожу по болоту, завязую и уже не могу выбраться. Приехав в Лондон или Париж, я спешила узнать результаты жеребьевки и радовалась, если вторая игра была, допустим, со Смит. Естественно, что первой ракетке мира я могла проиграть, и это не вызвало бы нареканий. Конечно, плохо почти сразу играть со Смит, но

мною владели совсем другие заботы: значит, надо пройти только первый круг, и дело сделано...

И вот я могу уйти: есть убедительная отговорка. И не надо никому объяснять, что азарт пропал, что «появилось болото»... Надо только найти такое каждодневное дело, которое бы занимало тебя целиком, не оставляло времени даже вспоминать о теннисе, вспоминать о чистом звуке мяча и как ты подлаживаешься под этот чистый, нестертый звук и, наконец, кидаешь крученую свечку и слышишь, что свечка дотянута...

Но когда в марте прошлого года мне разрешили играть, в тот же день я была на площадке. Вначале я говорила себе, что просто хочу потренироваться немного, хочу немного восстановить форму, а выступать никогда больше не буду — тренируюсь так, для себя. Физически я себя чувствовала, может быть, неважно, но игра шла, будто и не было перерыва. А вокруг ходят люди и говорят: «Ну, ничего, ничего, играй, может, на следующий год в каких-нибудь соревнованиях и выступишь». Со стороны было видно, что я и двигаюсь медленно и вообще разучилась играть, мне же казалось, что я могу все как прежде. Такое несоответствие!

В мае я тренировалась уже два раза в неделю, подумывала, что в конце сезона, может быть, попробую выступить. Я заканчивала в то время свой университетский диплом, в июне диплом защитила и уже всерьез «заболела» теннисом. Я поняла, что играть для себя, бесцельно не умею. Значит, надо играть по такому счету, как привыкла. И поняла, что, если оставлю теннис, мне всегда будет не хватать тех волнений, эмоций, которые получаешь, играя в соревнованиях. Это как у актеров.

И тут появился Андреев, мой прежний тренер. Он спросил, когда я смогу участвовать в соревнованиях. Я сказала, что в августе в Московском международном турнире. Он удивился. Ему любопытно стало, как это я смогу за месяц войти в форму.

Я видела, как он сдерживался, чтобы не сказать на первой же тренировке, что я совсем не могу играть. За неделю до турнира он стал мне проигрывать, чтобы немного подбодрить меня. А затем дал мне контрольные встречи. Я выиграла их с трудом, скорее всего случайно. Но у меня появилось хорошее настроение. Знала, что от меня ничего не ждут, но мне казалось, что я сыграю. Я нисколько не волновалась перед турниром, наоборот, ко всему относилась с иронией. Как бы со стороны слушала эти предварительные объявления, что Анна Дмитриева опять играет...

Турнир начался, и я выигрываю и в первый день, и во второй, и в третий. Правда, у датчанки Бал линг я выигрываю еле-еле, но потом была Ермолова, француженка Террас... Я брала азартом, который пропал было за последние годы. Я добывала победы, утверждала себя, как в ту пору, когда только начинала играть. Я опять начинала. Для зрителей мое возвращение было в порядке вещей: все возвращаются, — но я-то лишь месяц назад решила вернуться, и поэтому каждый раз, выходя на корт, я смотрела на себя со стороны, в душе подсмеиваясь над собой.

Но, может быть, потому, что я смотрела на себя со стороны, у меня была холодная голова. Я старалась думать перед каждым мячом, анализировала. Я знала, что сил у меня мало, и сэкономила их, как могла, играла в самый «выигрышный» теннис, не рискуя, где не надо, но в то же время рискуя, ибо иначе опять же не хватит сил. Играла точно по счету и каждый мяч принимала, как последнее очко. Я дошла до полуфинала и встретилась с Тегарт (одна из сильнейших вслед за Смит теннисисток Австралии), которой до этого дважды проигрывала на Уимблдонском турнире. Впрочем, там же, на Уимблдоне, несколько лет назад мы выиграла в паре с Тегарт бронзовые медали. И теперь, приехав в Москву и узнав, что я тоже участвую в турнире, Тегарт решила меня поддержать и взяла в пару. Перед каждой игрой она настраивала меня: дескать, я все возьму на себя, ты не волнуйся!.. И тут, когда я вышла играть против нее, Тегарт дружески похлопала меня по плечу. Она уверенно шла на выигрыш и повела в первой партии 5:2...

Не помню, когда наступил перелом, но, по-видимому, именно при этом критическом счете игра постепенно стала переходить ко мне. Тегарт не сразу это почувствовала; внешне

она по-прежнему нападала, я защищалась; но вот она как будто чуть-чуть не дошла до сетки, но это была моя «вина», я чуть-чуть раньше ответила; вот она сильно ударила и сочла мяч выигранным, а я, предугадав ее замысел, уже ждала мяч там, где следует, и обвела ее; то свечка пролетела над ее головой всего в нескольких сантиметрах и попала точно в линию... Все началось с этого «чуть-чуть». Вдохновленная успехом, зрителями, увлеченная игрой, я находилась в таком нервном возбуждении, которое помогает действовать на корте почти интуитивно, но почти всегда верно. Не важно, нападала я или защищалась, я всегда чувствовала, что нить игры полностью в моих руках, и радость от сознания собственной силы еще больше подбадривала меня. Я вышла в финал.

В финале я проиграла англичанке Хейдон-Джонс, четвертой ракетке мира по классификации 1966 года.

Она стабильный игрок, никогда не ошибается, на медленных земляных кортах достает почти любой мяч. Ее можно переиграть мастерством, но прошлым летом у меня был лишь азарт...

После Московского турнира мне стало ясно, что я не могу расстаться с теннисом. И у меня появилась достаточно конкретная цель. Будучи десятой, пятой или даже второй, я могу и не встретиться со Смит, Буэно и другими сильнейшими теннисистками мира. А мне надо было встретиться с ними, чтобы начать все сначала. Но за время моего отсутствия первой ракеткой страны стала Галина Бакшеева, которая играет красиво, талантливо, опасно играет, и вариантов у нее много.

Вскоре после международного турнира я поехала на первенство страны. Я говорила, что хочу лишь выйти в финал, но, честно признаться, надеялась, хотя и без всяких к тому оснований, на большее... Я проиграла уже в четвертьфинале Абжандадзе. Во всесоюзной классификации меня поставили на пятое место. Ко мне все подходили и говорили, что это неправильно, что я должна быть второй. Мне это льстило, конечно, я играла в благородство и говорила, что нет, все правильно. Но никто не знал, что сама себя я поставила на двадцать пятое место.

И опять старые мысли: стоит играть или не стоит? И опять у меня не было тренера. Я договаривалась в «Динамо» с мальчиками, которые играют в силу среднего первого разряда, о тренировках, и к тому же у них были свои планы, а у меня свои. Прежде мне специально вызывали партнеров, которые играли только для меня. И никогда прежде у меня не было такой проблемы — получить зимой корт. Я звонила, да и не я, за меня звонили и говорили, что мне нужно время пять раз в неделю. «А может, ей нужно десять, — спрашивали, — так пожалуйста!» Теперь же у меня было на «Динамо» лишь три тренировки в неделю, а в остальные дни приходилось договариваться в других клубах. Впервые я поняла, какова жизнь среднего игрока, о котором никто не думает, который должен выбиваться сам и неизвестно как.

Я поняла: надо прорваться, — и это меня подстегивало. Но все оборачивалось против меня.

В декабре был кубок имени Зигмунда. Я проиграла и в паре и в смешанной. Мне сочувствовали: дескать, партнеры играли не так. А сама-то я как играла?.. А вскоре на личном первенстве Москвы Оле Морозовой финал проиграла. Тут взять бы и бросить!

Морозова играет быстро, напористо, у нее есть уже свои комбинации. Ее не зря считают самой перспективной из наших девушек. И я думаю, что если только ее не «загоняют» на всяких второстепенных соревнованиях и дадут возможность учиться всерьез в институте, чтобы было что-то еще, кроме тенниса, то Оля действительно может достичь высокого класса в теннисе.

Как же я ей проиграла? Морозовой — семнадцать, за нее все болеют — так не столь уж давно болели за меня. Мне страшно. Чувствую, скорости нет, но показать этого нельзя. Делаю вид, что все в порядке. Веду как бы двойную игру: одну — с противницей, другую — с воображаемым зрителем, который против меня и иронически комментирует мои ошибки. Я уже не рискую, боюсь смазать; нет, думаю, лучше не побегу, по крайней мере стыдно не

будет. А Морозова играет в свою игру, она хорошо бегает, и даже подача — самое слабое ее место — идет у нее хорошо! И все же мне известны ее варианты, я могу заранее предугадать, как она сыграет и куда, но играю сумбурно, словно пет у меня никакого опыта.

Я проиграла Морозовой накануне традиционных соревнований, которые являются фактически зимним лично-командным первенством страны. Но тут меня ставят первой за сборную Москвы, и это меня несколько воодушевляет. На самом же деле тренеры рассуждали сугубо практически: глядишь, Дмитриева случайно и выигрывает, зато Морозова на втором месте выигрывает наверняка. Перед соревнованиями был какой-то сбор, я впервые за последнее время тренировалась вместе со всеми. Я поиграла с девочками со счетом и убедилась, что не так уж они сильны. Но все они были полны надежд и планов. И я заразилась их оптимизмом.

«Оптимизм тебе и прежде был свойствен, — говорила себе я, — так что ты обретаешь утраченное. Но только не обольщайся, ныне этого тебе недостаточно. Тебе всегда не хватало повседневной одержимости. Тебе слишком легко все давалось. Да и всеобщее восхищение льстило. Но ты давно уже понимала, что если и заниматься теннисом, то так же серьезно, как Тоомас Лейус. Вот кто всегда до конца выкладывается. А впрочем, и не только Тоомас».

Сейчас все только и говорят про Алика Метреве ли. В прошлом году он обыграл чемпиона Уимблдона Сантану, вошел в десятку лучших спортсменов страны. Я знаю, когда он стал работать, как Тоомас, когда именно у него произошел перелом. Много лет мы ездили вместе по различным турнирам и говорили всерьез о разном, но о теннисе всерьез никогда. Алик редко настраивался на игру да и тренировался только под настроение. Он, например, любил играть со мной. Мне польза большая. А ему никакой, зато легко, почти никаких усилий. Тоомас делает утром зарядку, потом пробежку, у него все и всегда рассчитано, а у Алика — никогда.

Два года тому назад мы играли в Уимблдоне. Алик впервые много тренировался и вдруг почувствовал, что играет хорошо. В одной восьмой финала Метре вели встретился с бразильцем Кохом, который не входит в десятку мира; его можно было обыграть. Алик проиграл Коху и, наверно, впервые страшно расстроился. Незадолго до отъезда мы ходили с ним по Лондону, и он всерьез говорил о теннисе. Он говорил мне: «Если не начну сегодня, то не начну никогда. Четыре года я хожу в подающих надежды, и если сейчас что-то не сделаю, то понесусь в пропасть». И рассказал, как начнет с сегодняшнего дня тренироваться к будущему году и что у него все точно продумано, где и что надо исправить и как организовать себя. Часов пять говорил. И что больше всего меня удивило: в тот же вечер он отправился бегать в Гайд-парк. А я ведь была уверена, что поговорить-то поговорит, но бегать не будет...

...Так вот, был сбор, я поиграла со всеми девочками со счетом, поднялось настроение. Но начались соревнования, и каждая игра была для меня мучительно трудной. Однако всех, кого нужно, чтобы показать, что класс у меня другой, я обыграла. Командные соревнования сменились личными, и в финале я встретилась с Бакшеевой. Это было в ЦСКА, на деревянном полу нового крытого корта. Я играла, опять, как в тумане, как тогда с Морозовой. Только Бакшеева играет и сильнее и красивее, чем Морозова. Ее варианты трудно предугадать, даже плохие ее удары опасны. Я пришла в себя только в конце второго сета, но было уже поздно...

В конце февраля начался Московский международный турнир. С первого дня я знала, что я выиграю его. Тоомас сказал перед турниром: «Я был первым в стране, теперь стал вторым, но если я не буду вторым, я буду никем». Тоомас очень болезненно переживает, что Алик его обошел, но он настоящий спортсмен и не теряет уверенности. Но находятся, к сожалению, люди, которые помогают Лейусу потерять эту уверенность. Борьба за место в сборной страны, за поездки за границу обросла ажиотажем. Помню, как два года назад по результатам сезона вместе со мной должна была ехать в Англию Киви. Но в нашем спорте уже был введен этот принцип — 50 % молодежи. А Киви уже исполнился 21 год, и к тому же у Федерации было мнение, что стиль игры у нее не тот. И в результате право на поездку в

Англию Киви пришлось добывать заново — в специальных отборочных соревнованиях. Десять мучительных дней она играла этот турнир и, естественно, так волновалась, что сыграла гораздо ниже своих возможностей. В конечном счете в Англию послали только одну женщину, то есть меня. А если бы Киви выиграла эти отборочные соревнования? Боюсь, «спортивный отбор» был бы продолжен... Московский турнир приближался к концу, я легко шла к финалу, в котором рассчитывала встретиться с Бакшеевой. Я думала: сейчас меня тоже считают второй, как и Тоомаса, но стоит чуть-чуть оступить... Нет, я была уверена, что на этот раз даже не второй буду, а, как и прежде, первой.

И, наконец, финал, день решающей встречи с Бакшеевой. Уже с утра, когда я настраивалась на игру, все складывалось, как я хотела. Иногда весь этот режим — завтрак вовремя, обед вовремя, все вовремя — сам по себе требует усилий, не только не создает спокойствия, но и ведет к затрате нервной энергии. Ах, нужно куда-то бежать, а я не успеваю, все наскоком, — и настроение пропало! А тут все как бы независимо от меня получилось. Андреев немного позанимался со мной, и за полчаса до игры у меня вдруг пошла подача. Все складывалось удачно.

Я повела игру за каждое очко. На каждой подаче шел долгий розыгрыш, и Бакшеева уже знала, что ей рисковать нельзя. Ей приходилось выкладываться на каждой подаче, у нее «висел» гейм почти на каждой ее подаче, и она стала уставать. Свои же* подачи я выигрывала сравнительно легко. До счета 9:9 я играла низкими, короткими мячами, чтоб они в ногах путались. Но тут Андреев, увидев, что Бакшеева уже волнуется, шепнул мне, когда мы менялись площадками: «Надо усилить». И теперь, принимая ее мячи, я старалась сыграть сильно и близко к линии. Это рискованно, но я рискнула удачно и выиграла гейм. Первый сет остался за мной.

Бакшеева так расстроилась, что стала играть невпопад, спешить. Я повела во втором сете 4:1. И вдруг у меня пропала подача. Счет стал 4 : 3, потом 5:3, 5:4. Теперь мы обе сильно волновались. Наконец, у меня матч-бол. Посылаю мяч своим коронным ударом и думаю: «Ну, последний мяч». Но она угадывает мяч и берет: она мои «коронки» знает. В суматохе я принимаю этот мяч ободом, но каким-то образом он все же перекачивается через сетку...

После трудного выигрыша обычно испытываешь не подъем, а скорее опустошенность. Но бывает, что выигрыш помогает оценить свои силы. Так было на этот раз. Давно уже я не испытывала такой радости, как после этой победы.

Я должна начать теперь все сначала. Мне труднее теперь, чем прежде, но в то же время и легче. Если раньше я знала, у кого должна выигрывать, а кому проигрывать, то теперь не знаю: должна ли я проигрывать, например, Тегарт?

ПЫЛЕСОС

Вит. Злотников

КАРТИНА

Молодой, начинающий художник приносит на суд маститому критику свою картину.

— Ну что ж, давайте посмотрим ваше произведение, — дружелюбно сказал критик. — Присаживайтесь, пожалуйста.

Критик положил картину себе на колени и взялся за кончик веревки, которой она была обвязана. Вдруг его лицо посуровело.

— Вы подумали j прежде, чем сделать это? — спросил он строгим голосом.

— Что? — вздрогнул молодой человек.

— Я имею в виду грубую веревку, которой обвязана ваша картина... Молчите! — вскрикнул критик, когда художник хотел что-то возразить. — Произведение живописи — и обвязать такой веревкой! Вы меня понимаете?

— Понимаю, — выдавил из себя юноша.

— Ну ничего, молодо-зелено, — улыбнулся критик и во второй раз потянулся к веревочке. Но вдруг снова вздрогнул и с ужасом посмотрел на гостя.

— Вы завернули вашу картину в эту ужасную бумагу с какими-то дурацкими клетками. Помните, что сказал Чехов? «В человеке все должно быть прекрасно»?

— Так ведь это в человеке... — несмело возразил гость.

— Э-э-э, молодой человек! — оживился маститый критик. — Вы слишком узко смотрите на мир. Что имел в виду Антон Павлович? Он имел в виду не только человека, но и все, что его окружает: мышей и кошек, соловьев и крокодилов, кактусы и березы, то есть всю материальную субстанцию, даже, если хотите, всю вселенную...

Тонкая рука критика в третий раз потянулась к веревке, чтобы развязать ее. У молодого человека по телу побежали мурашки.

Но критик и на этот раз пощадил гостя. Он не стал разворачивать картину, а просто повертел ее в руках, осмотрел со всех сторон и сказал:

— Вы знаете, что-то мне не очень по душе формат вашей картины. Если она предназначалась для детского сада или школы, то она маловата: дети любят масштабы. Если же вы имели в виду выставку, то она великовата. Вы ведь только начинающий художник, поэтому вряд ли у вас возьмут на выставку полотно такого размера. Вы согласны?

— Согласен, — слабым голосом прошептал юноша.

— Ну хорошо, — продолжал критик, — допустим, что картина предназначалась не для выставки, а для частного собрания. Тогда сразу же встает вопрос: а на какой интерьер она рассчитана?

Если это спальня, то она слишком большая. Глядя на ваше произведение, обладатель картины все время будет мучиться вопросом: а не упадет ли она мне на голову? Так что спальня отпадает... Возьмем теперь столовую. Здесь уже вступает в силу форма. Ваша картина имеет форму параллелограмма, а для столовой скорей бы подошла овальная или круглая. Ведь во время еды приятно все видеть в таком... как бы обтекаемом, удобоваримом виде.

Критик в который раз уже взялся за кончик веревки и, задумчиво повертев его между пальцев, сказал:

— Что же вам пожелать на прощание? Работать, работать и еще раз работать! Только тогда вы сможете полностью раскрыть свое дарование, а оно у вас, несомненно, есть.

Маститый критик встал и, дружелюбно улыбнувшись, протянул руку начинающему художнику.

А. Скайлис

ТАКСА

Нашу контору облетела грустная весты коллегу Бистаклиса укусила собака. Профорг Крамс известил нас о деталях происшествия:

— Бедняга Бистаклис шел по улице. Откуда ни возьмись ему навстречу такса с налитыми кровью глазами. Прыгнула и укусила Бистаклиса в весьма чувствительное место.

— Укусы таксы долго не заживают, — заметил я, — особенно если такса породистая.

— Все собаки — гады! — сказал Лие лодз, лучший друг потерпевшего.

Андрумс, знавший Бистаклиса с детских лет, категорически заявил, что всех собак надо выловить, пристрелить, и скормить львам.

Затем Крамс растрогал всех сообщением, что укушенный стоит у себя дома (сидеть он, разумеется, не может) и очень скучает.

— Надо бы его проведать, — вздохнул Лиелодз, — пусть человек почувствует моральную поддержку коллектива.

— Безусловно, — поддержал его Крамс, — скинемся по рублику и купим ему небольшой гостинец.

Все замолчали... Наступила длительная пауза.

— По-моему, все же надо бы прежде всего выяснить, как произошло нападение, — предложил я. — Возможно, Бисгаклис дразнил собачонку.

— Таксы — они ведь собаки умные, зря не кусаются, — поддержал меня Лиелодз. — Знаю я этого Бистаклиса. Он иногда не прочь швырнуть палку в кого попало.

— Не палки, а камни этот прохвост кидает! — вмешался в разговор Андрумс, — Как увидит где бессловесную скотинку, так и норовит пересчитать ей ребра. Что говорить, садист!

Мы вспомнили еще множество случаев, когда Бистаклис поступал нехорошо, непорядочно, неблагородно: толкался в трамвае, грозил кулаком страховому агенту, плевал на тротуар...

Деньги мы все же собрали. Правда, не по рублю, а по гривеннику. На всю эту сумму мы купили колбасу и отнесли ее таксе, которая укусила Бистаклиса.

Перевел с литовского Ц. МЕЛАМЕД.

КАКОВ ВОПРОС — ТАКОВ ОТВЕТ !

О Алексей М-ов, г. Ленинград.

Дорогая Галка Галкина.

Я увлекаюсь правилами хорошего тона. Недавно я сидел в трамвае, и вдруг вошла женщина. Я встал и уступил ей место, но она не захотела сидеть. И вот я не знаю, то ли мне продолжать стоять, то ли я могу сесть обратно,

ОТВЕТ: Дорогой Алексей!

Если вы продолжаете стоять до сих пор, то, пожалуй, можете уже и сесть.

Ирина Б-ич, г. Гомель.

Дорогая Галка

Прошу ответить на мой вопрос: можно ли участвовать в массовых танцах, не имея музыкального слуха?

ОТВЕТ:

Можно, конечно, можно. Если вы смогли задать такой вопрос, то теперь уже все можно.

О Борис К., Тульская область.

Дорогая редакция!

Пишу потому, что больше не могу... Я люблю одну девчонку вот уже полтора года. Но она отказалась от меня после небольшой ссоры. А я ее так люблю, что даже однажды, выпив приличную дозу спиртного, не сделал непоправимую на всю жизнь ошибку. Надеюсь, вы поняли, что я хотел сделать.

ОТВЕТ:

Уважаемый Борис!

То, что вы хотели сделать, мы поняли. Не поняли только, раскаиваетесь вы или нет. А также не поняли, зачем вы нам об этом написали.

Элла Г-кова, Таня Н-ова, Вика и Александр В-ины и др., г. Ленинабад.

В нашем доме много ребят. И почти у каждой девочки и мальчика имеется хула-хуп. Сперва мы устраивали с ними различные соревнования, но потом нам это надоело. Сейчас наши хула-хупы валяются у кого в сарае, у кого на чердаке. Посоветуйте, что с ними делать?

ОТВЕТ: Дорогие девочки!

Пока не знаем. Ходят слухи, что заседание Организации Объединенных Наций по вопросу о ваших хула-хупах назначено на понедельник.

М. Азов, В. Тихвинский

САТИРА И ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Пригласили дикобраза в сатирический журнал.

— Нам такие колючие нужны. Только внешний вид у вас несколько дикобразный.

Постригся дикобраз под ежика. Снова не то.

— Какой-то вы сегодня небритый... Побрился, пришел гладкий. Отводят глаза.

— Видите ли, вы нам не подходите: нам нужна острая сатира.

В НОМЕРЕ

проза

Анатолий АЛЕКСИН. Мой брат играет на кларнете... Повесть

Ф. НАСЕДКИН. Великие голодранцы. Повесть. (Окончание)

Арсений ПАРХОМЕНКО. Большое футбольное ограбление. П о в е с т ь-г и п о-ло

теза,..... чо

© поэзия

15

Нинолай СТАРШИНОВ. Проноды ... 1 *

Владимир ЦЫБИН. «Лежу под тиши- 4L ной...» «Летит падучая заезда...» . .

Юрий РЯШЕНЦЕВ. «Среди авралов и тревог...» Вид на Тбилиси с горы Мтацмин да.

На концерте «Старинный русский dj романс». Кропоткинская. Речь ...

Михаил ДУДИН. «Блестит на солнце кремнезем...» Холодное утро Цхалтубо. Памяти Симона Чиковани. Сон. Эвкалипт. Горы из окна ночью. Воспомина- Д?, ние о добром пире..... w

Энн ВЕТЕМАА. Права на вождение деревянной лошадки. Перевод с эстон- „с ского Леона Тоома

Пауль-Эрик РУММО. Как полет паутин.

Кошкина пряжа. Перевод с эстон- АС ского Светлана Семененко

Яков КОЗЛОВСКИЙ. С языка стихов. Заповедная книга земли. Рассвет. Совер- f.f.

шаает жизнь круговорот..... wu

ф публицистика

67

Михаил ШУР. Солигорские вечера . .

73

И. ГАЛКИН. Ленинской гвардии рядовой

Александр ГЛАДКОВ. Романтики. («Комсомольская правда» двадца- ус тыхгодов).

,..... л

Л. АИЗЕРМАН. Всегда ли в жизни есть ОQ место подвигам?

ф наука и техника

85

Виктор ТРОСТНИКОВ. Факел Демокрита

@ среди книг

92

Маленькие рецензии и аннотации . . .

ф эстрада

Василий АКСЕНОВ. Простак в мире джа- лм за, или баллада о тридцати бегемотах *ч

ф театр

Игорь ЗОЛУТУССКИЙ. Поэт и театр . . 100

ф дебюты

Жанна ВЛАДИМИРСКАЯ: «Мера бес- 4ЛЛ компромиссности».....

Николай КУЗЬМЕНКО: «Почему обо мне?» 02

ф на стендах «юности»

- 104

Иван КУПЦОВ. Палитра трех измерений ,v*»

ф спорт I

Анна ДМИТРИЕВА. Возвращение на коот. 0б

ф «пылесос»

Вит. ЗЛОТНИКОВ. Картина. # А. СКАЙ-ЛИС. Такса. \$ Галка ГАЛКИНА. Каков вопрос — таков ответ. М. АЗОВ,

В. ТИХВИНСКИЙ. Сатира и парикмахерская.

На 1-й и 4-й стр. обложки — рисунок Э. РАППОПОРТ.

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. З я б к и н а.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52, телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00155. Подп. к печ. 14/VI 1967 г. Формат бумаги 84x1087,6. Объем 12,18 усл. печ. л. Тираж 2 050 000 экз. Изд. № 1364. Заказ 1746.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А 47, ул. «Правды», 24.